

КАК ПОБЕДИТЬ САМОГО СЕБЯ

Об этом очерк
"Бойти
в узкую дверь"

8-9/90

МЫ

ISSN 0236-3283

Главный редактор
Евгений БУДНИКОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АБРАМОВ
Игорь ВАСИЛЬЕВ
(ответственный секретарь)
Альберт ЛИХАНОВ
Дмитрий МАМЛЕЕВ
Георгий ПРЯХИН
Григорий ТЕРЗИБАШЬЯНЦ
(заместитель главного редактора)

Главный художник
Валерий КРАСНОВСКИЙ

Художественный редактор
Елена СОКОВА

Технический редактор
Ольга ЛАЗАРЕВА

На первой странице обложки
фото Анатолия ЗЫБИНА

© "МЫ", 1990
Издательство "Дом"
Советского детского фонда
имени В. И. Ленина
Адрес: 101 963, Москва,
Армянский переулок, 11/2А.
Телефон: 923-66-61

Отпечатано в типографии
А/О Принт-Юхтвет
Совинпринт Финляндия
при посредничестве
В/О "Виссторгиздат"

Сделан набор 05.09.90 г.
Войдано в печать 28.09.90 г.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2
Уч. - изд. л. 20,1. Тираж 1600000

8-9/90

МЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
СОВЕТСКОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

СОДЕРЖАНИЕ

Жозеф Жубер. Слово античности	2
-------------------------------------	---

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Альберт Лиханов. Невинные тайны. Роман	70
Зарубежная фантастика. Роберт А. Хайнлайн.	
Гражданин Галактики. Роман	257
Людмила Уварова. Дорога на эшафот.	
Маленькая повесть	20
Дмитрий Стрешнев. Ведьма. Рассказ	234
Игорь Шкляревский. Воспоминание о свежести. Стихи	65

ПРОБА ПЕРА

Михаил Ремизов, 12 лет. Но верю я... Стихи	40
Аня Артюк, 12 лет. Времена года. Стихи	41

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

Георгий Танутров. Выход – с противоположной стороны	43
Письма в "Мы"	62

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ДЕЛОВЫМ?

Дмитрий Губин. Кошелек в школьной сумке.	
Несколько слов о деньгах	54
Михаил Москалев. Спланировали. А что дальше?	52

О, СПОРТ, ТЫ ВЫЗОВ!

Александр Ушаков. Войти в узкую дверь.	
Размышления о каратэ и не только о нем	7

ТВОЙ СВЕРСТНИК ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Илья Алексеев. Бесконечная жизнь в пределах круга	227
Евгений Канчуков. "Обычное мое босое детство..."	246
Владимир Высоцкий. Неужели мы заперты...	252
Рок-энциклопедия	311
Знаки времени	320

Жозеф ЖУБЕР

СЛОВО АНТИЧНОСТИ

*Обращаясь к античности,
французский
философ-моралист
размышляет
о своем времени,
своих современниках.
И мы, оглядываясь вокруг,
заглядывая в себя,
могли бы, очевидно,
подписаться под многими
из его слов: это и про нас.
Но Жозеф Жубер жил
во второй половине XVIII
— первой четверти XIX века...
Уходят поколения, а на земле
остаются вечные ценности.
Путь к совершенству —
их усвоение.*

Три вещи связывали древних с их землей: храмы, могилы и предки. У наших современников надежда и желание перемен переиначили все: там, где древние говорили "наши предки", мы говорим "наше прошлое"; мы иначе, чем они, любим родину, землю и законы наших отцов, мы любим скорее законы и землю наших детей, нас соблазняет магия будущего, а не прошлого.

Слово "родина" у древних было прилагательным и сочеталось со словом "земля", то была "отцовская земля", это слово доходило до сердца. Теперь слово

"родина" существует само по себе и слышится лишь разумом. Став из прилагательного существительным, оно обозначает лишь некую морально значимую вещь.

Многие слова изменили свой смысл. Слово "свобода", к примеру, имело для древних тот же глубинный смысл, что и "ответственность". "Хочу быть свободным" означало "хочу управлять городом". У нас же оно значит "хочу быть независимым". Свобода теперь имеет моральный смысл, у древних же — совершенно политический.

Древние, которых все их государственное устройство заставляло быть рационалистами, были одухотворены поэзией. Они говорили, что есть некая муза, которая покровительствует и государственным мужам.

Древним была необходима добродетель и, не владея некими



Фото Сергея КОСТРОМИНА

универсальными заповедями добродетели, они постигали ее сами, простыми рассуждениями и соображениями.

В своих храмах, обращая к своим божествам лишь радостные и спокойные слова, они учились быть спокойными и учтивыми в общении с людьми. Они так говорили Венере: "Дай нам говорить лишь радостное и не делать неприятного".

То, как древние афиняне понимали уважение к человеку, не сравнимо с тем, как его понимаем мы. Сократ на празднике у Платона говорил Алкивиаду: "Глаза разума становятся зорче с возрастом, когда слабеет тело. И вы далеки еще от этого возраста". Какое изящество в споре! Уважение личности было одной из главных черт античного характера.

Еврипида упрекали в том, что он сделал Менелая злым без надобности; эти упреки делают честь его критикам: они смотрели на пустую жестокость, как на нечто невозможное.

Древние неизменно восхваляли твердость духа как качество героическое и редкое. Их твердость не имеет ничего общего с сухостью наших сердец и нравов. У древних в душе были чувствительность и нежность, которых мы лишились. С веками мы стали даже героям более строгими судьями.

Греки любили правду, но не могли отказать себе в удовольствии при случае ее приукрасить: они любили говорить правду, даже самую горькую, легкими словами.

Глубина мысли, спокойствие и

мужество делали человека, в глазах Сократа и Платона, совершенным; спокойствие делает человека мирным гражданином и приятным согражданином; мужество — твердым в несчастьях, умеренным в удовольствиях и опасным в сражении; глубина мысли делает человека приятным для друзей, в беседе, и облегчает ему жизнь, заставляя замечать лучшее и поступать, как лучше.

Хранить и знать — в этом, по Платону, состояло счастье личной жизни. Мне кажется, что современным человеком быть много труднее, чем древним.

Древние считали, что книги должны создаваться только в веселом настроении. Они не признавали в литературе какой бы то ни было властности — признака трудных, горьких, трагических или жестоких нравов.

Сила рождается из упражнений, упражнения — из преодоления преград. Именно поэтому греки, для которых прошлое было белым пятном, придумали стихосложение, диалектику, риторику, то есть упражнения мыслям и слову, чтобы сделать дух живее, мысль острее, а слово — приятнее.

Удивительно, сколько прекрасных идей родилось у древних, сколько истин открыли они, предположив, к примеру, что у всякой вещи должна быть ее противоположность, и отыскивая ее.

Слова лучших писателей античности — благородны они или грубы — точны и заключают в себе исчерпывающий смысл. Их фразы просты и читаются с первого взгляда, для их понимания требуется только внимание. Все разу-

мно в себе. Древние говорили, что слишком украшенные речи безнравственны, потому что они скрывают характер и намерения того, кто говорит.

Трудно представить, что древние греки не просто любили свой язык, они любили говорить на своем языке, чувствовать его течение. Так было оттого, что их язык прост, и прост потому, что самые изящные построения в нем были общедоступны; народ и писатели говорили одинаково чисто. Потому и намеки на народные поговорки столь распространены в эпических произведениях; их множество и у Платона. Мы говорим, что афоризмы – пословицы благородных людей. В Афинах афоризмы благородных и пословицы рыночного люда были одним и тем же.

Римляне вслушивались в слова, древние греки всматривались в говорящего, они хотели, чтобы их слова были похожи на их мысли. Первые жаждали пышности, достоинства, красноречия, вторые – ясности и изящества.

В древних римлянах есть жестокость. Благородная и хорошего вкуса умеренность отличает от них древних греков и особенно – афинян.

Гордые римляне были "туги на ухо", их нужно было расшевелить, чтобы заставить слушать изящное слово. Отсюда их ораторский стиль даже у их мудрейших историков. Греки же, наоборот, были одарены легким слухом, сказанное непременно вызывало у них всплеск чувств. Так, самой простой оболочкой было достаточно, чтобы изящная мысль им понра-

вила, а чистой правды – чтобы было красочным. Они, греческим образом, следовали поговорке "ничего спешком". Обилие ярких мыслей, тщательно подобранные и гармоничные слова. Наконец, необходимая сдержанность – чтобы ничто не задерживало восприятие – из всего этого складывается характер лучшей древнегреческой литературы.

Лишь у испорченных римской эпохой греков встретите вы многословие, противостоящее ясности.

В своих сочинениях древние чувствовали себя уютнее, чем мы – в своих. Они не были обременены, как мы, грузом тысячи произведений, известных нашему читателю, с которыми мы постоянно спорим или соглашаемся. Принужденные таким образом быть созвучными или диссонировать со всеми существующими книгами, мы исполняем свою собственную партию в какофоническом грохоте. Древние в тишине пели своим голосом.

Именно и главным образом в язык древних нужно вслушиваться. Книги древних – это энциклопедия стиля, в которой найдешь примеры искусства говорить тонко и красиво обо всем без исключений. Их произведения, даже посредственные – все несут на себе печать хорошего вкуса. Нет, древние не были гениальнее, чем люди нашего времени, но их искусство стоит нашего.

Обращение к авторитету древних – красноречиво; уважительное отношение к их авторитету – морально. Философия, счи-

тающаяся с ним, убедительна и в своих спокойных рассуждениях скорее достигнет цели. Мудростью веет от книг древних, ее с радостью впитывает душа.

Книги древних следует читать медленно; требуется много терпения, то есть много внимания, чтобы получить удовольствие от этих прекрасных книг.

Античность! Она должна быть больше по душе нам в руинах, чем отреставрированная заново.

Древние видели, и что Еврипид порой многословен, и что сочинения Софокла неровны, но они не позволяли себе делать авторам упрёки и смотрели на ошибки великих писателей, как на случайность, а не недостаток. "Не автор допускает ошибку, а время", — говорил Аристарх, напоминая о красоте старых писаний, которая для последующих поколений останется незамеченной. Тем самым он утверждал, что не пища изменяется, но вкусы.

Очарование давалось древним легче, чем разочарование. Никогда их дух не противился удовольствию и не оспаривал то, что было искусно. Их критика была более снисходительной, более благожелательной, чем наша: она была изначально расположена поддерживать, а не разрушать. Люди, умевшие столь многое делать со словами, уважительно относились к произведению, в котором слово было точным. Восхищения же было достойно прежде всего искусство, и всякое произведение, о котором они могли сказать: "Здесь искусство царит над всем", было для них шедевром. И действительно, если говорить о

пользе того или иного произведения, именно искусство в нем важнее формы и содержания. Искусство учит нас. Глиняные горшки этрусков научили нас изготовлять украшения из золота и серебра.

Сегодня мы не можем сказать и двух слов без того, чтобы что-то не упустить, не скомкать. Древние же, наоборот, все без исключений раскрывали и разъясняли. Они считали, что во всяком произведении, даже в публичном выступлении, должны быть своя левая и правая сторона, сторона, откуда начинается движение и где оно кончается и начинается вновь. Их мысли похожи на парящую птицу, которая, кружась, движется вперед. В наших писаниях мысль, похоже, движется, как человек, умеющий идти только прямо. В сравнении с древними, мы — прикованные цепью к веслам рабы, глупцы в экстазе.

Патетический, возвышенный, свойственный ораторскому красноречию стиль был столь же доступен греку и римлянину, как шуточный и льстивый — доступен нам. Древние учились с детских лет обращаться ко многим людям сразу, мы же привыкли беседовать с отдельным человеком. Их язык изобилует торжественными стилистическими фигурами, — наш изобилует двусмысленностями.

У каждого языка, справедливо говорят, свой характер, но как и все другие богатства народов, богатство каждого языка проистекает от того, какое употребление ему находят люди.

Перевел с французского
С. КОЗИЦКИЙ

О, СПОРТ, ТЫ ВЫЗОВЕШЬ ВОЙТИ В УЗКУЮ ДВЕРЬ

Размышления о карате и не только о нем



Александр УШАКОВ
Фото
Анатолия ЗЫБИНА

...Сегодня эти ребята снова занимаются в лесу. Правда, теперь они тренируются совершенно безбоязненно, без риска оказаться в ближайшем отделении милиции. Никто и ничто больше не помешает им стать сильными и смелыми. Даже так поспешно введенная в Уголовный кодекс статья, из-за грозной тени которой ее потенциальные жертвы вынуждены были прятаться по лесам и подвалам и которая ис-

калечила не одну человеческую судьбу сильнее самого страшного удара каратэ. Наверное, здесь не место говорить о разумности подобных запретов, да к тому же о них уже немало было говорено. Напомним только старую как мир истину: запретный плод оставался сладким во все времена, а любые запреты, охранявшие этот сладкий плод от посягательств, только увеличивали тягу к нему. И редко было так, что плод этот сохранялся в неприкосновенности. Запреты же, как правило, рано или поздно отменялись как не оправдавшие себя.

Так, кстати, было и на родине японского каратэ – Окинаве. Еще в XV веке ставленник китайского императора местный правитель Хасши, опасаясь восстаний и желая обезопасить свою персону от волнений, издал указ, запрещающий населению острова иметь какое бы то ни было оружие. И очень скоро оно, некогда грозное в умелых руках, валялось у ног правителя. Однако Хасши оказался не таким уж дальновидным, как ему того хотелось, а его указ привел к совершенно неожиданным результатам.

Окинавцы, привыкшие защищать свои интересы, а нередко и жизнь с помощью мечей и копий, не пожелали оставаться безоружными перед лицом разбойников, которыми кишел остров, да и самими властями. Им оставалось только одно – заменить отобранные у них княжескими солдатами мечи и кинжалы... собственными руками. Что они успешно и сделали, изучая местные боевые искусства Шури-те, Наха-те, Томари-те и кемпо – китайский бокс, завезенный на остров много-

численными китайскими чиновниками и солдатами.

В результате смешения этих стилей появилось первое японское каратэ – Окинава-те, а на самой Окинаве – целые группы прекрасно владеющих этим искусством людей, чьи ладони не уступали по крепости мечам, а сложенные вместе пальцы по силе удара могли соперничать с копьями. И нередко их ожесточенные схватки с вооруженными с ног до головы княжескими солдатами заканчивались поражением последних. Стали появляться и первые большие мастера, которых знала вся Окинава.

Естественно, властям такое развитие событий оказалось не по душе. В 1609 году последовал запрет нового правителя Окинавы Шимазу. Правда, на этот раз он касался уже самого боевого искусства. Солдаты правителя получили строгий приказ забирать всех, кто будет замечен в изучении или преподавании Окинава-те.

Однако и этот запрет не принес желаемого результата. Любители боевого искусства, начавшие понимать, что это не только прекрасное развитие тела, но и великое средство духовного совершенствования человека, и не думали прекращать занятия. Только заниматься они стали в уединенных местах: в горах, в лесах и чаще всего ночью при свете луны. А не желавшие ничего понимать власти продолжали преследовать занимающихся и... увеличивать их ряды. Прошли многие годы, и власти, осознав наконец, что сила действия вызывает равную, а нередко и превосходящую ее силу противодействия, сняли некогда

введенный бессмысленный запрет – и ввели Окинава-те в школьные программы как прекрасное средство воспитания молодежи.

В школьные программы ребят из Красково боевое искусство пока не введено, но они, как и сотни тысяч их сверстников во всей стране, несказанно рады и тому, что у них появилась возможность заниматься им открыто, не прячась в подвалах и песнях чашах. Правда, на смену одним проблемам сразу же пришли другие. Оказалось, что мало выйти из леса, надо еще знать, куда теперь идти. А идти было некуда.

Конечно, летом и осенью можно заниматься и на улице, благо в Красково идеальные условия для занятий: лес, три отличных озера, чистейший воздух. Но после осени, как известно, идет зима, а занятия боевым искусством даже отдаленно не напоминают хождение на лыжах. К тому же нужны были груши, тренажеры, боксерские мешки, перчатки и многое другое, без чего не мыслится работа ни одной подобной секции.

Кто знает, может быть, местным мальчишкам так и пришлось бы заниматься в лесу, если в местный Научно-исследовательский институт стеновых и вяжущих материалов не пришел бы работать инструктором по спорту выпускник Малаховского областного института физкультуры Александр Красиков. И не только выпускник спортивного вуза, но еще и знаток боевых искусств, не один год занимавшийся в Центральной школе рукопашного боя Т.Касьянова.

Контакт с мальчишками он на-

чал быстро, оставалось только привлечь внимание у руководства филиала для осуществления своих планов. А задумал Красиков многого ни мало, создать здесь, в Красково, своеобразный филиал Центральной школы рукопашного боя. Естественно, для реализации этой идеи ему, в первую очередь, был нужен зал со всем необходимым оборудованием. Подумывал он и о сауне, которая давно уже превратилась из роскоши в необходимое для всех нормальных спортивных залов заведение. О бассейне он, правда, только мечтал. Однако руководство института – директор Ю.В.Гудков, заместитель директора Б.М.Благодарный и главный бухгалтер А.А.Ракчеев, к которым Красиков обратился за помощью, – решило не разбивать надежд своего инструктора по спорту. Без лишних слов и, главное, без проволочек ему дали деньги и выделили рабочих. И уже очень скоро Красиков вместе со своими учениками помогал рабочим ремонтировать бывшее помещение столовой и строить сауну с бассейном.

А когда все было готово, будущий директор школы купил необходимое для тренировок оборудование. И теперь многие из друзей Красикова, поначалу иронично относившиеся к его идее создания филиала Центральной школы рукопашного боя, завидуют ему: ведь напоенный лесной праной воздух и прозрачные озера, до которых от "дождя", а именно так называются помещения, в которых тренируются мастера боевого искусства, в буквальном смысле рукой подать, не купить и за свободно конвертиру-





емую валюту. И надо было видеть лица ребят, когда они вошли в дверь своего дожо в первый раз! Они светились радостью и гордостью, счастьем и надеждой.

Конечно, сказать сейчас, что все эти мальчишки пришли сюда искать смысла жизни, было бы наивным и даже смешным. Мальчишки есть мальчишки и останутся

ими всегда, какой бы год ни стоял за окном. Рано или поздно придет время, и каждый из них задумается над этим вопросом. Но уже сейчас им надо знать и о том, что, кроме двери, ведущей в дожо, есть в боевых искусствах и другая, более узкая дверь, к которой даже приблизиться удастся немногим. Ибо за ней стоит не только вы-



сшее мастерство тела, но и величайшее совершенство духа, которое лежит в основе занятий боевыми искусствами. Как достичь такого совершенства? Попробовать рассказать об этом – занятие в высшей степени неблагодарное и бесполезное, ибо нельзя словами объяснить то, что достигается только долгой практикой. Но вот



рассказать об одном из величайших мастеров боевого искусства, вошедшего в эту самую узкую дверь, наверное, будет полезно, так как речь пойдет о знаменитом создателе айкидо Мастере М.Уешибе.

Он родился в Японии, в префектуре Уекаяма. В детстве отличался крайней слабостью и болезненностью. И мало кому из тех, кто видел невзрачного парнишку, приходила в голову мысль о том, что в этом немоющем теле живет могучий дух, который по прошествии времени сделает таким же





могучим и само это тело, соединившись с ним в единое целое и добившись таким образом того, к чему во все времена стремились не только адепты боевого искусства, но и все восточные мудрецы.

Но тогда... тогда все считали, что из этого заморыша вряд ли вырастет силач. Правда, сам Уешиба придерживался другого мнения на сей счет, решив стать сильным и здоровым вопреки всем предсказаниям. С яростной настойчивостью изучал он всевозможные боевые искусства, начиная от каратэ и кончая различными оздоровительными гимнастическими и даже штыковым боем. В поисках учителей он исколесил всю Японию, подолгу задерживаясь у очередного наставника. Убивая в себе гордыню, готовил своим учителям пищу, убирал их жилища, получая взамен знания, которым не было цены. Уходил он от них только тогда, когда те признавали сами, что большего дать своему ученику не могут, то есть по достижении Уешибой стадии ли.

Как известно, любой адепт боевого искусства, при условии, конечно, кропотливой работы с настоящим учителем, проходит в своем становлении три стадии. Первая из них – шу – означает начало Пути и освоение учеником всего того, что знает сам учитель. Вторая стадия – ха – означает достижение учеником уровня мастерства учителя. А третья – ли – предполагает отход ученика от учителя и выработку своих собственных концепций на тот или иной вид боевого искусства, что и является, по сути дела, становлением нового учителя.

Прошли годы, и скоро в Японии

не осталось практически ни одного вида боевого искусства, в котором Уешиба не достиг бы стадии ли. Его небольшое тело при росте всего 155 сантиметров и весе 75 килограммов выглядело железным. Мало кто мог долго противостоять его страшным по силе ударам руками или мечом – для самого Уешибы разницы в этом уже не было. И Уешибе нравилось побеждать, нравилось смотреть сверху вниз на поверженного противника наслаждаясь собственным величием.

В 1904 году началась война с Россией, и Уешиба, чтобы испытать в боях свой дух и тело, отправился добровольцем на фронт. Занятия боевыми искусствами сослужили ему добрую службу: он и здесь в любых ситуациях чувствовал себя как рыба в воде. После окончания войны он вернулся в Хоккайдо и стал работать на ферме, продолжая длительные тренировки. Но трудно оказалось бойцу заниматься земледелием, и Уешиба снова отправился странствовать. Вооруженный одной деревянной саблей, он бродил по всей Японии и вызывал на поединки всех, кто изъявлял желание. И всех побеждал, увеличивая свою и без того громкую славу. Вскоре никто не отваживался выходить на бой против него, равных ему не было.

И именно тогда, когда Уешиба достиг всего того, о чем только может мечтать мастер боевого искусства, став практически неуязвимым, он вдруг все чаще и чаще стал задумываться над тем, что слишком мало уделяет внимания внутренней стороне дела. Он осознал, что за всеми приемами и ударами должно стоять нечто

большее, нежели просто умение побеждать других. Но что? Неужели валить людей с ног, побеждать их – единственное предназначение боевого искусства? Если да, то это должно выглядеть слишком примитивно. Да и какая цена такой победе? Ведь каким бы умелым воином он ни был, выиграв сегодня, он обязательно проигрывает завтра или в крайнем случае – послезавтра. А если так, то любая победа над другим есть всего-навсего только относительная победа.

Ведь в глазах природы – а чему, как не ее законам должен следовать человек – любая победа не имеет цены и содержит в себе не больше смысла, чем бьющиеся о скалы морские волны. И неужели он, ища смысл боевого искусства только в победах над другими, потратил впустую чуть ли не половину своей жизни? Что толку побеждать других и быть неспособным победить себя? Свои эгоизм, тщеславие, неуправляемые мысли? Да, не раз горько вздыхал про себя Уешиба, наверное, это в высшей степени сомнительное удовольствие видеть у своих ног поверженного соперника и быть рабом собственных страстей и желаний. Да и что значит такое удовольствие? Человек должен быть выше этой мелочной и унижающей суеты.

Изо дня в день росли в Уешибе сомнения. И он принялся воспитывать свой дух, как некогда воспитывал свое тело. И теперь ему противостояли куда более могущественные соперники, нежели те, которых он побеждал с помощью рук и меча. Имя им – Невежество, Эгоизм, Тщеславие, Зависть. И победить их оказалось

ничего труднее. Только сейчас он понял всю глубину некогда употребленного им выражения. Понял о том, что подлинного могущества достигает лишь тот, кто сможет победить самого себя. Тогда он только посмеялся над этими словами. Но теперь...

Уешиба стучался в двери знаменитых храмов, изучал философию и беседовал с монахами. Он подолгу жил один, часами медитируя под водопадами, чтобы "открыть глаза своей души". Отбросив теперь совершенно ему не нужный деревянный меч, он сутками бродил по горам, стараясь найти ответ на вопрос, что же такое на самом деле боевое искусство.

И его искания не пропали даром: в один прекрасный день "глаза его души" открылись. Случилось это так. Уешиба подошел после длительной прогулки по горам к какому-то храму. Облившись ледяной водой из колодца, он вошел в храм и посмотрел вверх, на синее высокое небо. Неожиданно он почувствовал какое-то странное вдохновение, какого он никогда до сих пор не испытывал. Уешиба вдруг осознал, что с ним происходит то значительное, в поисках которого он провел последние годы. По его лицу потекли слезы в знак благодарности Земле и Небу, ибо он понял, что в этот момент на него нашло просветление и сама Истина открылась ему.

В великом изумлении он вдруг почувствовал, что у него нет больше по отдельности ни тела, ни духа, а есть их единство и что он стал един со Вселенной. Ушло куда-то далеко все лишнее и незначительное, все мелочное и сует-





ное, а осталось то, чему люди пока еще не нашли названия. Не было больше никакого маленького "я" Мастера Уешиба, было только то, что зовется у буддистов Буддой, у христиан – Христом, у даосов – состоянием трансцендентности. Выражаясь языком ислама, Уешиба стал "универсальным человеком".

"Когда я вошел во двор храма, – рассказывал позже сам Уешиба, – земля вдруг затряслась, золотой туман выступил из нее и окутал меня. Я совершенно не чувствовал своего тела, ставшего почти невесомым, и понимал в тот момент то, о чем поют птицы; я вдруг осознал, что основным началом воинского искусства являются

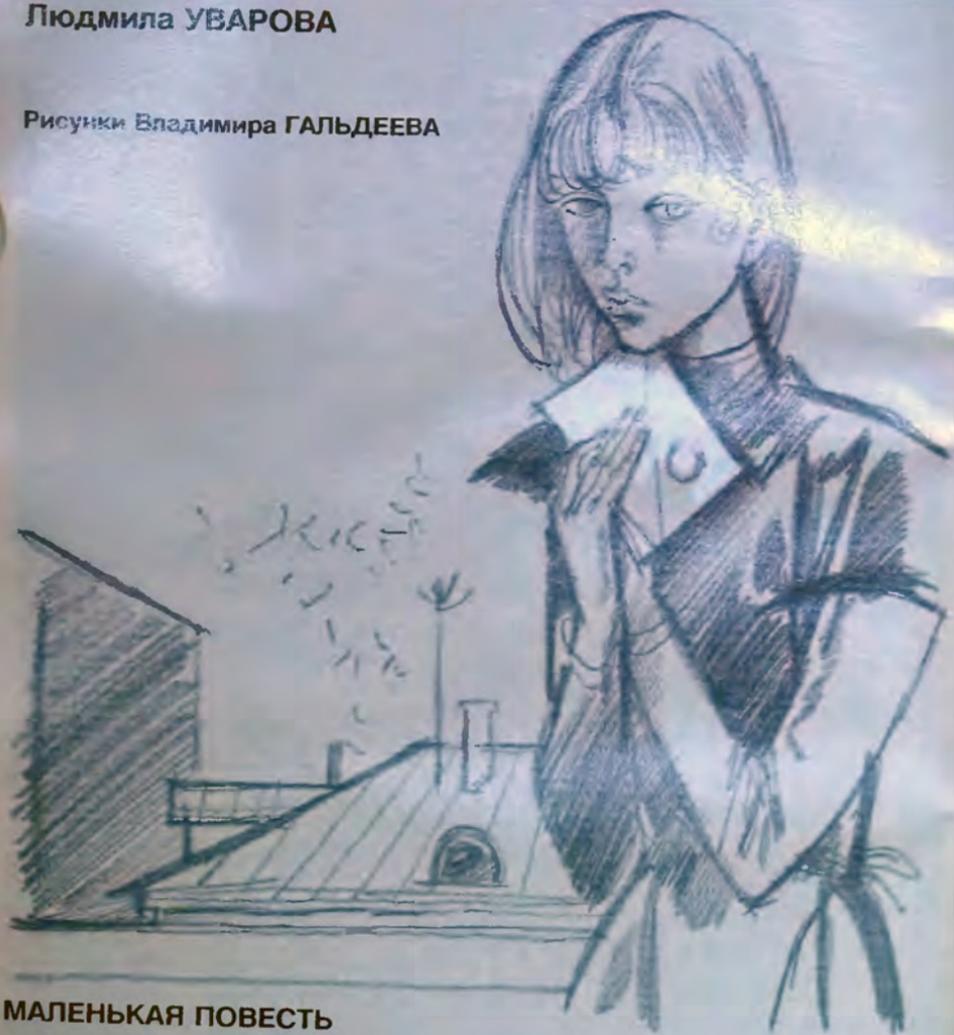
любовь к миру и доброта... С той самой минуты я понял, что Земля – моя родина и что Солнце и звезды – мои. Мое честолюбие и желание стать более могущественным, нежели другие, больше не давили на меня. Все суетное исчезло..."

Конечно, таких людей, как Уешиба, единицы, и его откровения – суть размышления человека, перешагнувшего обычные духовные горизонты. Но все же прислушаться к ним стоит. Ибо все те, кто сегодня пока что только вошел в дверь школы рукопашного боя в Красково, вступили именно на тот Путь, который привел Уешибу и к другой, столь заветной узкой двери, в которую так трудно войти.

ДОРОГА НА ЭШАФОТ

Людмила УВАРОВА

Рисунки Владимира ГАЛЬДЕЕВА



МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

Спустя полтора года после Победы вернулся домой мой отец. Вернулся неожиданно, потому что еще в сорок третьем мама получила извещение: "Ваш муж лейтенант Куровской Виктор Петрович пропал без вести".

Было это так: мама работала, я в школе, а папа в почтальон вручил мне конверт, на котором лиловыми чернилами был отпечатан наш адрес. От отца давно уже не было писем, и я, конечно, удивилась, кто это нам пишет печатными буквами? Я не стала расспрашивать мамы, распечатала конверт, прочитала немногие эти слова. Сердце испугалась: он пропал без вести? Что это значит? Почему так случилось? Может быть, какая-то ошибка или перепутали что-то, кто-то другой, незнакомый однофамилец отца, пропал, а пишут нам. . .

Потом я поняла: нет, никакой ошибки не случилось, должно быть, так оно и есть. Слезы закипели в моих глазах, несудеи уже никогда, никогда не придется увидеть папу, говорить с ним, ходить вместе на стадион "Динамо" или в кино "Уран", куда, бывало, ходили с ним чуть ли не каждую неделю. . .

Потом я перестала плакать, стала думать, сказать маме или ничего не говорить. Мама у меня была оптимисткой, с самого первого дня, когда папа ушел на фронт, она говорила:

– Он вернется! Наверняка вернется, вот увидишь. . .

Как же я покажу ей это письмо? Что будет с ней?

Я решила ни слова не говорить маме и спрятать письмо подальше. И постараться быть такой, как всегда, чтобы мама ни о чем не догадалась.

Но, должно быть, что-то в моем лице, не знаю что, вдруг насторожило маму, она спросила меня, едва лишь вошла в комнату, вернувшись вечером с работы:

– Что случилось? Говори прямо.

Я попыталась улыбнуться.

– Ничего не случилось, ровным счетом ничего.

Мама еще раз пристально оглядела меня.

– Да? Правду говоришь?

– Самую что ни на есть.

– Ладно, – сказала мама. – Пусть будет так.

Я вышла на кухню подогреть маме щи. На кухне никого не было, кроме соседки из угловой комнаты Журавлевой, злобной старухи, до того высохшей, что казалось, ее везли, какая она есть, засушили на жарком солнце и потом сунули между страницами книги.

– Гляди, не напакости на плите, нынче моя уборка, убирай тут за вами.

– Хорошо, – отозвалась я. – Постараюсь. . .

В другое время я бы ответила старухе Журавлевой так, как полагается, что-нибудь вроде: "За собой следите, а я уж как-нибудь", но сейчас мысли мои были заняты совсем другим – говорить или не говорить маме. . .

Я принесла щи в комнату, налила, мама поболтала ложкой в тарелке, потом отодвинула ее.

– До того устала чего-то, даже есть неохота.

– Ложись, – сказала я. – Хочешь, давай поспи.

– А не рано? – спросила мама, глянув на часы. – Еще восьми нет.

– Ложись, – повторила я и стала разбирать постель.

Мама спала на кровати, я – на диване, в простенке между окнами.

Мама зевнула, откинулась на стуле, приподняв обе руки, распустила волосы. Волосы у мамы были густые, прекрасного золотисто-орехового цвета, чуть-чуть кудрявившиеся, с завитками на висках. Полузакрыв темно-карие, горячие свои глаза, мама сказала:

– Надо будет отдать папино пальто в чистку. А то вернется, пальто грязное, как было.

Тата не ответила ей.

Тата подумала я, – неужели мама верит, что папа вернется? Да, папа от папы ничего нет, а она все верит. . .”

Тата ничего не сказала маме.

Сказавши это, тогда, когда за мной прибежала моя подруга Тата Говорова, жившая этажом ниже; задыхаясь, говоря слова, выпалила сразу же:

– Идем к нам, моя мама вернулась!

Татина мама ушла на фронт в начале войны, санинструктором. Мы с Татой читали коротенькие, торопливые ее письма-треугольники: ”Дочка, слушайся бабушку, помогай ей во всем, чем можешь. У меня все хорошо, в этом месяце выжила из-под огня девять раненых, привела всех в полевой медсанбат, вчерашний день пришла навестить, а медсанбат уже передислоцировался на тридцать километров вперед. . .”

Я спросила Тату, что такое передислоцировался, Тата сказала:

– Скорей всего, переехал. По смыслу можно понять.

Тата была необыкновенно начитанная, кажется, спроси ее о чем угодно, всегда на все даст ответ. У нее даже была особая тетрадка, куда она записывала изречения великих людей.

Маленькая угловая комната, в которой Тата жила с бабушкой и с младшим братишкой Сережей, была заполнена народом. В середине стола сидела Татина мама. Я помнила ее кругленькой, словно ватрушка, лицо свежее, с легким негаснувшим румянцем, как бы только-только умытое холодной водой. А теперь от прошлого, пожалуй, ничего не осталось, только карие, слегка прищуренные, приподнятые к вискам глаза. Казалось, за эти три года она постарела на добрый десяток лет. На коленях у нее сидел Сережка, младший Татин брат, не отрываясь, впился взглядом в лицо матери. Бабушка Таты, такая же маленькая, как и дочь, добродушная и смешливая, стояла возле стола, опершись щекой на ладонь, и тоже, не отрываясь, смотрела на дочь.

– Что ж, – сказала наша управдомша Аглая Петровна, могучего сложения богатырша, тряхнув пышными, небрежно заколотыми седеющими волосами, – давайте выпьем за Клаву, за счастливое возвращение, за то, что дома ее встретили близкие, и ребята, и мать. . .

Клава подняла рюмку со стола, поднесла к губам, но не выпила, а внезапно заплакала. Слезы катились по худым щекам, скатываясь на воротник старой заношенной гимнастерки.

– Вот ведь как, – сказала она и поставила рюмку на стол, так и не пригубив. – Вот ведь как. Вернулась. Домой. Нет, вы только подумайте, домой!

Слезы с новой силой хлынули из ее глаз. Тут же в голос заревел Сережка. Он ревел, выпучив глаза, на одной и той же ноте, будто бы

поспорил с кем-то, сколько времени он сможет выдержать и не сбиться.

– А ну, перестань немедленно! – мигнула на него Тата.

– Оставь его, – сказала мать. – Пусть плачет немного. Мы с ним вместе поплачем. . .

– Ну чего ты плачешь? – пробасила Агата Петровна, нахмурив густые, слегка нависшие над веками брови. – Ей бы радоваться, а она – глядите-ка, плачет!

Бабушка Таты вздохнула:

– Бывает, и от радости плачут. Как у кого получается. . .

Моя мама взяла рюмку, налила немного вина, другую рюмку, ту, что стояла на столе перед татиной мамой, придвинула к ней:

– Давай, Клава, выпьем, в самом деле. . .

– Давай, – сказала Клава.

Мама пригубила вино и отставила свою рюмку, а Клава выпила все до дна.

– Твой еще не вернулся? – спросила Клава.

– Жду его, – ответила мама. – Каждый день жду, веришь. Проснусь утром, думаю, сегодня вернется. Непременно сегодня. . .

Мы с Татой переглянулись. Она одна знала всю тайну, но, я была уверена, никогда никому не скажет ни слова.

Тата мигнула мне, я подошла к ней.

– Надо сказать, – прошептала Тата.

– Сказать? – переспросила я. – Как же так?

– Надо, – повторила Тата, – я сейчас поняла, сказать надо. Нельзя надеяться на то, чего уже никогда не будет. Я читала где-то – нет ничего хуже несбывшихся желаний, несуществленных надежд.

– Ну, и что же ты считаешь, – спросила я, – сказать? Да?

– Да. Надо уметь посмотреть правде в глаза, – веско, так, как она умела, произнесла Тата, видно, хотела еще что-то добавить, но тут бабушка позвала ее.

Я подошла к столу, посмотрела на маму. Мне захотелось сказать ей что-то очень хорошее, но я не была приучена к таким вот нежностям. У нас в семье вообще не признавали всякого рода лимонных апельсинностей, как выражалась все та же Тата, по-моему, мама считанные разы в жизни поцеловала меня, но тут я не могла сдержать себя, взяла и погладила маму по ее мягким волнистым волосам. Мама подняла голову, глянула на меня.

– Ты что?

– Так, ничего, – ответила я и снова погладила мамины волосы.

Дома мама сказала:

– Клава вернулась с фронта, и наш отец тоже вернется.

Я не ответила ей.

Она снова сказала:

– Он вернется, вот увидишь.

Не знаю, до сих пор не пойму, почему я полезла в дальний ящик своего стола, туда, где в углу, завернутый в тысячу бумаг, лежал тот самый конверт. Может быть, и в самом деле захотелось, чтобы мама наконец-то посмотрела прямехонько правде в лицо, такой, какая она есть.

Все время слышались Татины слова: "Нельзя надеяться на то, чего никогда не будет". Даже, если бы и хотела, я бы не смогла позабыть их. Они звучали в ушах, в самой душе моей, не умолкая ни на минуту, — нельзя надеяться на то, чему уже не бывать. Ничего нет хуже несбывшихся желаний, неосуществленных надежд. . .

Мама между тем расчесала волосы, заплела на ночь косу. Когда-то отец любил поддерживать в ладонях мамину косу, как бы взвешивая ее:

— Смотри-ка, какая тяжелая. . .

Мама смеялась:

— Как начнут выпадать волосы, сразу станет легонькой, словно паутинка. . .

Я подошла к маминной кровати. Она уже легла, сложив руки за голову.

— Что тебе? — спросила, потом спохватилась: — Батюшки, забыла будильник завести. . .

Приподнялась на постели, взяла будильник со столика возле кровати.

— Погоди. — сказала я и положила на столик конверт.

— А это что? — зевая, спросила мама.

— Посмотри, — сказала я.

Мама взяла конверт, быстро раскрыла его, так же быстро пробежала глазами немногие строчки.

Молча, почти со страхом, не решаясь посмотреть на маму, я ждала, что-то теперь будет...

Как она отнесется к письму? Вдруг заплачет, забьется в рыданиях или еще что-нибудь такое приключится с нею. . .

К моему удивлению, мама не закричала, не забилась в рыданиях. Даже и одной слезы не пролила. Опустив глаза, сунув листок обратно в конверт, задумчиво повертела конверт между пальцами.

Потом посмотрела на меня. Взгляд ее был открытый, ничем не замутненный.

— И ты поверила?

Я молча кивнула. Казалось, вдруг в один миг я лишилась дара речи.

— Напрасно, — почти спокойно продолжала мама. — Очень даже напрасно. Мало ли чего можно написать. . .

И больше не произнесла ни слова, задумалась о чем-то своем, сдвинув брови, угрюмо уставившись в одну точку. Глаза ее потемнели, стали совершенно черными, сейчас она казалась много старше своих лет, но, как ни странно, была еще красивее, еще привлекательнее, чем обычно.

— Ложись, — сказала мама. — И потуши свет.

Я потушила свет. Легла, закрывшись одеялом с головой. Мысленно не переставала удивляться: "Почему мама так легко, так равнодушно отнеслась к этому письму? Что с ней такое?"

Она снова зажгла лампу, стоявшую на столике рядом с кроватью. Снова стала читать письмо, едва заметно шевеля губами.

Я пристально вглядывалась в ее знакомое мне, казалось, до последней черточки лицо: темные, негустые, но длинные ресницы бросают голубоватую тень на щеки, губы бледные, четко очерченные, виски отливают легкой желтизной, скулы слабо розовеют. . .

"Какая она красивая, – подумала мама. – Ты у кого нет такой красивой мамы. А разве папа у меня был плохой?"

И тут мне вдруг снова вспомнились лилово-красные слезы: "Пропал без вести" – и слезы разом хлынули из глаз. Как ни старалась я их удержать, но они не слушались меня, катились одна за другой. . .

– Иди, ложись ко мне, – сказала мама, поднимаясь, я мигом вскочила с дивана, легла чуть ниже ее плеча. Узенького, с шероховатой кожей и с такой хрупкой, до слез тоненькой косточкой посередине. Я прижалась щекой к этой жалкой тоненькой косточке, самой родной косточке на свете и замерла, боясь, что вдруг не выдержу, опять разревусь. Мы долго лежали молча, потом мама сказала.

– Не верь, слышишь, Ира, не верь ничему, это все неправда. . .

Я не слушала ее, молча нещадно ругая себя: "Зачем, ну зачем я показала ей письмо? Лучше бы она ничего не знала и надеялась бы потому. . ."

Мама словно бы догадалась, о чем я думаю. Обняла меня одной рукой.

– Все равно буду его ждать. . .

– Да, – сказала я, вторя ей. – Конечно, надо ждать. . .

Должно быть, она уловила в моем голосе нечто деланное, что я, как ни старалась, не могла скрыть.

– Буду, – повторила мама. – И ты не кори себя за то, что сказала мне.

Она не договорила и заплакала. И я заплакала вместе с нею.

И вот – сбывшись мамины ожидания. Прошло немногим более полутора лет – папа вернулся.

* * *

В те теперь уже далекие послевоенные годы мы, ребята, жившие на Сретенке и в близлежащих переулках, делились на две группы – "уранистов" и "форумистов". "Уранисты" предпочитали кинотеатр "Уран", "форумисты" – "Форум". Почти все знали друг друга и ни в какие киношки не ходили, кроме "Урана" или "Форума".

Я принадлежала к "уранистам". До сих пор мысленно видится, как в широком зале, где тесно, один к одному, стоят стулья, медленно гаснет огромная старинная люстра, стихает шум и в уютной темноте начинается волшебство, ставшее привычным.

В "Уране" перед сеансом выступал эстрадный оркестр под управлением Альберта Соловья. Разумеется, то был джаз в самом неприкрытом виде, но тогда само слово "джаз" находилось под строжайшим запретом и потому подменялось более благонамеренно звучащими словами "эстрадный оркестр".

Поиграв положенные двадцать минут, оркестр умолкал, музыканты расходились и собирались снова незадолго до начала следующего сеанса. Бывало, сидишь в темном зале, фильм, казалось бы, в самом разгаре, но внезапно из фойе начинают доноситься звуки оркестра. Стало быть, Альберт Соловей со своим джаз-бендом уже принялся за дело. Значит, фильм скоро закончится, и уже с невольной горечью начинаешь внимать

все нарастающим звукам, они звучат словно грозное, неумолимое напоминание судьбы о неизбежном конце.

Но, как и следовало ожидать, эстрадный оркестр в скором времени и тихо и бесславно закончил свое существование, вместо оркестра перед сеансом в "Уране" начала выступать лектор Алиса Марковна Свистунова.

В те годы в наших кинотеатрах демонстрировались трофейные кинофильмы "Индийская гробница", "Тайна доктора Марабу", "Дорога на эшафот", фильм, о котором хотелось бы рассказать подробнее.

Мы с Татой видели этот фильм три или четыре раза. Уже все было досконально, до последнего, самого последнего кадра знакомо: каменная земля Шотландии казалась исхоженной нашими ногами, тяжелые облака, плывя над островерхими башнями, словно бы проглянули из какого-то давно забытого сна, и таким же, как во кошмарном из сна лицом, был прекрасный лик юной Марии Стюарт, быстроногие, породистые кони привезли ее в неведомую Шотландию, где ей суждено было обрести недолгое счастье и познать горькое ожидание неизбежной гибели.

Зара Леандр. . . Это имя было тогда популярно среди сретенских ребят. Впрочем, и на Остоженке, и на Арбате, и на Чистых Прудах — все кругом были очарованы Зарой Леандр, сыгравшей Марию Стюарт.

Однажды, было это зимой, мы отправились с Татой в третий, что ли, раз смотреть "Дорогу на эшафот".

В фойе было холодно, сквозь широкие зеркальные окна скупо смотрело неяркое зимнее солнце: на невысокой сцене прохаживалась толстая женщина с огромным начесом волос, который, как я позднее узнала, назывался шиньон. Длинные серьги болтались в ушах, не скрытых волосами, мощные плечи были обтянуты шалью цыганского типа, малиновой в зеленых цветах.

— Кинофильм "Дорога на эшафот" является типичным представителем мелкобуржуазного движения в западном кино, которое стремится приукрасить, расцветить тогдашнюю жизнь феодальной страны, в данном случае — древней Шотландии. . .

Мерно лился звучный, должно быть, хорошо тренированный голос, лекторша не жалела примеров, приводя все новые, все яснее характеризующие упадок западноевропейского кино.

Мы с Татой скупали немилосердно. Когда же, когда, наконец, она замолкнет и можно будет протолкнуться на свое место в уютном, полутемном зале. . . Но внезапно я вздрогнула, услышав то, чего вовсе не ожидала. Никогда в жизни!

— Киноактриса Зара Леандр, уроженка Риги, снималась во многих фильмах. В конце войны, когда гитлеровская Германия уже стояла перед неминуемым крахом, — вещала Алиса Марковна, — Зара Леандр была расстреляна гитлеровцами, заподозрившими в ней шпионку, работавшую на английскую и американскую разведки.

Помню, мы переглянулись с Татой. Я даже схватила Тату за руку, на миг почудилось, я ослышалась, что-то не так поняла. . .

— Ты слыхала? — спросила я Тату. Она кивнула.

– Не верится, честное слово. . .

И в самом деле, трудно было поверить, что этой красавицы уже нет в живых и никогда больше не увидишь на земле неповторимого ее лица с бледно-розовой кожей, с широко расставленными, чуть прикрывшими золотисто-карие бархатные глаза, с ярким, возможно бы всегда влажным ртом. . .

Лекторша продолжала дальше делиться своими познаниями в области западного кино, рассказывая попутно в оперочной манере режиссеров, о бездушном стиле игры тамошних артистов, об операторской технике, лишенной глубокого содержания, присущего только лишь нашим, высокоидейным картинам. . .

Но, потрясенные, мы не слушали ее.

Казалось, нам с Татой сообщили о гибели кого-то давно знакомого, да и не только знакомого, а любимого, крепко-накрепко прикипевшего к сердцу.

– Этого не может быть, – сказала я.

– Может, – сказала Тата. – Все может быть.

– Пойдем? – спросила я Тату.

Тата тут же встала со стула.

– Пошли. . .

Мы быстро дошли до дома. Тата молчала всю дорогу и только уже на лестнице сказала:

– Знаешь, почему нам так жалко Зару Леандр? Потому что она красивая, была бы рыло рылом, никто бы и не вспомнил. . .

– Она и играет хорошо, – заметила я, но Тата оспорила меня:

– Главное красота, в этом весь смысл. . .

Должно быть, она была права. Мы поднялись до ее квартиры, остановились на площадке. Так бывало всегда: то я ее провожаю, то она меня, никак не можем расстаться. Татина бабушка говорила: "Хорошо, что живете в одном доме, а если бы на разных улицах, что бы было?" – "Наверное, никак не собрались бы прийти домой", – отвечала Тата, и, по-моему, была права.

– Как папа? – спросила меня Тата.

– Устраивается на работу, – ответила я. – Опять решил на такси, в свой парк. . .

– Я бы ему советовала лучше возить одного хозяина, – сказала Тата, до смерти любившая давать советы, даже тогда, когда никто ее совета не спрашивал. – Спокойнее и наверняка лучше. . .

– Пусть он сам выбирает, – ответила я.

* * *

Весной в нашей многонаселенной шумной квартире в Сергиевском переулке произошло переселение народов, как выражалась все та же моя подруга Тата Говорова. Вера Сергеевна, одинокая женщина, работавшая кладовщицей на заводе "Красный пролетарий", поменялась комнатами, переехала на Шаболовку, поближе к заводу. И однажды вечером я увидела новую жилищу, занявшую ее комнату. Велико было мое удивление, когда это оказалась не кто иная, как Алиса Марковна

Свистунова, та самая толстуха с красивым голосом, которая выступала в "Уране" перед началом сеанса.

— Граждане, — сказала Алиса Марковна, войдя на кухню. — Скажите, где здесь мой столик?

Она произнесла эти слова красивым голосом, хорошо слышным во всех уголках кухни и, должно быть, на всем протяжении длинного коммунального коридора.

Старуха Журавлева, сама себя избравшая старшей по квартире, ответила за всех:

— Вот, возле дверей. . .

— Однако, — произнесла Алиса Марковна, но больше не сказала ни слова. Столик и вправду был неудобный, на самом деле, как говорится, юр. Кроме того, он немилосердно качался, потому что не хватало одной ножки, наверное, потому Вера и решила не брать его в обмен.

Должно быть, у Свистуновой была врожденная страсть к уюту: она сумела и хромоногую столу придать пристойный вид, постелила на столешницу квадрат клеенки, белой в красный горошек, полки над столиком украсила вырезанной фетончиками цветной бумагой, на полки повесила эмалированные кастрюли, сковородки, два чашельника и большой острый нож.

— Вот и ладно, — одобрительно заметила старуха Журавлева, непрекаемо считавшая себя самой влиятельной жилицей квартиры, чье слово закон для каждого. — Вот это, видать сразу, хозяйка!

— Это вы кого одобряете? — с несколько подозрительной ласковостью спросила Свистунова. — Неужели меня, моя милая?

— Кого же еще, — ответила "моя милая". — Именно вас. . .

— Представьте, а я не нуждаюсь в вашем одобрении, — сказала Свистунова. Звучный, красивый голос ее ясно разделял слова: "Представьте, а я не нуждаюсь. . ."

Старуха Журавлева, великая ругательница, обычно не спускавшая никому, внезапно притихла, вся сжалась и серой мышкой прошастала мимо Свистуновой из кухни в комнату. . .

Свистунова подняла кверху руки, поправила волосы (только много позднее мне довелось узнать, что то были вовсе не ее волосы, а хорошо сделанный, компактный шиньон), сказала удовлетворенно:

— То-то, вот так с ними и следует говорить. . .

Глянула на меня, но я ничего не ответила ей. И она величественно проплыла из кухни по коридору.

С переездом Свистуновой в нашу квартиру уже невозможно было дозвониться: либо она говорила по телефону, либо все время вызывали ее. Каюсь, мне было интересно прислушиваться к бесконечным этим разговорам, которые, в сущности, здесь, в коммуналке, были открыты решительно для всех. Иногда она стучалась в нашу комнату:

— Послушай, Ира, если меня сейчас вызовет мужской баритон, скажи, что я уехала. . .

— А как я пойму, баритон это или бас? — спрашивала я. Она смеялась, по-моему, притворно:

— Уверю тебя, девочка, поймешь, это не столь трудно. . .

Я заметила, она много врала. Все время не лень.

Кому-то рассказывала о том, как на даче ей пришлось прошвырнуться на Кавказ и что это была за чудесная поездка! Она купалась ранним утром в море, море было теплое и прозрачное, потом она шла в горы, и горы, казалось, раскрывались перед ней.

Я слушала и удивлялась: какой Кавказ? какое море? Ведь я-то знала — никуда она не уезжала, ни в каком море не купалась. . .

С кем-то делилась успехами: на днях выступала с лекцией в кинотеатре "Ударник" и там ее буквально вынесли на руках благодарные и очарованные ею зрители.

Я слушала и опять не верила ей — безусловно, врет, не может не врать. Но слушать ее, как бы там ни было, всегда оказывалось интересно.

Порой она начинала кому-то жаловаться: "Вконец разболелась, чувствую, доживаю последние часы. . ."

Стояла в коридоре, зажав в руке телефонную трубку, большая, толстая, пышущая здоровьем, нежный голос ее, так не подходивший ей, словно бы принадлежавший кому-то совсем, совсем другому, дрожал и прерывался, а она все жаловалась, все ныла, просила не забывать ее, заходить к ней, навещать, когда будет время. . .

Надо сказать, ходили к ней немногие. Две-три приятельницы, такие же толстые, крепкие здоровячки, как и она сама, мужчина, похожий на грузина, черный, бритый до синевы, с огромным носом и поистине стрекозиной талией. Он являлся обычно днем и уходил поздно вечером, тихо, почти бесшумно шагая по длинному коридору. Она обычно провожала его, стоя в дверях, махала ему толстой рукой и пела вдогонку:

— До скорого. . . Не забывай меня. . . Пока, до встречи. . .

Красные, тугие щеки ее, казалось, пылали сильнее обычного, рыжеватые, прямые волосы падали на плечи. Старуха Журавлева, проходя мимо, неодобрительно поджимала синеватые губы: "Полжобовника провозаает, вот оно какое дело. . ."

А другая соседка, некогда медсестра в больнице, а теперь лифтерша в хорошем доме на улице Горького, кидала вслед Алисе Марковне: "Ни стыда, ни совести не нажила, одни только жиры да мяса, бесстыжая".

Она была несусветная лгунья, это я в конце концов поняла, так и сказала однажды Тате:

— До чего она врет, сил нет. . .

— Противная она, — сказала Тата, — вся будто жиром смазанная.

— Мне раньше казалось, взрослые никогда не врут, — заметила я.

Тата усмехнулась:

— Никогда? Да ты что? Врут, да еще как!

Но однажды Свистунова не солгала. Может быть, не так уж часто случалось ей быть правдивой, но на этот раз то, что она сказала, было правдой.

Я шла из школы домой и думала о чем-то, о чем теперь и не вспомнить. Впереди меня маячило что-то грузное, широкое. Потом это самое грузное остановилось возле нашего подъезда, обернулось, и я увидела Алису Марковну.

— Здравствуйте, Алиса Марковна, — сказала я.

Она кивнула мне своим высоко взбитым шиньоном.

– Привет, девочка. . .

Я хотела было пройти мимо, но вдруг она остановила меня.

– Знаешь, я рада, что мы с тобой встретились один на один. Хотелось бы поговорить с тобой, чтобы никто не знал и не видел. . .

– Я тоже рада, – неискренне пробормотала я.

Хотя если так подумать, чему тут было радоваться? Хочется со мною поговорить один на один, позови меня к себе в комнату и дело с концом!

Так или примерно так подумала я, но Алиса Марковна взяла меня за руку.

– Хочешь, пройдемся до конца переулка. . .

Тогда она сказала мне, было невероятно. Удивлено, мучительно слушая, как оказалось, то была правда. Самой что ни будь высокой.

Она взяла моего отца в кино с молодой женщиной, кажется, блондинкой. Тоненькой, как лиана. Алиса Марковна так и произнесла: "Как лиана". Намазанной от бровей до ушей. И ресницы, как уголь.

– Я читаю лекции в кинотеатре "Великан", уже третий раз. И два раза мне пришлось видеть твоего отца в зале, – сказала Алиса Марковна. – Оба раза с этой самой. Он, наверное, полагал, что я его не вижу, но у меня зрение необычайно острое. . .

Я молчала. Она посмотрела на меня сильно накрашенными глазами сквозь круглые очки.

– Ты меня слушаешь?

– Да, – ответила я. – А скажите, эта самая блондинка вам понравилась?

Алиса Марковна пожала наливными плечами.

– Понравилась ли? Как-то не задумывалась над этим. Ничего, я бы сказала, недурна, но и только. Главное, молодость, сама понимаешь. . .

Она говорила со мной, как с ровней, словно была одних со мной лет. Толстое лицо на миг омрачилось, глаза потускнели, должно быть, подумала при этом, что ее молодость уже тью-тью давным-давно.

В эту минуту на другой стороне улицы я увидела Тату. И до того захотелось очутиться рядом с Татой, поговорить с нею, облегчить душу, поделиться тем, чем ни с кем нельзя делиться.

– Ладно, – сказала я. – Пока, до свидания. . .

Алиса Марковна удивленно глянула на меня.

– Что ж, до свидания. . .

И пошла, но не обратно к нашему дому, а на Сретенку. . .

Я подбежала к Тате.

– Есть разговор.

– Хорошо, – сказала Тата.

Был у нас в подъезде заветный угол – сбоку от дверей, там, где находились трубы центрального отопления. Бывало, мы с Татой простаивали там часами, особенно тогда, когда надо было поговорить о чем-то таком, о чем никому не положено было слушать.

Не сговариваясь, мы с Татой направились в тот самый угол, стали возле батареи. Я провела рукой по рифленным трубам, они были хо-



лодные, в Москве в те годы начинали топить поздно, сэкономили уголь.

Тата молча выслушала меня, чуть наклонив по-птичьему голову.

– Если бы ты знала, как мама ждала его, – сказала я.

– Будто бы не знаю, – возразила Тата. – Как же не знать!

– И вот видишь. . .

Тата спросила, помолчав:

– А как, по-твоему, он изменился?

– Он? – переспросила я и задумалась. Вроде бы внешне несколько, был по-прежнему улыбочивый, спокойный, добродушный, но вот что удивительно: никогда раньше он не являлся домой поздно, а теперь то и дело запаздывал.

Каждый раз пояснял: то у него собрание, то пришлось заменить сменщика, то машина испортилась, то еще что-то в этом роде.

Мама верила ему, а я и подавно, привыкла никогда не сомневаться во всем, что бы отец ни сказал. Но странное дело, теперь, стоя с Татой в нашем заповедном углу, я вдруг стала припоминать многое, на что решительно не обращала внимания, но что теперь вдруг показалось значительным и неоспоримым. Мама сказала на днях: "Поедем в выходной к крестной, она нас уже давно ждет". А папа сказал: "Когда? В выходной? Не смогу, обещаю вместо сменщика поработать. . ." Мама сказала: "Как он тебя часто эксплуатирует, твой сменщик. . ." Отец засмеялся, может быть, чересчур громко: "Ты так полагаешь? Непременно передам ему". Потом сказал серьезно: "У него сын женится, как же не выручить человека?"

И еще мне вспомнилось: мы были с папой в магазине, к папе подошел маленький, узкоплечий человечек, похожий на кролика, даже глаза у него были кроличьи, красные.

– Знакомся, Вася, – сказал папа, – это моя дочь, Ира. А это мой сменщик, – сказал мне папа.

– Какая у тебя дочь большая, – с некоторой, как мне показалось, завистью произнес папин сменщик. – Скоро тебя перерастет. . .

– Пусть растет на здоровье, – добродушно произнес папа.

– Моей дочке было бы теперь семнадцать, – сказал Вася.

Я спросила:

– А где же она?

– В войну умерла, от воспаления легких. – сказал Вася. – Аккурат когда я под Курском, на дуге был, она умерла. . .

И часто-часто заморгал кроличьими своими глазками. Потом, не глядя, сунул руку папе, мне и быстро пошел от нас, словно боялся, что мы догоним его и будем еще о чем-то расспрашивать. . .

– Он детей очень любит, – задумчиво сказал папа, обернулся, поглядел ему вслед. – А у самого больше нет детей. . .

Мне стало до того жаль папиного сменщика, что я с трудом удержалась от слез. Мы молча шли с папой домой и только за несколько шагов до дома я вдруг вспомнила: папа говорил, что у его сменщика сын женится, потому он, папа, и взялся работать за него.

– Как же так? – начала было я, но глянула на папино чуть загорелое, светлоглазое лицо и оборвала себя. Нет, наверное, я чего-то не так

поняла, а может быть, у папы еще один женишок есть? Может же так случиться, что у него не один, а целых два женишка, и тот, другой, женит сына. . .

Однако не спросила папу. Самой себе хотелось признаться, что боялась услышать ответ: "У меня один женишок". Что же тогда делать? Выходит, мой отец лгунишка? Кому же он врет? Маме, которая любит его больше жизни, которая ждала его всю войну и даже, кажется, не удивилась, когда он вернулся, потому что была уверена: он придет, не может не прийти. . .

– Мама как, догадывается? – спросила Тата.

Я решительно замотала головой.

– Никогда в жизни. Она верит каждому его слову.

– Это хорошо, – сказала Тата.

– Чем же хорошо?

– Счастье в незнании, – веско произнесла Тата. – Недаром говорят: знания умножают скорбь.

Бог ее знает, где она вычитала это изречение, впрочем, показавшееся мне мудрым. В самом деле, чем меньше знаешь, тем на душе спокойнее.

– А не врет Алиса? – спросила Тата. – Ты же сама говорила, врушка она не из последних.

– По-моему, не врет, – ответила я.

– "Великан" на Серпуховке, – сказала я.

– Знаю, – кивнула Тата. Даже в темноте стало видно, что глаза ее блеснули. – Слушай, я придумала вот что: давай его выследим!

– Кого? Папу?

– Кого же еще? Поглядим, что это такое. . .

– Поглядим, – задумчиво повторила я.

И в то же время я боялась узнать правду. Хотела и боялась. Потому что, если все сойдется, я больше не буду любить папу. Как бы ни хотела, не сумею любить. . .

* * *

Но однажды все кончилось. Все разом. Папа не пришел ночевать. Мама не спала всю ночь, то и дело выходила за дверь, на лестничную площадку, ждала его, прислушивалась к шагам на лестнице, снова возвращалась в комнату. . .

Но папы не было. Он пришел вечером. Мама еще не вернулась с работы, я только-только пришла из школы. И тут он вошел в комнату.

Я посмотрела на него. Он слабо улыбнулся мне, потом лицо его снова замкнулось.

– Мама беспокоилась. Где ты был? – сказала я. – Неужели опять профсоюзное собрание? Или новоселье в очень далеком районе?

По-моему, он сразу же уловил иронию в моем голосе, впрочем я и не пыталась ее скрыть.

– Нет, – папа медленно покачал головой. – Ни собрания, ни новоселья не было. . .

Подошел ко мне, я невольно шагнула от него в сторону. Почему-то

не хотелось, чтобы он прикоснулся ко мне. Он понял меня по-своему.

– Не бойся, – сказал, – не трону.

Я молчала. Он сел напротив меня за стол, сказал:

– Сядь вот сюда. . .

Кивнул на стул рядом. Я села, не глядя на него.

Что-то во мне бессознательно отозвалось: "Сейчас он произнесет какие-то слова, которые я никогда не забуду. . ."

Я не ошиблась. Слова, которые он произнес, и в самом деле позабыть невозможно.

– Ты уже большая девочка, Ира, и должна меня понять. . .

– Уже, – сказала я.

– Что уже? – переспросил папа.

– Уже поняла.

Я и в самом деле поняла, вернее, почувствовала то, что сейчас скажет папа. И когда он сказал:

– Не могу и не хочу лгать. Лучше любая, самая злая правда, чем ложь.

– Я сразу же осознала, что это значило. А значило это одно: папа решил уйти от нас.

Так и вышло. Он сказал:

– Когда будешь старше, поймешь меня окончательно.

– Почему ты думаешь, что я теперь не понимаю тебя? – спросила я.

– Ну и что? – спросил он. – Ты меня, наверно, не оправдываешь?

Оправдать его? Боже мой, мне сразу вспомнились те месяцы, недели, дни, когда мама ждала его, когда она, абсолютно неведомо почему уверенная, что папа непременно вернется, уговаривала меня: "Он придет! Не может не прийти!"

Она не верила, не хотела верить коротким словам извещения с фронта, нет, он должен был во что бы то ни стало не пропасть без вести, не сгинуть где-то, не погибнуть от пули снайпера, от разрыва мины, от бомбы или от пулеметной очереди, он должен был живым-здоровым вернуться домой. И он вернулся!

Я сказала:

– Мне раньше казалось, все фронтовики – хорошие люди.

– Ну уж все, – усомнился папа.

– Во всяком случае, честные, – сказала я.

Он поднял на меня глаза, усталые, как бы постаревшие разом, удивительно непохожие на его глаза, которые помнились с самого детства.

– Разве я поступил нечестно? Я же сказал правду, я не хотел врать, жить двойной жизнью, я считаю. . .

– Хватит, – оборвала я его. Вдруг во мне все закипело, кажется, еще немного и я возненавижу его. – Хватит! Забросал меня своими "я". Уходи, если собрался уходить.

Я не помнила себя от отчаяния, от горя и от злости на него. Хотелось ударить его изо всей силы, но как ударить его, это же все равно, что бить самое себя? Вот так вот, лупить по живому, по собственной кровоточащей ране. . .

Внезапно он послушался меня, а может быть, просто хотел поскорее

уйти. Нагнулся под кровать, достал из выгоревший рюкзак, бросил туда бритву, немного белья, теплые носки. И еще – снял со стены фотографию, на которой мы были с мамой и братом; он, я и мой младший брат Костя, умерший еще до войны от менингита.

Хотела было сказать: "Оставь, не бери фотографию", и не решилась. Пусть берет, пусть. . .

Он встал, выпрямился, держа рюкзак за обе ручки, словно кошелку.
– Ну, все.

Втайне я надеялась, что он подождет маму, может быть, если увидит маму, он передумает, ведь всяко может статься, вдруг поймет всю нелепость, жестокость своего поступка. . .

Он шагнул к дверям.

– Я пошел, Ира. . .

Я молчала. Уже стоя в дверях, он сказал:

– Деньги буду посылать, ты не думай. . .

– А я и не думаю. . .

Он все еще медлил, не уходил.

– Скажи маме, что я не мог иначе. Слышишь?

– Уходи! – крикнула я. – Слышишь, ты! Уходи немедленно, сию же минуту!

Должно быть, голос мой звучал так иступленно, что он испугался. Рывком открыл дверь и быстро закрыл за собой. Где-то в коридоре прозвучали его торопливые шаги, хлопнула входная дверь. Все. Ушел.

* * *

Мама пришла домой, как оно и полагалось, в девятом часу. Привычно спросила меня: ела ли я? Я сказала:

– Ела, конечно.

Мама сняла пальто, глянула в зеркало, спросила, не оборачиваясь:

– Папа не приходил?

Этот вопрос был неизбежен, я ожидала и боялась его и не знала, что сказать.

Мама обернулась ко мне.

– Папа еще не приходил? – повторила она.

– Приходил – ответила я. И сказала так же, как раньше сказал папа, кивнув на стул:

– Сядь вот сюда.

Мама удивленно покосилась на меня, однако села послушно, а я села напротив нее.

– Папа был и ушел.

– Куда ушел? – рассеянно спросила мама.

– Совсем ушел, – сказала я.

Мама или не расслышала того, что я сказала, или была настолько погружена в свои мысли, что никак не реагировала на мои слова. Поэтому, она их и не расслышала.

– Хорошо, что наконец-то явился, – сказала мама. – Ведь чего только за ночь в голову не придет!

Тихо засмеялась, наверное, успокоенная тем, что папа пришел.

— Ну, раз был, стало быть, все в порядке, жив-здоров.

— Он совсем ушел, — четко произнесла я.

Мама недоуменно взглянула на меня.

— Как, совсем?

— Так, как уходят. Совсем, значит совсем.

Слова мои, сама знала, звучали жестоко, но надо было, чтобы они дошли до мамы. И они в конце концов дошли.

— Ушел, — горестно повторила мама. И больше не произнесла ни слова. Я не спускала с нее глаз, казалось, она вдруг разом стала ниже ростом, такая худенькая, узкоплечая и совсем, как мне подумалось, молодая. На бледном лице особенно отчетливо темнели брови, придавая маминому лицу выражение какой-то жалкой беспомощности, не свойственной ей. Я встала со стула, стала возле мамы, обеими руками приподняла ее лицо. В эту минуту я казалась самой себе много старше мамы. Может быть, так оно и было?

— Только не плачь, — сказала я строго, хотя сама едва-едва удерживалась от слез. — Только не плачь! Не надо. . .

— А я не плачу, — ответила мама. — С чего это ты взяла, что я плачу?

Снова опустила голову, глядя себе под ноги, а я стояла возле нее и молча гладила ее по голове, по плечам.

* * *

Однажды я шла по Беговой, направляясь в Боткинскую больницу навестить мою Тату. Она лежала там после операции аппендицита, уже поправлялась и приказала мне принести ей арбуз.

Арбуз я не достала, зато купила килограмм превосходного винограда "шашла", синего, без косточек, я знала, Тата очень любит такой виноград.

Я проходила мимо кинотеатра "Темп", машинально глянула на пестрый плакат, висевший над входными дверьми, и увидела: "Дорога на эшафот".

Под этими буквами было нарисовано красивое женское лицо, впрочем, решительно не похожее на лицо Зары Леандр.

Давние, еще не до конца изжитые воспоминания вдруг разом нахлынули на меня, вспомнилось все сразу, наша коммуналка с тесным, заставленным корзинами и велосипедами коридором, с телефоном, без усталости звонившим с раннего утра до позднего вечера, наша комната в дальнем углу коридора, абажур над столом, оранжевый, довольно ветхий, с кругленькими висюльками, тумбочка возле окна, мамина кровать под пикейным одеялом и мой диванчик напротив, покрытый старым, изношенным пледом. Вспомнилась мне также родная моя Сретенка, аптека на углу, "Уран", в котором перед сеансом выступал Альберт Соловей со своим оркестром, а позднее начала выступать толстая Алиса Марковна Свистунова, непревзойденная лгунья, однако один раз в жизни все-таки сказавшая правду. . .

И еще вспомнилась любимая картина "Дорога на эшафот" с красавицей Зарой Леандр, расстрелянной фашистами незадолго до конца войны, картина, которую мы с Татой видели чуть ли не четыре раза, во всяком случае, три наверняка.

Я так и сказала Тате, едва лишь вошла в ее палату:

– В "Темпе" идет "Дорога на эшафот".

Тата всегда отличалась быстротой реакции, понимая все, что бы кто ни сказал, с первого слова.

– Забавно.

Тата не устала верить, что Дельвиг, друг Пушкина, любил слово "забавно". Потому она и взяла его на вооружение.

– Забавно, – произнесла Тата своим низким, почти мужским голосом, по телефону многие принимали ее за мужчину. – Столько лет прошло.

– Я тоже так подумала.

– Поправлюсь, пойдём, – сказала Тата. – Идет? Вспомним старину, или, вернее, детство, отрочество и юность?

– Идет, – ответила я и вышла из палаты вымыть виноград.

– Слушай, – сказала Тата, когда я принесла вымытый виноград и поставила перед ней тарелку. – Я не хотела тебе говорить, но все же скажу.

– Что же именно? – спросила я.

– Я видела твоего отца, – сказала Тата, пристально глядя на меня.

Но я выдержала ее взгляд. И в самом деле сердце мое не дрогнуло, не забилося сильнее. Ну, может быть, так, чуть-чуть.

– Где ты его видела? – спросила я.

– Знаешь, – Тата кивнула на окно. – Еще перед операцией я вышла погулять в парк и увидела его возле машины "Волга". Он стоял, курил и протирал ветровое стекло.

– И это все? – спросила я.

– Нет, не все, – сказала Тата. – Я его узнала сразу, он, конечно, постарел, но все-таки его можно узнать. Пожалуй, красивый по-прежнему, только весь седой как лунь.

Я спросила рассеянно, думая совсем о другом:

– А ты видела когда-нибудь луня?

– Видела, – соврала Тата и тут же засмеялась, потому что не выносила лжи. – Нет, не видела.

– Я тоже не видела. Что это такое, зверь или птица?

– Не знаю, по-моему, что-то вроде совы или филина.

Эти легкие, необязательные, но в то же время отвлекающие слова оказались благодатными для меня. Я нашла в себе силы продолжать спрашивать Тату спокойно, даже невозмутимо, впрочем, не могу сказать, что я волновалась. Нет, ни капельки. . .

– Я узнала от нашей палатной сестры о нем, – сказала Тата. – Он шофер, возит главного врача, сестра спросила меня, почему я им интересуюсь, я сказала, когда-то знала его. . .

– И нисколько не соврала, – дополнила я.

– И нисколько не соврала – согласилась Тата.

Позднее мы вышли вместе в коридор. Тата шагала медленно, но старалась не держаться за меня.

– Погоди, я сама, – говорила она и шла рядом, нахмутив брови, слегка выпятив нижнюю челюсть.

Она была всегда упрямой, любила и умела поставить на своем. Я знала, не надо помогать ей, она не признает помощи, и потому шла рядом, поглядывая на нее, сильно похудевшую после операции, однако довольно бодрю на вид.

Мы с Татой встречались нечасто. Дороги наши разошлись уже лет примерно двадцать тому назад. Тата стала филологом, преподавала в институте иностранных языков, я работала на одном из небольших окраинных заводов в должности инженера.

Но старая дружба, как известно, не ржавеет. И тогда Тата позвонила мне и попросила прийти к ней в Боткинскую и принести арбуз, я немедленно собралась. Как же иначе?

Мы вышли из корпуса в парк.

Навстречу нам по дорожкам шли люди, больные в халатах и в пижамах, посетители с сумками и кошельками, сестры и врачи в белых халатах, с белыми, высокими, похожими на митры, шапочками на головах.

Я смотрела на них, молчаливых или оживленно переговаривающихся, медленно вышагивавших или быстро пробегавших мимо, и думала о том, что странно устроена жизнь, все мы суетимся, волнуемся, стремимся к чему-то, порой недоступному, мечтаем о чем-то необыкновенном, из ряда вон выходящем, радуемся, когда желания наши сбываются, грустим, когда неудачи преследуют нас, а ведь всё и вся, решительно и безусловно, кончается одним – смертью.

– О чем задумалась? – спросила меня Тата остановившись.

– Знаешь, в больницах или на кладбищах обычно становишься филологом, – сказала я.

– Возможно, – нехотя согласилась Тата, она не выносила такого рода разговоры.

– Странно все это, – снова начала я. – Странно, что мы волнуемся по пустякам, куда-то стремимся, суетимся, нервничаем, печалимся или радуемся, а кто-то бесконечно равнодушный, неумолимый, равно относящийся к каждому из нас, глядит на нас откуда-то, не замечаемый нами, и вершит свое дело. . .

– Какое дело? – спросила Тата.

– Командует нашей судьбой, знает, когда какой кому положен предел. . .

– Фантазерка ты, Ирина, – недовольно отозвалась Тата. – И что мне с тобой делать, ума не приложу. . .

Я хотела было ответить ей: "Ну и не надо, не прикладывай, обойдусь и без твоего ума", как вдруг навстречу нам медленно приблизилась серая "Волга" с синими, туманными стеклами. Я не видела шофера, не видела пассажира, сидевшего с ним рядом, но не знаю почему, может быть, каким-то шестым чувством, угадала: шофер – мой отец.

– Смотри, – сказала Тата.

Но я уже видела без нее, я видела его широкое, не очень постаревшее, все еще свежее и привычно загорелое лицо, узкие виски, спокойные,

крепко сжатые губы. Все это я охватила одним взглядом. Он был без шапки, волосы его, некогда темно-русые, стали совершенно белыми, но ему седина шла, и глаза его казались старше, чем раньше. . .

Он узнал меня. Наши взгляды встретились на миг, и я поняла, он узнал меня. Брови его, тоже уже изрядно поседевшие, удивленно приподнялись, рот приоткрылся, наверное, хотел что-то сказать, окликнуть меня, остановить машину.

Не знаю. Я судорожно рванулась в сторону, чтобы больше не видеть его.

Невольно вспомнилась мама, последние годы тяжело и неизлечимо болевшая; измученные, прекрасные ее глаза, смотревшие на меня с надеждой: только я сумею помочь ей, отыщу хорошего доктора, найду чудодейственное лекарство, которое разом снимает все боли и мгновенно, навсегда излечит ее. . .

Но я любила отца. В этот момент еще раз поняла, что люблю его, что мне дорога каждая черточка в нем, седина, которая внезапно обрушилась на него, улыбочивые его глаза, морщинка на виске, полуоткрытый рот, все, все было близко, все казалось неизбежно родным, никогда не забываемым. Да и разве могла я хотя бы на минуту забыть его? Так спрашивала я себя и отвечала самой себе: нет, никогда в жизни! Я всегда помнила его и буду помнить до последнего своего часа. . .

Машина остановилась.

– Сейчас он вылезет из "Волги" и подойдет к тебе, – сказала Тата.

– Пойдем быстрее, – сказала я.

– Не могу, – возразила Тата и кивнула на свой живот. – Ты же должна понять. . .

– Все равно идем. . .

Я взяла ее под руку, крепко сжала локоть. Бедняга, она старалась не отставать от меня, но, наверное, ей было трудно, шутка ли, совсем недавно – операция, а я заставляю ее сразу же чуть ли не бежать. . .

– Обернись, – попросила я Тату, – погляди, он идет за нами?

Тата с удовольствием остановилась. Обернулась, сказала:

– Его и след простыл.

– Как простыл?

– Машина уехала. – Тата еще раз обернулась. – Вон она, за корпусами. . .

Когда номер готовился к печати, автор этой повести Людмила Захаровна Уварова была еще жива. Она звонила к нам в редакцию, делилась планами на будущее. . . Увы, теперь ее будущее – те книги, которые остались после нее. Их сорок пять: "Забот полон рот", "Сиреневый бульвар", "Сумерки после полудня", "Мытная улица", "На днях или раньше" . . . Она родилась и выросла в Москве, очень любила свой город, его людей, у нее было много друзей, потому что сама она была полна доброты, которую сохранили для читателей ее повести и рассказы. Теперь с нами книги Людмилы Уваровой – память о хорошем писателе и хорошем человеке.

НО ВЕРЮ Я...

Михаил РЕМИЗОВ, 12 лет, Тула

* * *

Наяву мечте моей не сбыться –
это можно только лишь во сне:
оседлать степную кобылицу,
чтобы грива вся была в огне.
Я бы ей вскочил на спину лихо,
и она бы понесла меня.
Я хочу степную кобылицу
с длинной гривой, словно из огня.
Сердце начинает часто биться,
когда вижу быстрого коня.
Я хочу степную кобылицу
С рыжей гривой, словно из огня.

* * *

Что печальна, грустна и уныла,
о святая моя Земля?
Отчего твое сердце заныло,
отчего безотрадны поля?
Или вспомнила старые годы,
когда реки так были чисты,
так прозрачны небесные своды
и леса так свежи и густы?
Или вспомнила ты свои храмы,
те, которых теперь уже нет?
Все болят незажившие раны,
Так болевшие столько лет.
Но утешься, святая Россия!
Всколыхнулся огромный народ.
Перенесший так много невзгод,
он пойдет против зла и насилья.

* * *

Россия, Господом забытая земля!
Грустны луга твои и доли,
Раскинулись огромные поля.
Стоят заброшенные села.
Священный край, великие равнины...
Березы светлые, понурившись, стоят.
Но грозно дубы-исполины
Своими кронами шумят.

* * *

Что сотворил сей жуткий век,
С собой расправившись сурово?
Об этом словно кто изрек,
Над тем закрылась крышка гроба.
Что сотворил сей чуткий век
с твоими, Родина, полями,
отнюдь не знает человек,
увы, простившийся
и с Богом и с богами.

* * *

И прощальный и грустный
слышен с неба стон.
Это льется над Русью
колокольный звон.
Смотрят древние храмы
с высоты холмов
голубыми очами
на простор лугов.

ДЕКАБРИСТАМ

*Вы не смогли добиться цели,
хоть благородна цель...
О нет! Вы не того хотели,
что совершаем мы теперь.*

*Восстали против произвола,
желая Русь освободить.
Но смог ли грозный залп "Авроры"
мечтанья ваши воплотить?*

*О, знали б вы, какие муки,
Россия вынесла с тех пор –*

*в годину горя и разрухи
победу праздновал террор.*

*Вы б не смогли смотреть спокойно
на храм с поваленным крестом,
стоящий горделиво, стройно
в селе безлюдном и пустом.*

*Но верю я: тот дух свободы,
любви и чести не угас.
Россия победит невзгоды,
и мы услышим правды глас.*

ВРЕМЕНА ГОДА

Аня АРТЮК, 12 лет, Киев

*В чернильницах дворов разводит слякоть осень.
Среди пустых кварталов сонных – тишина.
Под окнами, дрожа, ночлега вечер просит.
И в лихорадке бьется ветер у окна.*

*За стеклами небес проходит дождь по лесу
Ко стеклам облака приникли пеленой.
Туман плетется вниз; охрипший день-повеса
Шатается, сползая за окно.*

*За дождями, за небесными заплатами,
В темных дебрях перепутанных ветров,
Под седыми параллелями лохматыми
Гладь дорог дрожит среди земных узлов.*

*Точно странники в пыли, печали, холоде
Облака уныло топчутся гурьбой.
И весны нераспечатанные желуди
Так небрежно наземь брошены судьбой.*

ВРЕМЕНА ГОДА (по Чайковскому)

*На старом клавесине под вьюгу за окном,
За шелестом гардины, где все покрыто сном,
Сверкают солнца блики и поздний лист седой
Под птиц усталых крики прощается с листвою.*

*Ручьи бегут, повсюду шумит поток живой
И тройка, будто чудо, летит по столбовой.
В снегу, как будто в ризе, стоит седая ель.
И, вняв весны капризам, вокруг шумит капель.*

* * *

*Унылый снег засыпал ветви ивы,
В столбе огня чернеет свод ветвей.
Фонарный свет, вечерние мотивы
Забьтой, давней радости моей.*

*Мой старый двор с руинами деревьев,
Огней осенних сонный властелин.
Шум дней из жизни, из гремящих келий
Здесь вязнет в форточках, как старый пластилин.*

* * *

*Берез неравнобедренные стаи
Сухим узором блекнут на закате
Их сизые, из трикотажа платья,
Дрожащие от шумных дней, под ватой
Небесного, дешевенького рая.*

*Пропитанные сыростью осенней
Под небесами, в полушубках старых
Словно от страха, сбилися отарой
Шатающихся облаков сплетенья.*



Напоминаем: в третьей книжке журнала мы опубликовали письмо, подписанное инициалами Т.С. Оно начиналось страшными словами: "Мысль о самоубийстве пришла ко мне еще в шестом классе..." Тогда же, получив письмо и решив его полностью опубликовать, мы решили разобраться в поставленной проблеме, найти ответ, который помог бы тем, кто оказался у роковой черты, принять жизненно важное решение. Сегодня мы предоставляем слово публицисту Георгию Танутрову.

ВЫХОД – С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ

Георгий ТАНУТРОВ

– А теперь будет мой номер, – на экране видео появляется молоденькая блондинка. – Борь, возьми камеру. Я хочу, чтобы снимал ты.

Изображение смещается.

– Это я передаю камеру Борису, – поясняет мне Андрей. – А сейчас она скажет, чтобы сменили ракурс.

– Так. И давайте поменяем ракурс, – весело продолжает девушка, – я хочу быть на фоне окна.

Она вспархивает на стоящий у окна стул и открывает шпингалеты.

– Номер называется: "Красивый уход!" – бравадно декламирует она, распаковывает окно и так же легко запрыгивает на подоконник.

– Ой! Лариска, слезь! – визжит кто-то из девушек. – От твоих шуточек...

– Это не шуточки, – улыбка сходит с ее лица. – Я просто не хочу вам мешать... Светочка, Боренька, будьте счастливы...

Секундная пауза. Ее глаза, смотрящие в объектив, делаются на миг растерянными. Кто-то кричит: "Стой!", мелькают чьи-то руки – и изображение взлетает вверх.

– Это Борис выронил камеру, – говорит Андрей, – так что сам прыжок сюда не вошел... Если бы Максим не закричал "Стой!", если бы мы к ней не рванули, может быть, она бы и не прыгнула.

...Кто он был, первый в истории самоубийца? Может быть, наш далекий, обросший щетиной предок – потерпевший фиаско в охоте на мамонта и с досады расшибивший о скалу свой неандертальский череп? Или – его благоверная, тоскавшая мужа с красоткой из соседней пещеры, – и в ярости заколовшаяся на совесть сработанным гребешком? Трудно сказать. Но как бы то ни было, очевидно одно: человек, первым поднявший руку на самое дорогое – жизнь, был осужден.

Были осуждены и его последователи. Тех, кто случайно оставался жив, подвергали общественному презрению, сажали за решетку, даже сжигали на кострах. Других – кому удавалось довести задуманное до конца – проклинали посмертно. Недовыплеснутый гнев обрушивался на ближних и дальних родственников.

Несмотря на все попытки философов и ученых изменить общественное отношение к суициду (самоубийству), людей, отчаявшихся на этот шаг, перестали преследовать (открыто) лишь к концу прошлого столетия. В отличие от философов, делавших акцент на свободе воли и праве каждого принимать или отрицать жизнь, юристы и правоведаы доказывали, что самоубийца нарушает лишь моральные нормы, а потому судить его следует судом совести. Медики имели на этот счет свои соображения. В начале прошлого века появилась психиатрическая концепция (или концепция Эскироля), в ней суицид не рассматривался более ни с правовых, ни с

нравственных позиций. Самоубийство стали трактовать как симптом психического заболевания...

А тем временем – пока ученые разбирались в трактовках и определениях – процент самоубийц (на сотню умерших) неуклонно рос.

Красивого ухода не получилось. Уход оказался страшным. С момента, когда ее "саламандры" скользнула по узкому подоконнику, до момента, когда осциллограф реанимационного отделения зафиксировал смерть, прошло больше двух суток. Пятьдесят два часа боли, стонов, судорогий, душераздирающих криков и неизвестно откуда вдруг взявшегося огромного желания жить. В минуты, когда ей было чуть легче (вспоминает одна из медсестер), она шептала: "Не хочу умирать! Не хочу!.." Но – "перелом нижних отделов позвоночника, черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника..." Диагноз, с которым доставили ее сюда, был слишком жесток. Квартира Ларисы находилась на пятом этаже дома с высокими, потолками – построенного еще до войны.

Ее папа, ответственный работник одного из министерств, считал себя сторонником японской системы воспитания. "Детей нельзя ни в чем ограничивать, – всегда говорил он, – запреты озлобляют". С детства Ларисе было позволено все. В четыре года, как рассказывает мама, "она была художницей. Все стены в доме были исчирканы цветными карандашами. Обои пришлось менять несколько раз". Потом были

краски, фигурное катание, фортепьяно, теннис, горные лыжи, мотоцикл... Последним ее увлечением – уже в десятом классе – стало видео. Отец попытался было отложить покупку, но Лариса не привыкла к проволочкам. Вскоре в доме появилась видеосистема "Сони". А чуть позже и видеокамера – девочке хотелось снимать фильмы. Впрочем, не так снимать, как сниматься. "Решено – я буду актрисой. Я поступаю во ВГИК", – сказала она родителям после выпускного вечера, где "королевой бала", отснятого на видеопленку, была, естественно, она... Но – все оказалось чуть сложнее.

– Провал на первом же туре, – рассказывает мама, – был для нее трагедией. Она так рыдала!.. А потом еще этот Борис. Внешне милый, интеллигентный. А оказался таким...

Борис появился осенью, через три месяца после ее неудачного поступления. Он не спешил. Водил в театры, в рестораны. Познакомился с родителями. Как-то незаметно втерся в ее компанию.

В конце декабря он пригласил ее к себе. Была ночь. Первая и последняя. С этого дня он стал ее избегать. А еще через месяц Лариса увидела его со Светой – своей подругой, бывшей одноклассницей.

– Вот ее последнее письмо, – Эмма показывает мне листок, вырванный из фирменного ежедневника. – Она написала его накануне того дня, я лежала в больнице:

"Эм, я больше не могу. Он издевается надо мной, как хочет.

Иногда своего брата говорить, что это Эмма – когда я прихожу или звоню по телефону. Довел меня до ручки. Эм, за что? Я уже по ночам не сплю. Видела бы ты, на кого я стала похожа – боюсь подойти к зеркалу.

Да еще эти птеродактили – маменька с папенькой. Достали. Маман раздобыла где-то корень жень-шеня – пытается меня поить. Папаша притащил путевку на Золотые пески. Поедешь, говорит, Лорик, в Болгарию – развлечешься. Кретин! Им бы только развлекаться.

И главное. Сегодня звонит эта змея, Светочка. Мы, говорит, с Борей все никак не можем решить, что тебе завтра лучше подарить – колготки или косметичку. А потом, как бы невзначай: "Да, кстати, чуть не забыла – мы с Борей позавчера были в ЗАГСе, подали заявку".

Эм, она меня добила. Завтра я что-нибудь выкину".

Назавтра, сославшись на нездоровье, Лариса пролежала в постели до самого прихода гостей (благо, хозяйственная часть ее никогда не касалась: готовила мать, убирала бабушка, продукты из спецраспределителя привозил папин шофер). Только когда в прихожей раздался первый звонок, она встала и поплелась в ванную – наводить марафет.

Между горячим и чаем кто-то предложил сниматься на видео. Как всегда, стали дурачиться, разыгрывать сценки. Дольше всех не унимались Борис и Света. Они изображали пастушескую идиллию. Впрочем, изображать

ничего было не надо – их лица и без того светились счастьем.

И вот тогда в кадре появилась Париса:

– А теперь будет мой номер...

Почему же так происходит? Почему, когда мы оказываемся у "последней черты", большинство из нас останавливается, а кто-то делает шаг вперед. Что подталкивает этих немногих, что заставляет их переступить страшную черту, за которой нет уже ничего?

Суицидология утверждает: каждое самоубийство в большей или меньшей степени предопределено утратой социальной адаптации, спецификой личностных особенностей и психотравмирующей ситуацией.

Однако не каждый, даже самый экспрессивный, японец, оскорбленный в лучших чувствах, решится на харакири. И не каждый, даже самый амбициозный, полководец, проигравший генеральное сражение, пустит себе пулю в лоб. Так что же все-таки отличает этих "самых из самых"? Может, действительно, все они – психически не вполне здоровы?

Неудивительно, что именно эта, психиатрическая, концепция была принята у нас "на ура". Неудивительно, что в догму она была возведена именно в "звонкие и радостные" тридцатые. В стране, "где так вольно дышит человек", помышлять о самоубийстве или тем паче совершить его мог либо затаившийся враг, либо сумасшедший.

Концепция Эскироля, пропущенная сквозь призму тоталитарного режима, господствовала в

нашей стране до 60-х годов. Человеком, опровергшим ее и полностью изменившим подход к феномену самоубийства вообще и личности самоубийцы в частности, стала Айна Григорьевна Амбрумова. Ныне – профессор, заслуженный деятель наук РСФСР, руководитель Всесоюзного научно-методического суицидологического центра. В 1980 году под ее началом было проведено доскональное обследование "попыточников" – лиц, покушавшихся на самоубийство. Результаты его оказались ошеломляющими: 75 процентов суицидентов – психически здоровые люди, никогда ранее не обращавшиеся к психиатру.

... – Светлые волны покоя наполняют кисти моих рук, – негромко, нарастающе произносит брюнетка в тренировочном костюме. – Каждый мой вдох наполняет душу потоком света...

Идет сеанс аутотренинга. Обычный для кризисного стационара, лечебного заведения на 30 коек – этакое царство полупотопта, мягких кресел, приглушенных шагов и успокаивающих обоев – столь неожиданного в гудящем Бабушкинском районе. В Москве (как, впрочем, и в стране) это пока единственное заведение подобного рода. Сюда попадают самые "тяжелые" – те, кого уже не успокоишь по телефону доверия, кому не pomoжешь амбулаторно (в кабинете психологической помощи), – те, кто нуждается в комплексном лечении.

– Светлые волны покоя... – продолжает инструктор. Вокруг нее, откинувшись на спинки кре-

сел, дремлют люди. Все они – либо пытались покончить с собой, либо стояли на грани... Ближе всех ко мне – Вера. Состояние ее врачи находят уже вполне сносным. Завтра – на выписку. Наверное, только поэтому мне разрешили поговорить о ней.

Таких, как она (покушавшихся на жизнь), в стационаре немного, всего 30 процентов. Да и среди них большинство – те, кто не до конца верил в реальность самоубийства, а если и верил, то подсознательно "оставил дверь приоткрытой", может быть, в тайне от самого себя – вонзив пезвие не так глубоко, проглотив не все приготовленные таблетки. Уходя в темноту, они как бы оглядывались – "А вдруг?.." И в этой слабости есть что-то очень непонятное, что-то сугубо человеческое.

Однако сейчас речь не о них. А о тех, кто "плотно закрыл за собой дверь". О тех, кто мысленно побывал за чертой и кого спас лишь счастливый случай. Или не спас.

– Что чувствовала? – Вера задумывается. – Да, наверно, ничего. Мне только хотелось, чтоб кровь текла побыстрее... Чтобы скорее все кончилось.

– А что было, когда очнулась?

– Сначала ничего не поняла. А когда вспомнила... мне показалось, что я родилась второй раз. Только вот радости это не принесло.

Первое ее детское воспоминание связано с черным платяным шкафом. Четырехлетняя Вера надоела отцу своим плачем, и он наказал ее, заперев в шкафу, а сам пошел на кухню – продолжать

общаться с друзьями. Потом, забыв о девочке, они отправились к кому-то в гости. Поначалу она биплась в изморюке – ей казалось, что вот так, наверно, хоронят людей. Месяц назад умерла Верина бабушка – ее тоже положили в какой-то ящик.

Вызволил ее с "того света" мамин "друг". Будучи более трезвым, чем возлюбленная, он первым услышал всхлипы, доносящиеся из шкафа. Это было ее вторым потрясением в тот день – голый и волосатый спаситель показался ей похожим на черта.

С того дня Вера стала заикаться. Она помнит затрешины, мат, пинки. И бесконечные "пьяные разборки". Родители избивают ее старшего брата Витьку: мать держит, обхватив сверху за плечи, отец размахивает солдатским ремнем... Отец гоняется за матерью с плоскогубцами, приговаривая: "Изуродую!", а они с Витькой орут что есть мочи и пытаются остановить его... Мать и двое ее "друзей" бьют до тех пор, пока Витька не приводит участкового...

Она помнит, как отец обучал ее тринадцатилетнего брата искусству "прокидывать стопарик". Помнит, как однажды вечером к ним пришли два милиционера – и Витька выпрыгнул в окно (через неделю его все же нашли и отправили в колонию – за грабеж). Помнит многочисленных "друзей" своей матери. Они разного возраста, внешности, комплекции; все они были "под градусом".

Потом, когда ей стукнуло четырнадцать лет, из колонии вернулся Витька. Она помнит запах

подвальной сырости, запах цемента и мазута. Здесь, на гудящих трубах, она стала женщиной.

— Не плачь, дура. Еще сама меня сюда позовешь, — утешал ее брат, когда она умывала подбитый глаз из подвальной лужи (Вера согрестиалась — и Витьке пришлось применить силу).

А через год они "подзалетели". Брат засуетился, забежал по друзьям и где-то на окраине Москвы, нашел бабку, согласившуюся "обслужить" Веру за четыре бутылки... Она помнит затхлую, с прокопченными потолками комнатку, медный таз, полотенце с подтеками и еще какие-то немудреные предметы домашнего абортария. Помнит кривые, с увеличенными суставами, пальцы старухи, желтоватые белки ее глаз...

Потом были еще несколько лет мата, водочного перегара, случайных связей и бесконечных выкидышей. И вот, наконец, казалось, все идет хорошо — близился к концу девятый месяц беременности. Вера обследовалась "на ультразвук": девочка! Она и хотела девочку. Она так долго ждала! Обезумев от счастья, она бросилась покупать пеленки, распашонки, платьица. Она даже придумала имя — Стелла. Светлое, гордое имя — с таким не будешь валяться в грязи...

Но фортуна, эта "продажная тварь" (как называет ее Вера), опять отвернулась от нее. Ребенок задушился при родах пуповиной.

Вернувшись в девятиметровую клетушку пропахшей щами коммуналки, она вдруг почувствовала

безысходность. Ей показалось, что кто-то опять, как тогда, в детстве — запер ее в черном шкафу.

Майя Захаровна ДУКАРЕВИЧ, старший психолог Всесоюзного научно-методического суицидологического центра:

— Люди "проваливаются" в свою ситуацию, как в яму. Им кажется — все, конец, выхода нет. Кажется так именно потому, что они находятся "внутри ситуации". Для того, чтобы оценить все спокойно, чтобы найти какой-то реальный выход, нужно подняться "над ситуацией", взглянуть на происходящее с другого, более высокого, уровня. Понятно, на такой "взлет" способен не каждый. Большинству не обойтись без помощи специалистов.

— Но ведь "провалившийся в яму" часто бывает в таком состоянии, что не пойдет сам в кабинет социально-психологической помощи, тем более не станет искать адрес кризисного стационара.

— Если человека тяготит "кабинетная" форма общения, если он застенчив, неконтактен или совсем потерял веру в добро, то лучше всего ему позвонить по телефону доверия. Это удобно тем, что обратившийся за помощью сохраняет полную анонимность, к тому же он может вступить в контакт с врачом откуда угодно и когда угодно. Стоит лишь набрать номер. Пользуясь случаем, напомним его: **205-05-50**. Недавно в Москве появился еще один телефон доверия — для подростков: **122-32-77**.

Мысли о самоубийстве приходили к Вере уже давно. Но они были, скорее, абстрактными: ког-

да-нибудь она не выдержит всего этого и что-нибудь с собой сделает... Теперь же Вера знала точно – она совершит это... Как? Неважно. Главное, чтобы поскорее. Первое, что пришло ей в голову, – удавиться.

Вера сложила пополам бельевую веревку. Долго и неумело связывала удавку. Вот только куда бы ее подвесить?... Снять люстру оказалось делом непростым. Перерезая провода, она поймала себя на том, что боится – вдруг убьет током! В этом страхе было что-то смешное. Чем, собственно, повешение лучше? На миг ей вспомнилось лиловое лицо Зинки, ее подруги, удавившейся в прошлом году – после того, как от нее ушел сожитель.

Нет, выглядеть так, даже после смерти, Вера не хотела. Бросив недорезанные провода, она спустилась с табуретки. Медленно провела ножом по руке. Он оказался тупым. Где-то в буфете, вспомнила она, лежали лезвия бритвы...

В половине пятого утра сосед-олигофрен, выйдя из туалета, услышал грохот в Вериной комнате. Это упала люстра. Заинтересовавшись, он подошел к двери – из-за нее доносились какие-то странные хрипы. Он испугался, замычал и разбудил свою мать. Разобравшись в чем дело, старуха подняла шум. Разбуженный ни свет ни заря сосед-алкоголик, матерясь, выломал дверь в верину комнату... Она лежала на полу. Рядом поблескивала лужица крови. Старуха вызвала "скорую".

В институте Склифосовского

ее привезли с диагнозом: "Резанная рана левого локтевого сгиба с повреждением вены брахиалис". Через несколько дней она оказалась в кризисном стационаре.

"Один выход у нас есть всегда – самоубийство", – считает Гарри, герой "Степного волка" Германа Гессе.

Прав ли он? Можно ли считать самоубийство выходом? Имела ли право на такой "выход" Лариса? Имеет ли право на него Вера, любой из нас?

Думаю, да. В нашем скованном запретами мире право на самоубийство, видимо, осталось последним абсолютным, непоколебимым правом – правом, которое у нас не отнимут никогда. За совершённый суицид нас никто уже не "накажет", не "лишит", не "приговорит"... И особенно ценится это право в государствах тоталитарного типа, где личность попадает под контроль едва ли не с рождения, где свобода выбора – это лишь развилка. Точнее даже – ответвление узенькой тропинки, ведущей в пропасть, от магистральной дороги, по которой стройными рядами, чеканя шаг, шествует общество – мыслящее, дышащее и живущее так, как того требует инструкция.

Тропинка в пропасть – не выход? Безусловно. Но вправе ли мы осуждать тех, кто (скажем, в конце тридцатых или в начале пятидесятых) выбрал этот путь? Кто предпочел самоубийство сытому прозябанию, купленному за подпись в доносе или за оду "великому вождю"?

Отсутствие гражданских сво-

бод, конечно, не единственная причина самоубийств. Но о том, насколько она важна, свидетельствует "кривая суицидов", резко упавшая в 1985 году: "Мы стали меньше есть, но больше говорить", — заметил один сатирик. С материалистической точки зрения, обмен как будто не в нашу пользу и есть основания для меланхолии. Однако статистика утверждает — у нас прибавилось жизнелюбия: еще в 1984 году на 100 тысяч населения приходилось 30 самоубийств, в 1985-м — 25, в 1986-м — 19.

...И все же, каким бы свободным ни было общество, в нем всегда будет оставаться категория людей, находящихся вне наших оценок, вне одобрений и порицаний. Это — обреченные. Люди, доведенные до крайности — постоянной болью, осознанием своей беспомощности, люди, чью судьбу не изменит уже ничто.

Но, понимая обреченных, решивших ускорить свой уход, я преклоняюсь перед другими. Теми, кто находит в себе силы бороться. И верить — хотя верить, казалось бы, не во что. Кто из последних сил ползет прочь от "черной двери" в конце коридора — которая всегда открыта, за которой ждут темнота и вечность. Ведь, каким бы печальным ни был прогноз, один из тысячи "ползущих" все равно побеждает!.. Но и те девятьсот девяносто девять, что умирают, так ничего и не добившись, по-моему, побеждают тоже. Уже хотя бы потому, что умирают с надеждой... А какая есть на земле ценность большая, чем надежда?

М.З. ДУКАРЕВИЧ:

— Спрашиваете, какие душевные качества отличают самоубийц?.. Вопрос сложный. Дело в том, что все они — очень разные. По характеру, по возрасту, по социальному положению. Поэтому говорить о каких-то общих душевных качествах самоубийц, наверно, невозможно. Скорее я сказала бы, что всех их объединяет некая недоразвитость души. Я убеждена в том, что чем многограннее духовная жизнь человека, чем богаче его внутренний мир, тем меньше вероятность, что когда-нибудь он поднимет руку: а самое дорогое. И наоборот, чем уже диапазон интересов человека, чем "материальнее" шкала его ценностей, тем больше опасность, что однажды он решится на роковой шаг. Ведь материальные блага, в отличие от духовных, легче не только приобрести, но и потерять.

Не так давно в кризисный стационар привезли пожилую женщину из вполне благополучной семьи — любящую бабушку двух внуков. Зять, случайно возвратившийся с работы раньше времени, буквально вытащил ее из петли — выяснилось, что теща потеряла ломбардные квитанции на два ковра... Через несколько дней, когда она лежала в стационаре, дочь, навестившая ее, сказала, что ковры возвращены — без всяких квитанций. Старушка была на седьмом небе...

С коврами все ясно. А вот может ли стать счастливым тот, кто покушался на жизнь по более веским причинам? Честно говоря, не думаю, что Вера когда-нибудь

сможет быть по-настоящему счастлива. Хотя шанс на счастье у нее, безусловно, есть. Шансов нет у Ларисы.

Я прошу Андрея еще раз прокрутить ту злосчастную пленку. Хочу понять. И в кадре опять появляется девушка с насмешливой полуулыбкой...

На овальной фотографии, вдавленной в черную мраморную плиту, стоящую на окраине Химкинского кладбища, я видел недавно эту же полуулыбку. Полуулыбку доброй, раскованной девочки, привыкшей жить легко. Полуулыбку, логичную на дискотеке, в кафе, в студенческой аудитории – где угодно, но только не здесь – среди каменных плит, запыленных оград и банок с поникшими астрами.

Нет. Она не хотела умирать. Ей хотелось лишь что-то доказать, кого-то проучить. Она и не предполагала, что развязка будет так страшна и, вместе с тем, так банальна, что реальностью будет подрубленный, хорошо обработанный труп, стандартный гроб,

несколько венков, увитых пентами. И две даты: 1971-1989, выдолбленных под ее фото. И – как-то сразу обмякший отец, робко кладущий цветы на могилу. И многоопытный, с подбитым глазом, могильщик, который скажет отцу: "Так нельзя, командир". А потом неспешно поднимет цветы, положит их на землю за оградой и уверенно хрякнет по ним лопатой, отрубив стебли почти по соцветия. "Вот теперь – люкс, – прохрипит он. – Теперь не стянут"... И что самое странное – даже эта реальность будет уже не ее. Без нее.

По данным Госкомстата, сегодня в СССР ежедневно кончается жизнь самоубийством в среднем 148 человек. Если на прочтение статьи у вас ушло 10 минут, кто-то за это время уже переступил "черту". А следующий уже подошел к ней – подвесил веревку к антресолям, или ссыпал в ладонь таблетки, или уже занес лезвие... И, может быть, сейчас подходит к концу та, десятая, среднестатистическая минута, дающая последний шанс остановиться!

"Осторожно, двери закрываются! – Андрей успевает заскочить в вагон метро, а я поворачиваюсь и бреду к переходу, прокручивая в памяти события дня. У лестницы я поднимаю глаза к светящемуся табло. Но – вместо длинного перечня станций на меня смотрят два черных слова: "НЕТ ВЫХОДА"..."

Какая глупость. Такого не бывает – выход есть всегда! Нет, не тот, что ведет за "черту". Другой.

Не помню точно где, но на одной из станций метрополитеновцы уже сняли табло "НЕТ ВЫХОДА". И повесили новое – "ВЫХОД С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ!"...

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ДЕЛОВЫМ?

СПЛАНИРОВАЛИ. А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Второй совет молодому менеджеру

Сначала напомним первый совет для тех, кто не читал или для тех, кто прочитал, но уже забыл.

В предыдущем номере журнала мы попытались Вас убедить в пользе планирования, в подтверждение привели следующую схему:



заштрихованная часть – это условное изображение времени, затраченного на планирование;

чистое пространство – это время на достижение запланированного результата и исправление ошибок.

А чтобы все стало на свои места, предложили нарисовать дерево целей (елку):



где ствол – Ваша главная цель; ветки – направления Вашей деятельности;

веточки – задачи, которые Вы должны выполнить по каждому направлению деятельности для достижения результатов.

и, наконец, иголки – конкретные мероприятия, которые нужно выполнить, чтобы решить задачу.

Будем считать, что цели и направления деятельности определены. Теперь необходимо все это зафиксировать. Подчеркиваю слово **н е о б х о д и м о**.

Возьмите толстую тетрадь. Оставьте несколько листов для перечня целей. Оставшуюся часть тетради разделите на несколько частей примерно так:

0,1 – для направлений деятельности;

0,2 – для задач;

0,3 – для конкретных мероприятий;

0,4 – под дополнительные записи.

Чтобы быстро находить нужный раздел, можете сделать краевую перфорацию, как в телефонной книжке.

В каждом разделе пронумеруйте листы.

Тетрадь готова. Приступаем к ее заполнению.

Цель

2. Создать службу для сбора информации о потенциальных потребителях.

см. с. 5 (в конце указываете номер страницы, где перечислены направления деятельности).

Направления деятельности

Сначала укажите номер цели. Затем порядковый номер направления, наименование направления и дату исполнения.

Одновременно занесите дату в календарь. Теперь календарь будет Вам напоминать о том, что Вы сделали или не успели сделать. В конце строки запишите номер страницы, где будут указаны задачи к этому направлению, и оставьте небольшое поле для дополнительных записей. К примеру:

- | | |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Номер цели | 5 |
| 2.1. Разработать структуру службы. | |
| Определить необходимое количество сотрудников | 17.04.90. с.20 |
| 2.2. Подобрать сотрудников. | 20.06.90. с.21 |

Аналогично заполняется раздел **Задачи.**

Задачи 20

- 2.1. Направление деятельности
Разработать структуру, определить количество сотрудников (см. с.5 направлений).
- 2.1.1. Ознакомиться с аналогичными подразделениями в других ведомствах (см. с.17) 17.04
МПО "Мех" т. 207-71-63;
"Карат", Иванов Василий Михайлович, т. 942-01-10.

2.1.2. Ознакомиться с литературой по данному вопросу. (см. с.18) 19.04

После этого по такой же схеме распишите мероприятия.

Цель, как правило, остается, а планы достижения ее могут изменяться. Поэтому по ходу работы Вы будете пополнять список направлений, мероприятий, задач.

Если Вы в тетради отвели слишком мало места под раздел и у Вас, например, не помещается весь список мероприятий, а на следующей странице уже начинается перечень мероприятий по другому направлению деятельности, то сделайте отсылочную запись (см. с.25).

Теперь о дополнительных записях. Сюда Вы заносите идеи, информацию. Не забывайте только отмечать номер страницы, где указано направление деятельности, или мероприятие, или задачи, к которым относятся Ваши записи.

Одновременно рядом с направлением деятельности, мероприятиями пометайте и номер страницы, где сделана запись.

Не начинайте планировать без календаря. Возьмите календарь, разделенный на дни. Планировать время необходимо, идя от большего к меньшему, от мероприятий к цели.

На свое усмотрение Вы можете сразу на большой отрезок времени расписать дни, чем и в какой день Вы будете заниматься.

Лучше делать это на неделю вперед (максимум – на две недели).

Обязательно занесите в календарь даты исполнения.

Михаил МОСКАЛЕВ

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ДЕЛОВЫМ?

Дмитрий ГУБИН

КОШЕЛЕК В ШКОЛЬНОЙ СУМКЕ



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕНЬГАХ

В портфельчиках и ранцах даже самых маленьких мальчиков и девочек, идущих в школу, всегда позвякивает несколько мелких монеток. Гривенник. Двугривенный. Полтинник.

Они нужны для того, чтобы дети могли купить в школьной столовой пирожок. Или выпить стакан сока. Или заплатить взнос в общество охраны природы... Да мало ли на что может использовать первоклассник свои карманные деньги! Эта мелочишка, "серебро", не считается тратой даже теми родителями, которые привыкли считать каждую копейку.

От класса к классу количество монеток в школьной сумке увели-

чивается, и в один прекрасный день монетки перестают звенеть, потому что заменяются шуршащими бумажками. Рублем. Пятеркой. Червонцем. Старшеклассник – взрослый человек, и он хочет иметь деньги не только на мороженое и кино, но, скажем, и на магнитофонные кассеты. И родители, как правило, эти деньги дают, хотя часто и три рубля – серьезный для семейного бюджета расход.

У взрослых свои отношения с деньгами. У одних они исчезают из кошелька неизвестно куда и на что, так что вся зарплата уходит на выплату долгов – с тем, чтобы увязнуть в новых. А у других деньги из кошелька тоже исчезают, но откладываются, к примеру, на банковский счет. И происходит так не только потому, что кто-то зарабатывает больше, кто-то – меньше. Часто люди с равной зарплатой знамениты тем, что один – всегда дает в долг, другой – что всегда берет...

В чем тут дело? Не пора ли нам серьезно поговорить о деньгах? Конечно, не в них одних счастье,

но нищета и мучительная от денег зависимость – и вовсе счастьем не синоним!

А может быть, дело как раз в том, что у нас о деньгах не то что серьезно, а и просто вслух говорить не принято? Как, скажем, не очень-то принято вести гроссбух – тетрадь по учету доходов и расходов, что является естественным для жителей Западной Европы. Призрак скупого рыцаря гуляет по России так же, как когда-то гулял призрак коммунизма! И это при том, что, так и не построив общество изобилия, мы живем, к сожалению, беднее финнов, англичан, французов, итальянцев, испанцев... Не говоря уж о немцах, швейцарцах и австрийцах!

И что любопытно: любой противник прилюдного разговора о деньгах прекрасно знает из школьного учебника, что деньги есть всего-навсего мерило труда. И что, стало быть, крупной суммой честно заработанных денег можно только гордиться...

Давайте поговорим о деньгах, памятуя о том, что мы тем самым будем говорить и о труде.

КАК ШКОЛЬНИКУ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ

Однажды по редакционному заданию мне пришлось прийти на планерку в горотдел народного образования. Дело было в середине восьмидесятых, когда еще никто не решался признать, что школьная реформа проваливается. Ее основной пункт – воспитание школьников через труд – был столь неточно сформулирован, что никто не мог понять: а что, собственно, хотели сказать

авторы? Ведь не сделал же труд из рабов на галерах гармонически развитых людей!..

Так вот, один из приглашенных на совещание молодых учителей предложил идею, как сказали бы двумя годами позже, – “неформальную”. Он произнес примерно следующее:

– Многим людям и организациям нужна временная, не очень тяжелая работа. Например, вы-

мыть окна или машину, разнести газеты или телеграммы, подмести улицу или полить газон. Это труд малоквалифицированный, а потому и малооплачиваемый. Очень немногие взрослые люди соглашаются на него и, не любя, работают плохо, без удовольствия. Но ведь те деньги, которые кажутся взрослому маленькими, могут показаться очень большими школьнику. Рублей за сорок в месяц шестиклассник будет с удовольствием разносить телеграммы, а здоровый верзила из девятого класса поработает два дня на разгрузке вагонов. Давайте создадим межшкольное объединение, фирму, которая бы собирала заявки на такую работу и в которую обращались бы за работой наши ребята!..

Тут его перебила пожилая педагогическая дама, в ходе всей речи вставлявшая ехидные реплики типа:

— Что же теперь, ребенок должен вместо учебы о деньгах думать?

Или:

— Наши дети родились не в Гарлеме, у них обеспеченная жизнь.

Но поскольку эти аргументы на Молодого, видимо, воздействия не оказывали, Дама подняла указательный палец по направлению к Богу и веско произнесла:

— Карл Маркс был против детского труда!

— Карл Маркс не был против детского труда, — тут же парировал Молодой, — он был против его эксплуатации. Когда, скажем, дети работают на уборке урожая, а денег не получают. Карл Маркс считал, что в государстве будущего дети должны заниматься

посильным трудом с четырнадцати и даже с двенадцати лет!

В этом "блище" Молодой, конечно, победил Даму, хотя потом она и взяла реванш: никакой межшкольной фирмы по трудоустройству в том городе создано не было и, кажется, нет и сейчас. Хотя кое-что с тех дней изменилось: сегодня педагоги, даже самые консервативные, уже не осуждают напрямую школьников, решивших немного подзаработать, а самые прогрессивные подталкивают своих питомцев к таким работкам.

Способов заработать деньги для школьников немного. Но они есть.

Первый. В каждой школе сейчас старшеклассники проходят оплачиваемую практику на фабриках и заводах. Можно, конечно, день практики запросто "кольнуть" (это легче, чем прогулять уроки), но тогда полученный заработок будет ниже заработка одноклассников. Кроме практики, летом при школах и райкомах комсомола организуются трудовые отряды. И тогда можно выбирать — поехать с родителями к морю или же без родителей — на совхозные поля. Все это — варианты официального школьного заработка.

Второй. Этот способ тоже достаточно распространен. Невдалеке от каждого дома есть почта, а редко какой почте не требуются почтальоны. Разносить вечерние газеты (если учишься в первую смену) и утренние (если во вторую) — достаточно увлекательное занятие! Не говоря уж о том, что, занимая немного времени (договорившись с приятелем, можно

работать через день), оно хорошо оплачивается.

Третий. В каждом городе и городке работают государственные бюро по трудоустройству. Работают, увы, пока еще очень плохо, и обращение детей за временным трудоустройством может поставить служащих бюро в тупик. Поэтому лучше обращаться в бюро вместе с родителями: взрослый взрослого лучше поймет! В некоторых крупных городах — Москве, Ленинграде — службы трудоустройства молодежи есть при молодежных центрах. Правда, как правило, они ориентированы на студентов и молодых специалистов.

Четвертый. Этот способ совершенно прост: о работе нужно порасспрашивать своих родст-

венников, друзей, приятелей. Не стесняйтесь спрашивать — и тогда (совершенно неожиданно!) выяснится, что, скажем, ЖЭК готов платить за мытье полов в подъездах... Да мало ли какие варианты могут подсказать родственники и друзья, заинтересованные в том, чтобы школьник, канючащий рублик на видеосалон, стал самостоятельным человеком, способным спокойно отдать пять рублей за букет роз для матери!

Итак, было бы желание — работу можно найти. При условии, конечно, что вам исполнилось четырнадцать лет и с вашим выбором согласны и родители и школа. Так что хорошо учиться и дружно жить с родителями — помимо прочего, и материально выгодно!

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ УСТРАИВАЮЩИМСЯ НА РАБОТУ

А. Помните: нет никакой разницы, "чистой" или "грязной" работой добыты ваши первые капиталы. Важно, чтобы работа была честной. Во многих цивилизованных странах богатые родители даже поощряют, когда их дети занимаются непрестижным трудом: обслуживают машины на бензозаправках, подстригают газоны, продают газеты... Делают они это не только для того, чтобы их ребенок с ранних лет познал вкус самостоятельной работы. "Грязная" работа воспитывает тем, что учит демократизму, поскольку заставляет без презрения относиться к людям, стоящим ниже на ступенях социальной лестницы. О, если б у нас каждый начальник

начинал карьеру с мытья лестничных клеток!..

Б. С другой стороны, нужно всегда соизмерять затраты с результатом: стоит ли овчинка выделки? Идеальный вариант, когда работа соответствует способностям и наклонностям. Скажем, девочке, мечтающей стать учителем, лучше устроиться приходящей няней к малышу, чем разносить телеграммы. А мальчику-музыканту, быть может, следует и вовсе поберечь пальцы: не всякий труд вознаграждается сразу! Деньги, на мой взгляд, не могут быть жизненной целью: они должны помогать достигать ее, и обратное соотношение чревато серьезными жизненными катастрофами.

В. Не откладывайте решение подзаработать в долгий ящик: вот-де после праздников, после дня рождения, с нового года... Как можно быстрее обсудите этот вопрос с родителями, причем учтите, что они не сразу могут поддержать вас. Но как только вы добьетесь союза с родителями – случай, увидите, не заставит себя ждать!

Говорите с тем не торопитесь: не делайте необдуманных обещаний. Возможно, может, они выполнят, не принимайте неосмысленных предложений (быть может, они такт подвох). Лучше попросите время подумать. Поговорите с теми людьми, которые уже занимались этой или подобной работой. Семь раз отмеряют, а один раз отрезают не только портные!

КАК ШКОЛЬНИКУ ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ?

Ох, да были б деньги, а потратить их – сложности нет! То-то и оно.

В один прекрасный сентябрьский день я отправился к девятиклассникам ленинградской школы, что под окнами моей мастерской. Я знал, ребята поработали на летней практике, получили зарплату, некоторые съездили в трудовой отряд... Меня интересовало: как и на что потратили заработанное? Самая простенькая анкета показала, что если все знают, сколько потратили, то треть не знает – на что. Только представьте: сто с лишним рублей исчезло, как каникулярное лето, а – ни следа! Девятиклассники гудят:

– Ты, Ленка, на помаду все пустила!

– А ты, Петров, на мотоцикле свои прокатал!

И смех, и грех. А красавица Ленка складывает губки бантиком и трет пальчиком лоб: неужели японский набор косметики – единственная награда за два месяца трудов?

– Вы, Лена, хоть маме флакон духов купили?

– Ай, не успела...

И Лена говорит, что как не в ладу она со временем, так и с деньгами: ничего не хватает, и она вечно опаздывает.

Между прочим, связь денег со временем подмечена всюду, коль скоро во всех языках живет поговорка типа "время – деньги". Везде людей подталкивает время, везде поджимают деньги! Но, что любопытно, нехватка времени и денег перестает беспокоить, как только начинается их учет. Обучая деловых людей менеджменту, специалисты советуют им вести хронометраж прожитого дня: сколько времени ушло на работу, сколько – на разговоры, сколько – на транспорт... И хотя записи отражают навсегда потраченное, а потраченное не вернешь, в человека вселяется уверенность, что завтрашний день он проведет насыщеннее и лучше! Завтра он будет читать, работать, заниматься спортом – и не станет часами висеть на телефоне...

Примерно так поступают деловые люди и с деньгами. Самый распространенный способ учета расходов – это грессбух, "боль-

шая тетрадь", в переводе с немецкого. Эта тетрадь для удобства расчерчивается и ведется таким примерно способом:

ка) получает ежемесячно на карманные расходы пятнадцать рублей. Еще пятнадцать зарабатывает сам. Эти деньги нужно

дата	расход	доход	остаток
30.08		за практику 120,00	120,00
1.09	цветы маме 5,00		
	цветы в школу 3,00		
	обед 0,60		111,40
5.09	блокнот 1,50		109,90
10.09	теннисные мячи 6,00	дала бабушка 5,00	
	видеозал 2,00		106,90
12.09	кассеты 18,00		88,90

Обычно раз в месяц, как ска-зали бы профессиональные бух-галтеры, "подбивается баланс": сколько денег истрачено, сколько – получено. Иногда траты в гроссбухе подсчитываются отдельно, по статьям расходов (на еду, на одежду, на книги и развлечения, на хозяйство...), и он приобретает несколько иной вид:

убрать, сказав себе: "Их нет!" – и каждый день выкладывать в ко-шелек только рубль – и не больше! Этот способ поможет тем, кто не-стойк к соблазнам и готов тут же потратить все на чепуху вроде ру-чек, значков, наклеек, – не задумываясь, так ли они нужны.

Такой простенький контроль помогает и планированию: мы уже

на еду	на спорт и учебу	на подарки и отдых
1.09 Обед ... 0,60	5.09 Блокнот 1,50	1.09 Цветы маме 5,00
	10.09 Тенн. мячи . 6,00	Цветы в школу . 3,00
		10.09 Видеозал 2,00
		12.09 Кассеты 18,00

Вести "большую тетрадь" с расходами очень удобно, когда они велики. Но школьнику часто гроссбух ни к чему. Тогда можно посоветовать другой способ контроля небольших трат.

Допустим, от родителей, ба-бушки и тети мальчик (или девоч-

думаем, не купить ли на отложен-ное фотоаппарат, а то – если хва-тит терпения – и велосипед... Кстати сказать, если вы в силе терпения сомневаетесь, то от-дайте "велосипедные" деньги на сохранение маме: будет стыдно забирать их для чего-то другого!

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ТРАТЯЩИМ ДЕНЬГИ

А. Не стыдитесь вести денежные подсчеты. Французский писатель Стендаль, к примеру, до франка прикидывал, сколько ему потребуется на содержание дома, сколько – на путешествия и даже сколько... на любимую женщину! И такой не считающий денег аристократ, как герой "Анны Карениной" Алексей Вронский, "несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь... раз пять в год уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это посчитаться..." Культура обращения с деньгами – часть общей культуры человека.

Б. Избегайте вести подсчеты прилюдно: Вронский, обратив внимание, для этой цели все же "уединялся". Многие люди, а тем более ровесники, могут вас не понять и счесть скрягой. А от этой "славы" – ох, как трудно отмыться!

В. Планируя траты, будьте сдержанны: пока что вы не столь богаты, чтобы удовлетворить все свои желания. Вы уже, наверное, поняли, что любая хорошо организованная жизнь – спортивная, учебная, личная – требует от человека самоограничения. Финансовая сторона жизни не исключение. Будьте строги к себе: отказывайтесь в малом во имя большого!

Г. Но только не экономьте на заботе о своих ближних! Одеколону отцу, смешная заколка сестренке, галстук старшему брату – вы не представляете, как эти мелочи обрадуют их! А кроме того, обрадуют вас: ведь подарки так же приятно дарить, как и получать! Неужели это удовольствие не стоит денег?

Д. Если вы в состоянии дать в долг – давайте и никогда не настаивайте, если ваш должник тянет с возвращением. В конце концов, никакая сумма не велика, чтобы ради нее поступаться независимостью и гордостью. Отказывайтесь только тогда, когда видите, что кто-то, не вернув раз и два, просто паразитирует на вас.

Е. Старайтесь не влезать в долги! "Никогда и ничего не просите, – говорит один из главных героев булгаковского "Мастера и Маргариты". – Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас". Пусть этот девиз станет и вашим девизом.

Ж. И, наконец, помните, что самые дорогие вещи – это не имеющие цены. Например, здоровье. Или уважение близких. Или хорошее настроение. Поэтому экономьте на пирожных или мороженом – но не экономьте на обедах! Экономьте на красивом пояске, модной шапочке, но не экономьте на книгах!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если у этих заметок найдется совсем юный читатель, то он, в силу возраста, не будет знать, что всего несколько лет назад выражение "дети и деньги" звучало осуждающе. Все мы – дети своей страны и во многом впитали ее пороки. И неумение считать деньги, тратя их бездумно и безрезультатно, – в том числе. Не оттого ли наша страна сейчас так бедна?

Теперь, наверное, нам нужно богатеть вместе со страной. Пришло время считать. И детям – тоже.

СТРАШНО...

Взрослые думают, что у нас своя жизнь, а у детей — совсем другая. Но это не так. Мы живем вместе со взрослыми на одной земле, в одном доме, а порой в одной комнате. Вся жизнь родителей у нас на виду, и если мы чего-то не понимаем, то чувствуем сердцем.

Матери учат нас любви, почему же некоторые отцы хотят наполнить наши сердца злобой? Почему мы должны враждовать со своими соседями только потому, что они армяне или азербайджанцы, турки или евреи? Мы этого не понимаем и не хотим понимать. Простите нас, отцы, но нам кажется, что ваша вражда тоже необъяснимая, слепая, что вас кто-то обманул.

Вы думаете, что приносите вред врагам, а на самом деле делаете плохо нам. От вашего примера многое зависит в нашей жизни. Если мы вырастем жестокими, эта жестокость может обратиться и против вас. Жестокость не различает, кто свой, а кто чужой.

Не заставляйте нас ложиться на рельсы перед поез-

дом, везущим хлеб соседям. Не заставляйте нас называть обидными именами детей другой национальности. Прекратите братоубийство! Нам страшно...

Таня ЧЕРКАШИНА

ПРАВА И БЕСПРАВИЕ

— Ты почему опоздал?! У тебя, что, семья, дети?

— Извините, я...

— Меня это не интересует, ты опоздал. Гуляешь бог знает с кем допоздна и еще имеешь совесть опаздывать!

Так начинается школьный день у всех, кто опоздал на три-четыре минуты. Но когда учителя сами опаздывают на 10-15 минут, не соизволят даже извиниться перед своими учениками.

И еще ставят за опоздания двойки и потом их учитываю-ют как за "знания". Учителя возомнили, что имеют право орать и оскорблять детей, уверены, что школьники ничего не ответят. А в правах ребенка говорится, что "школьная дисциплина должна поддерживаться с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка".

Школьникам, начиная с первого класса, вбивают в голову, что высказывать свое мнение можно только маме на кухне. Так почему же мы должны молчать, видя несправедливость учителей? Почему должны сидеть с закрытыми ртами? И опять же в конвенции о правах ребенка сказано: "Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение".

Можно даже и не говорить о том, как ведут себя учителя в присутствии детей: едят, зевают во весь рот, не прикрывая его даже рукой, садятся на парту, прихорашиваются.

В конвенции написано, что "государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительские меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации".

Но как самим детям за это бороться? Давайте подумаем. Может, что-то нам подскажут и учителя. Не все ведь они такие...

Дана ДРОЗДОВА

А ЧТО У НАС?..

Самое прекрасное занятие — это путешествие. Но, кажется, сейчас путешественников уже нет. Они превратились в туристов. Я тоже хотела бы своими глазами увидеть разные страны и поговорить со своими сверстниками.

Я слышала, что в Японии разводят карликовые деревья. Это древнее искусство. Секрет разведения передается из поколения в поколение. Интересно, как они это делают? Другая загадка для меня — сад камней. Я где-то читала, что японец приходит сюда, когда сильно устанет. Так ли это? Но больше всего меня восхищает экибана. Это искусство прославило японцев на весь мир. Я бы с удовольствием поучилась у японской девочки составлять композиции из цветов.

Другая страна, которая вызывает мое восхищение, — Голландия. Ее называют родиной тюльпанов. Интересно, как они растут в ее климате?

Я всегда удивлялась умению немцев вести хозяйство, их аккуратности. Говорят, что каждая хозяйка ведет домашнюю книгу учета.

Американцев, на мой

взгляд, отличает от других какое-то особенное жизненное. Мне кажется, что они больше всех в мире улыбаются.

А какие мы, что у нас? Я бы рассказала им о местечке, где я провожу лето. Там всего четыре дома. За домами – лес. А дальше, за лугом, покрытым цветами, в зарослях ивняка – речка. В ней, задевая за кувшинки, с утра до вечера плывут облака, такие же белоснежные, как и кувшинки.

Я бы с удовольствием пригласила туда и японку, и американку, и голландку, и немку.

Маша ВОЛКОВА

”Уважаемая редакция журнала ”МЫ”!

Пишет вам Виктор Шляхин, мне шестнадцать лет. Получил первый номер вашего журнала, прочитал и убедился, что полугодовое ожидание не было напрасным. Журнал отличный... С уважением В.Шляхин, Рязань”.

Что говорить, получать такие письма приятно. И пусть не все послания столь же доброжелательны, но подобных большинство. И мы благодарим всех тех, кто прислал их нам в редакцию. Спасибо вам, друзья!

”Первый номер ”МЫ”, – пишет Саша Смородченко из подмосковного Подольска, –

вызвал у меня ощущение праздника: яркий, красочный, нарядный получился журнал! А где его печатают? Насколько я знаю из газет, журнал запоздал, потому что его негде было печатать?”

Действительно, когда сложилось критическое положение с печатанием журнала, по инициативе Советского детского фонда в марте 1990 года было принято правительственное решение издавать его в Финляндии. И теперь финская фирма ”Принт-Юхтиёт”, та самая, которая вот уже много лет печатает на нескольких языках дайджест советской прессы ”Спутник”, выпускает в свет и журналы Советского детского фонда ”МЫ” и ”Трамвай”.



На этом снимке перед вами генеральный директор фирмы Стуре Удд в типографии, той самой, откуда начинается свой путь к читателям наш журнал.

Вечерами, когда солнце гасло в развалинах, мы выходили на главную улицу нашего города и двигались от почты до реки, стояли на валу, смотрели, как гаснет река, снова шли от реки до почты и снова – от почты до реки.

Скука и бедность провинциальной жизни выталкивала нас из подвалов и коммуналок на главную улицу еще не задымленного

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЕ О СВЕЖЕСТИ

*Любила девочка меня.
Звенели, шлепали, стучали
в тумане слякотного дня,
как яблоки, ее сандалии.*

*Любила девочка меня.
Лицо, холодное от ветра,
затопленная колея,
осиновые километры.*

*Гремела страшная гроза,
все ослепляла и гремела,
и были римские глаза
у глиняного пионера.*

*Давно уже не верю в чудо,
давно ту девочку не жду.
И вдруг прислушиваюсь чутко –
упало*

яблоко

в саду...

1963

ВЕСЕЛАЯ БАЛЛАДА

*Я мало ел и много думал.
Ты много ел и мало думал.
А в результате – как же так? –
ты – умница, а я дурак!
Ты засмеешься – я заплачу!
Ты сбережешь, а я растрочу!
Ты помнишь – я уже забыл.
Ты знаешь – я уже не знаю.
Но если ты меня простил,
то я вовеки не прощаю.
Ты стар? Глаза твои устали
следить пронзительные стаи
несущихся куда-то птиц,
осенних листьев и страниц?
Тогда я молод, молод, молод,
люблю дорогу, спирт и холод,
весенний гай, грачиный край!
Ты умираешь? Умирай!
Но поскорее выбирай.
Ты в рай? Тогда я в ад. Прощай!*

1965

химическими заводами города. И я ходил по этой улице, чтобы увидеть в плывущей навстречу толпе Ее лицо и с холодеющим сердцем пройти мимо, боясь заговорить, не смея прикоснуться к Ее руке, а Ее улыбка или смущение становилось событием в моей жизни.

Моя одежда была бедна и нелепа и поэтому я любил темноту. Моя музыка – патефонные пластинки с песнями Вадима Козина и Петра Лещенко, записанные на рентгеновских снимках "Татьяна, помнишь дни золотые..."

У нас не было магнитофонов, мотоциклов, джинсовых курток, мы стеснялись пригласить друга в гости, дома нас ждали убогие стены и холодная картошка на ужин, нам не платили за наш труд, когда посылали в нищие села убирать картофель. Мы были несвободны в своих чувствах и не могли представить дружбу дворника и министра, которые вместе рыбачат после работы и беседуют на равных, но... у нас были еще не отравленные реки, вечерами плескалась рыба и в воде расходились золотые круги

*Ваши дети от случайных браков
из унылых жэковских барачков,
из двухсотых и трехсотых блоков
не полюбят Пушкина и Блока.
Над судьбой Муму не зарыдают
и последних галок из рогаток,
как врагов заклятых, расстреляют,
чтобы в мире не было загадок...*

1965

*По скошенному лугу, по тоненькому льду,
по убранному полю я босиком иду.
Ботинки за спиною... Свист камыша.
В крови босые ноги. В крови душа.
Один в осеннем поле, я привыкаю к боли,
я опускаю руки под черные плоты.
Осенние закаты. Костлявые кусты.
Кровавые рябины. Черные стога.
Сваи. Ключья тины. Осины. Облака.
Я проклинаяю ноги! Я ненавижу руки!
Я не готов на пытки, на подвиги, на муки...*

1965–1988

обнимая друзей и врагов, сады и развалины, у нас были грибные леса – сразу за городом, наши утренние улицы были полны свежести, а вечерами в окна из оврагов свистели соловьи, вокруг редких фонарей сверкали галактики мотыльков, тучи бабочек застали солнце, миллионы майских жуков гудели в синем воздухе. У нас были вечные радости еще не изнуренной природы. Комплексующие в любви и в разговоре со взрослыми, мы стыдились своей бедности. Физически неразвитые от недоедания, мы напрягали

свои слабые мускулы, мечтая о славе и подвигах.

Мне кажется, что в нас было больше святости, но мы стыдились своих чувств, стыдились высокого, личного, у нас не было той естественности в дружбе и любви, какая есть у юношей 90-х годов.

Никто из моих одноклассников не знал близости с женщиной, а наши одноклассницы ограничивали свидания поцелуями под луной. Такими были мы. А стихи продолжают мои печальные воспоминания.

* * *

*Кто-то в поле срывает стоп-кран.
– Стой, держи! –*

*И опять не поймали.
Он бежит, задыхаясь, в туман,
вдоль болота осеннего, к маме.
Отоспится, попьет молока
и, как птица,*

*взлетит на подножку.
Глаз наметан, и ноша легка.
Сэкономил дорожную трешку.*

*Проводницы сходили с ума,
машинисты от страха дрожали.
А потом пролетела зима.
Поезд шел, тормоза не визжали.
Может, стал он взрослее к весне
и удача к нему постучалась.
Может, просто на этой версте
никого из родных не осталось.*

1966

* * *

*Бессильны любимые книги,
бессильны великие мысли,
опять озверелые крики
над улицей темной повисли.
Бессильны цветы, облака,
и полная неба река,
и желтые листья березы,
и красные листья осины,
плывущие в заводи синей.
Бессильны Тургенев и Блок.
И Пушкин почти одинок...*

ПОСЛЕВОЕННОЕ ТАНГО

*Вот, одинокий оборванец,
я приглашаю вас на танец.
И это танго вы танцуете со мной
в старинном парке.*

*Вечером.
Весной...*

*Вот я веду вас неумело,
рука от страха онемела,
ужасно близко ваше тело.
У вас в глазах*

таинственная даль.

*Плывет дощатая веранда,
под тополями курит банда.
Мне не уйти!*

Но мне себя не жаль.

*Танго... И в окнах развалин
золотое сиянье заката.
Усмехается Сталин с плаката,
и сирень расцвела на валу.*

Я домой вас веду.

Сзади свист, и все ближе расплата.

*Светит месяц в разбитой стене,
пахнет гарью из мертвого танка.
По глухим пустырям,*

как во сне,

я домой вас веду после танго...

*Ветер холодный дует с реки.
Мы собираем в полях колоски.
Голые ивы. Церковь без крыши.
Ангелы в небо летят со стены.
Плачьте, голодные птицы и мыши,
в поле далекие горны слышны.
Я колоски, колоски собираю
и на соломе сырой засыпаю,
и высоко над холодной страной
ангел летит с пионерской трубой.*



*Ударил камень! Я догнал врага.
И вдруг ему я закричал:*

- Прощаю...

*И вот я речь держу от имени двора:
- Камнями войну я запрещаю.*

*И слушают меня, разинув рты,
наследники жмыха,
рвань, обормоты,
в кустах вопят голодные коты,
и на помойке ссорятся вороны.*

*Нам хоть однажды выпадает час,
когда душа становится великой,
и над натурой нашей звероликой
всепониманье возвышает нас.*



Осень. 14 лет. Папироска
тлеет в моем рукаве.
На экране отмучилась Тоска.
Гул шагов. Темнота во дворе.
Ветер дует в пустую трубу!
Кто-то рубит в подвале капусту.
Капля неба согрелась на лбу.
Привыкаю к тяжелому чувству
бездны, холода, вечных огней,
безвозвратности дней...
Не едой и не сыростью стен -
я впервые собой недоволен.
Магазин. Репродукция: Гоген.
И никто не поправит: Гоген.

Глухо спит Могилев
после дневных трудов.

Пока в столовке жадно ест
собачник,
к его фургону, развевая мрак,
в рубахе белой
подкрадется мальчик,
сорвет засов! И выпустит собак.

Они рванутся в темноту на волку!
Пьянея, с ног спасителя собьют.
Вот, кувыркаясь, по ночному полю
они уже бегут, бегут, бегут.

Река блеснула. Им не надо брода.
Они плывут. И где-то за рекой
соединяет радостно свобода
крик человека и собачий вой.

Их колет рожь!
Их радуют проклятья!
Под каждым стогом
есть для них приют.
И во сне, обнявшись,
словно братья,
они бегут, бегут, бегут, бегут...



ЛЮБОВЬ ПОДРОСТКА

Деревянные руки и ноги,
деревянный казенный язык,
да еще этот шарфик убогий,
а под ним, словно камень, - кадык.

Я - убожество! Ты - божество!
Хоть бы кто-нибудь крикнул:
"Спасите..."

Но не грабит никто никого,
улыбаюсь, как жалкий проситель.

За бездарность, за робость свою
ненавижу себя и наглею,

я люблю тебя, свято люблю,
и в лицо твое нагло курю,
потому что я благоговею!



Альберт ЛИХАНОВ

РОМАН

НЕВИННЫЕ

Рисунки Владимира ГАЛЬДЯЕВА



ТАЙНЫ

*Ищите в юности начала добрых дел,
И корни зла ищите тоже в детстве...*

Неизвестный поэт эпохи Возрождения

Это стало ритуалом для Павла, привычкой, может, даже необходимостью, что ли.

Как только уходил последний автобус и стихали ребячьи крики, он несколько минут жил еще по инерции: деловито поворачивался, обменивался легкими, ничего не значащими словами с другими взрослыми, причем, невзрослых теперь не было рядом, и вроде позволялось расслабиться, расковаться, вспомнить о себе, пожить хоть день-другой собственной, личной, как принято теперь выражаться, жизнью, будто можно расколоть человеческое существование на две лучины, из которых одна – собственность, а другая тебе даже не принадлежит, она – как лагерное имущество, как пионерское одеяло – казенная, не твоя...

Павел поморщился, недовольный своей тупостью, тем, что столь многое в этой жизни не удастся ему постигнуть, а чем еще иначе можете объяснить хотя бы непонимание того, что жизнь делится на ичную и не личную – какое противное слово применительно к жизни!

общественную, на правила, которые дети принимают естественно, повно дыхание, и на выдуманные мнимым вожатским изобретательством, на правду и на ложь, выдаваемую за правду – это здесь-то! – на одрость и веселость возраста и на бодрячество, сочиненное взрослыми, все эти речевки, за которые неловко перед ребятами...

Он прибавлял шаг, как бы стараясь сбежать от собственных мыслей, с асфальтовой дороги сходил на тропу, сбивая дыхание, взбирался по крутой горушке и вот так, не давая себе раздыху, пер и пер в гору, умываясь потом, пока не взбирался на площадку неподалеку от вершины.

Он любил разглядывать побережье сверху, с горы, – это успокаивало: лагерь был прекрасен. Когда-то в стародавние времена здесь начинался с брезентовых палаток, теперь, пожалуй, одно название – лагерь, на самом деле – городок, утопающий в зелени, точнее – город, но город, задуманный и устроенный так, чтобы ничто городское не подавляло души людей.

Маленьких людей.

Павел усаживался на камень, прогретый до сердцевины солнечным теплом, успокаивал дыхание, взгляд его теплел, наверное, охлаживала, освобождала душу эта плавная дуга прибоя, ледяная гладкость теплого тихого моря, прозелень его, малахит, превращающийся в бирюзу у самой кромки горизонта, где морские испарения и покой расплавляют воду в марево, соединяющее морскую равнину с небом.

Павел чувствовал, как постепенно все немело в нем, даже, кажется, сердце утишало свой бой, становясь медлительнее и старше, комок, застревавший всякий раз в горле при проводах ребят, растворялся, освобождая дыхание.

Вот и еще один круг совершил он. Еще одну жизнь прожил.

У всех людей старый год заканчивается в полночь под первое января – и впереди триста шестьдесят пять дней, ежили не считать високосного года. А здесь... Каждый месяц – это, в сущности, год. Точнее, каждая смена. Они колеблются по своим размерам, эти смены, суть не в этом, а в том, что каждый круг – это встреча, знакомство, сближение, узнавание, даже любовь, а потом неизменное, неотвратимое расставание.

Есть вожатые, это Павел знает точно, которые научились относиться к своей работе как к службе, им он удивляется, есть такие, которые заставляют себя смотреть на скорые встречи и прощания философски, – сильные люди, умеют сровнять жизненные неловкости, сам же он всякий раз страдает, никак не может с собой совладать.

И что за профессия – нет, судьба! – ему досталась. О профессии можно было бы говорить, если бы он работал вожатым где-нибудь, кроме лагеря, к примеру, в школе. День по дню, год по году, глядишь, сложились бы какая-то последовательность поступков и дел, которые, в сущности, и сливаются в работу, в призвание, хотя кто всерьез соединяет должность вожатого с понятием призвание? Нет, нет, на словах – пожалуйста, сколько угодно, впрочем, всем ясно, что клятвы в верности вожатскому ремеслу похожи на бой барабанных палочек – странное дело, не мог он терпеть звука барабана, ничем не объяснимая неприязнь, надо же! – в горы Павел был влюблен, особенно если он в руке умелого горниста, так бы и слушал часами торжественно высокий перелив, а вот треска барабана, сухого, шумного, бессмысленного, как казалось ему, терпеть не мог... Так же вот не переносил он громкие слова о преданности вожатской профессии, которые произносятся обыкновенно на собрании, прилюдно, с честно вытаращенными глазами – уж вроде такая

искренность, дальше некуда! – и все кивают головами, и в иных вот так пречестно вытаращенных глазах даже порой слеза сверкнет умиленная, а потом мелькнут полгода, год, глянь, а громогласный треск обернулся рекомендацией школьного педсовета для поступления в педагогический институт, или торопливым замужеством – ведь вожатые почти поголовно девчонки, – или декретным отпуском, откуда, как правило, в вожатство не возвращаются... Что подлаешь, жизнь, и все, кто сочувственно кивал, слушая громкие слова о верности своему делу, столь же истово и искренне кивают, соглашаясь с новой возможностью, черт бы их побрал! Ну ладно, нельзя судить строго, с этим можно согласиться, тогда хотя бы не трещите впустую, помалкивайте, неужто же без высоких слов нельзя заполучить рекомендацию в институт, это же стыдно, стыдно, особенно если действительно помнить, что сама суть вожатства – в чести и предельной, до доньшка, честности...

Он, Павел, не был школьным вожатым, все у него вышло иначе, случайно, хотя, может быть, в этой непредсказуемости поворота его жизни и осуществлялась какая-то высшая закономерность, как и все, он слышал, сто раз слышал высокие слова, этот треск по разному поводу, этот отвратительный всеобщий треск, но больше всего возмущала его болтовня на уровне вроде бы самом безобидном – среди вожатых...

Ведь если ложь – стыдное дело и ни одной лжи – маленькой или большой – еще не удавалось выдать себя за правду, то вранье, дарованное детям, – настоящая, без скидок, подлость. Он видел, как вожатые истово врали друг другу, и пионеры при этом отсутствовали, но это все равно была ложь для детей. Модное слово "преемственность", которым прикрываются, как зонтиком, от сложностей воспитания, да и вообще всяких сложностей между взрослыми и детьми, имеет ведь отношение не только к добру, но и к злу. Да, да, и у зла есть преемственность, и у лжи, и мнимая вожатская клятва верой и правдой служить детству превращается в самое горькое – в ребячьи недоверчивые ухмылки болтунам, в детское презрение, а хуже того – в пионерскую покорность, в заведомое согласие на всеобщий обман: сначала вожатская неискренность, потом неискренность ответная, детская... Как сказал ему однажды, ластясь, ласковый маленький мальчонка:

– С папой я себя веду как заяц, с мамой – как лиса, а с бабушкой – как волк!

Он засмеялся при этом, а Павел оледенел – боже, да что же это такое творится-то! До смеху ли, ведь тут же целая философия! И кто в этом повинен?

Впрочем, может, он и впрямь не от мира сего. Правда, есть зацепочка... Смена со сменой физически пересечься не в состоянии, ведь сначала одни уезжают, а уж потом приезжают другие, но в каждой смене дней этак через пяток, через неделю на худой конец, находится один смысленный оголец, который обязательно соединит его, Павла Ильича Метеллина, инициалы в одно слово – ПИМ, и слово это, эта кличка будто начертаны на нем вот уже два года.

Да, Пим... А Пим по-сибирски – валенок, а уж в каждой отрядной смене хоть один сибирячок, да обнаружится.

Павел стремится делать все, чтобы не соответствовать своей кличке, он живет в армейском ритме и стиле, они, кажется ему, пропитали его насквозь, а все-таки его зовут за глаза Пимом. Не оскорбительно, не зло... И все-таки, видно, что-то неуловимо просвечивает сквозь армейскую его броню – что-то очень штатское, детское, смешное...

Надо же, валенок!..

Солнце склонилось к горизонту, стало оранжевым баскетбольным мячом, самое время предаться так называемой личной жизни, пойти искупнуться просто так, ни о чем не думая, не наблюдая за разноцветными ребячьими шапочками для купания и не проявляя бдительности, – заплыть подальше, перевернуться на спину и полежать в морской зыбкой материи, испытывая ни с чем не сравнимое блаженство.

Павел вздохнул поднимаясь.

Как будто стало полегче, чуток отпустило.

Душа освобождалась от Игорьков и Олегов, от Татьян и Людмил, которые только что отправились восвояси, заплаканные и расстроенные, оттого что расстаются с Пимом, расстаются друг с другом, с этим сказочным лагерем у моря, а может, еще и оттого заплаканные и расстроенные, что Павел Ильич повторил на прощание чуточку жестокое, но – что ж? – наверное, справедливое: мол, отвечать на ваши письма, друзья, не обещаю, ведь писем и открыток вы пришлете много, а когда мне писать, сами видели, как я живу – с раннего утра и до отбоя на ногах, бегом, вприпрыжку.

– Так что, – сказал Павел Ильич Метелин, – письма получать я люблю, читать их люблю, а вот отвечать – уж не обессудьте...

И тут они заныли – и так всегда! – а потом закричали, перед тем на мгновение оторопев, что, если так, они будут сами писать, пусть без ответа, потому что полюбили Пима и никогдашеньки, ни за что не забудут его, но зато станут встречаться всю жизнь друг с дружкой, – и Павел кивал, радуясь за них совсем искренне и в это мгновение абсолютно не сомневаясь в этих замечательных детях. Да что там, через неделю же он получит кипу конвертов, потом, чуть погодя, писем станет меньше, еще меньше, их сменит другая волна конвертов, подписанных другими именами, и он, Павел Метелин, постепенно истает в памяти вырастающих детей.

Ведь эта память беспечна, как легки мгновенные детские слезы при расставании.

И ему тоже нужно, обязательно нужно освободить свою душу от лиц, улыбок, привычек уехавших огольцов и девчонок – он не знал, хорошо ли это или вовсе плохо – освобождаться, непременно освобождаться, но зато точно знал, что это освобождение ему, Павлу, совершенно необходимо.

Он должен был освободить душу, как освобождают комнату для новых гостей.

* * *

Ма внушила Жене, что впереди у него просто игра в самом сказочном лагере на берегу Черного моря, ничего больше, кроме игры, которую

надо перенести как небольшое, но необходимое неудобство, если он хочет получить настоящее удовольствие, и Женя не очень-то упирался этим уговорам. Ведь море! Ну, а уж солнце там, за тридевять земель, а уж забавы и развлечения – он любил все эти прелести земные, так чего отказываться, коли есть подходящий случай! Правда, ма сразу предупредила, что ему придется чуточку поиграть, побыть артистом, нет, нет, врать не будет никакой необходимости, следует только не все рассказывать о себе, проявить мужскую сдержанность – неплохое испытание, не так ли?

Итак, Лагерь. Да, именно так, с большой буквы.

Женя слушал вполуха объяснения ма. Ма и па играючи управляли его жизнью, и он не сопротивлялся им.

Ма и па – да, вот именно так. Он даже забыл, когда последний раз называл их полностью – мама и папа. Это было удобно. Например, обращаясь к обоим родителям, когда все сидели, допустим, за столом, он произносил слово: мапа! Или наоборот: пама!

Родители сначала смеялись, считая, что это детская шутка, потом просто улыбались или даже совсем не улыбались, привыкнув к такому обращению. Впрочем, им всегда было некогда, обоим, и Женя выучился у отца выражаться коротко, но ясно, стараясь обогнать его в незаметном соревновании по краткости выражений.

– Если отец говорил: "Черт возьми!" – Женя тут же находил сокращение – ЧВ, не зная еще, что такое упрощение называется по-ученому аббревиатурой. Сам отец у Жени был ГДК – генеральный директор комбината. Па вообще был ОБЧ – очень большой человек, миллионер, миллиардер – ведь его комбинат ворочал миллиардами тонн руды и еще чего-то и уж, конечно, миллионами рублей.

Большой и неуклюже громоздкий отец, садясь в машину, мог поместиться только на заднее сиденье и крепко осаживал своим весом задок нарядной, в разноцветных фарах и шелковых занавесках "Волги".

Женя видел по телеку передачу про большого кита, возле которого вьется целая стая неизвестных бесцветных рыбешек – они кормятся поблизости, может, потому, что ищут защиту, а, может, потому, что легче добывать корм. Возле отца тоже крутились люди – Женя никогда не видел его в одиночестве, даже дома ему не давали покоя – все звонили и чего-то спрашивали, а отец разрешал или запрещал. Или "да", или "нет", а просто так, как вообще люди по телефону разговаривают, отец общался редко и с немногими людьми, только когда звонили из Москвы, да с Егорычем, другом их семьи, секретарем горкома партии.

Ма любила повторять про отца: "Он все может", и таким образом у Жени возникала еще одна аббревиатура: ОВМ.

ОБЧ и ОВМ, миллионер и миллиардер, "приползал" с работы "выголощенный" – его же словечко, – с Женей говорил немного, только покорно и как-то зависимо поглядывая на него, точно ожидая, что сын, как и все окружавшие его люди, чего-то попросит у него.

Но Женька не просил. Если приспевала какая нужда, он обсуждал это : ма. Хотя бы просто потому, что ма была еще более всесильной, чем

отец. Ма управляла магазином, самым главным в городе универмагом, и с ней у Жени была лишь одна проблема: буквально каждый день она что-нибудь предлагала. Жене жилось очень просто: от него требовалось только выбирать. Хорошо это или плохо, Женя не понимал просто потому, что никогда не знал ничего другого. Что было с ним в самом раннем детстве, он припоминал плохо, но вот с тех пор, как помнит себя иной жизни у него не было.

Па, ма, он. И бабуленция.

Бабуленция – это другое дело. В их огромной шестикомнатной квартире она занимала самую маленькую комнату, которую Женя прозвал оазисом. Всюду у них царил "стиль", который соблюдала ма, – современная мебель, блеск и лоск, ничего лишнего, чтобы подчеркивалось незримое благородство общей обстановки – все выражения и формулировки ма, – и только в бабушкином оазисе домотканый, из разноцветных лоскутков, веселый коврик перед кроватью, деревянные коробки с нитками и шитьем на подоконнике, фотографии молодой бабушки с дедом, погибшим на войне, – на гвоздике, в деревянной деревенской рамочке, где по уголкам розовые цветы. Ма морщила нос, переступая порог бабушкиного оазиса, она воспитывалась в иных традициях, ее отец был генерал, правда, однажды па поправил ма, сказав, что отец ее вовсе не генерал, а полковник. Ма при этом закаменела лицом, промолчала, но позже снова ссылалась на генеральские эполеты, хотя ее отец и мать давно разошлись, жили с новыми семьями. Ма сто лет не видела их обоих, словом, ее прошлое окутывал туман – не столько, впрочем, густой, сколько романтический. И еще он начинал клубиться, этот туман, когда ма входила в оазис бабуленции, где на столе мог запросто стоять уют, нарушая все приличия, или торчать в вазочке восковые, как на кладбище, цветы. Несмотря на все возмущения и уговоры ма, бабуленция, Настасья Макаровна, яростно держалась за деревенские порядки, которые выражались в том, что она никак не хотела расстаться с сундуком, в котором лежало ее ношеное-переносное барахлишко, никак не хотела разменять его на полированный шифоньер, ни за какие коврижки не желала выбрасывать деревянную этажерку, где держала еще дюжину коробок и коробочек, но и несколько книг, среди которых самая толстая была писателя Шукшина.

Бабуленция читала и перечитывала эту книгу, Жене казалось даже, что она без конца читает одно и то же, он удивлялся вслух, на что бабуленция отвечала, смущаясь и как бы винясь:

– Очень совестно пишет. Уважительно. Деревенский, видать. Наш...

В доме ОБЧ был вообще-то еще один оазис – комната самого Жени, с комбайном "Панасоник", наушниками, полированным шифоньером, набитым барахлом, небольшим, зато персональным телеком "Юность", роскошной моделью корвета, которую привез из загранки па, книжными шкафами, соединенными в стенку, глобусом, еще одним аппаратом – компактный вытянутый "Шарп", просто слушать радио – проводом комнатной радиоантенны, стопой журналов, сваленных в угол, мячами, ракеткой и прочей чепухой, которая сопутствует жизни всякого мальчишки.

Ма, переступая порог Жениной комнаты, тоже морщила нос, как в оазисе бабуленции, но класс претензий был несколько иной – он не задевал происхождения, а касался только порядка и чувства прекрасного. Ма знала толк в прекрасном.

У Жени была для матери одна тайная кличка. Он услышал ее из взрослых уст в полусумеречном закулисном коридоре универмага, когда заскочил к ма по какой-то необходимости.

– Патрикеевна у себя? – спросил, хихикнув, какой-то мужчина у женщины, шедшей ему навстречу.

Та приняла его игривый стиль, ответила в том же тоне:

– Алиса? В курятнике!

Женя даже не понял сперва, что это о его ма, продолжал двигаться по направлению к ее кабинету, потом его ужалило: вот как ее кличут! Алиса! Патрикеевна!

Он повернулся и медленно вышел на улицу.

Лиса в курятнике! Алиса из Зазеркалья!

Женя не обиделся за ма. Он обозлился на нее. Необъяснимо, почему им овладело именно это чувство. Объясняться в их доме не было принято, все у них всегда хорошо, просто отлично, и Женя пережег в себе свою злость. Ма получила подпольную кличку – Патрикеевна. Сокращенно – Пат.

Она действительно походила на лису – волосы отливают медью, ласковая, обходительная, но вовсе не значит, что не строгая и не опасная. Только окажись куренком.

Может, поэтому Женя держал себя с ма как маленький, но волк. Как волчонок. Или, может быть, ма сама вела себя с ним подчеркнуто зависимо. Она исполняла любые его желания. Точнее, она приносила ему его же собственные желания. И требовала, чтобы он выбирал.

Он выбирал, согласно подчиняясь, покоряясь воле Пат, и у него не было оснований не доверять ей.

Она ведь любила его. Она желала сыну одного лишь добра. Он был у нее единственный и ненаглядный. И еще – поздний.

Про позднего нечаянно обронила бабуленция и тут же заплакала. У нее вообще слезы где-то очень близко. Сколько раз бывало, стоит Жене зайти к ней в оазис, улыбнуться только, вздохнуть освобожденно, потянуться, обнять старуху, сказать ей – ой, мол, как у тебя тут хорошо, бабуленция, – как она сразу в слезы. Вот и про позднего – обмолвилась и заплакала. Женя коротко, точно всхлипнув, рассмеялся.

– А что это значит? Поздний? Бывают, что ли, ранние?

– Бывают, – кивнула бабуленция и заплакала еще горше.

– Чудачка ты, – попробовал успокоить ее Женя, – мне же что? Хуже, лучше, какой я? Да мне все равно, поздний я или ранний.

Он вспомнил, что ранними бывают огурцы, сказал об этом бабуленции – для утешения, пусть лучше смеется, чем плачет, и она действительно рассмеялась, только как-то невесело, будто огурец этот ранний достался ей горького вкуса...

– И-их, Женюра, – покачала головой бабуленция, – малой ты еще, малой!

Женя при таких банальностях непременно поворачивал оглобли. Выходя от бабуленицы, проворчал:

– Ну, завела свое!

Впрочем, обижаться всерьез на Настасью Макаровну смысла не имело. Она ведь и сына своего, Жениного отца, иногда малым называла, правда, такое случалось редко, старушка тотчас одергивала себя, поправлялась, и, ясное дело, это слово имело для нее несколько разных оттенков. Когда малым назывался отец, все неудобство, вся неловкость была только в том, что он, такой большой, увесистый, можно сказать, пожилой, никак не подходил к такому слову. Когда бабуленица называла малым Женю, это означало какое-то тайное объяснение, извинение, что ли... Только перед кем? За что?..

Зато ма – уж она-то никогда не позволяла себе даже намеком задеть Женино самолюбие. Может, оттого у него и не было этого самолюбия? Вообще что это такое? Что за этим словом – самолюбие? Женя никогда ни на кого не обижался, так разве, самые пустяки. Вот ведь выпала же доля! В школе с ним все удивительно мило. Ладно бы только учителя, все-таки они взрослые люди и должны к своим ученикам относиться уважительно. Но ведь и ребята – все с ним дружны, обходительны, даже совсем незнакомые, из других классов, даже из старших. Все кивают ему первыми. Правда, не уважать его не за что – характер у Жени ровный, темперамент несколько флегматичный.

Тоже из словаря ма.

Женя видит, как она порой едва сдерживает себя, разговаривая с ним. Молла бы закричать, затопать ногами, в отношениях с па она применяет крики и топот, не без того, но с Женей ма подчеркнута корректна и бесконечно вежлива, хотя время от времени, без всяких на то видимых причин, она подходит к стенке, отделяющей вежливость от грубости, и Женя видит, как тонка эта стенка. Просто фанерная.

– Женечка, – говорит тогда ласково ма. – Ты бы хоть возмутился когда!

– Чем же мне возмущаться, ма? – столь же вежливо и ровно отвечает Женя.

– Ты понимаешь, – вкрадчиво внушает ма, – всякий человек должен иметь свой норов.

– Но где же мне его проявлять? – резонно отвечает Женя. – Как?

Пат, точно и в самом деле лиса, бесшумно мечется по гостиной, потом так же неслышно снова усаживается напротив сына.

– Ну вот накричи на меня! – говорит она. – Накричи!

– За что-о? – округляет глаза Женя и поражается. – Ма, ты в себе?

Ма, как в клетке, делает неслышные круги, зависает над Жениным ухом и спрашивает то ли себя, то ли сына:

– Может, хоть побольней ущипнуть тебя? Чтобы ты возмутился? Закричал?

Женя негромко смеется, он даже смеется, точно отец, неуловимо для себя и в этом подражая ему.

"Ну и Пат! – думает он. – Чтобы она ущипнула меня!"

Это были не вспышки – не взрывы. Точно где-то далеко громыхал гром, но из-за расстояния звука не слышно, видны только всполохи, и потому гроза не страшна, она вдали.

Вдали и никогда не приближалась близко к Жене. За стенами, в глубине квартиры взрывы громыхали, хотя и не часто, но Женя не прислушивался к ним, они его не касались.

Он жил редко, как почти никому не удается – без малейших конфликтов и печалей.

И вот в этом лазурном штале возникла белоснежная мечта – лагерь у моря. Ее принесла на своих крыльях ма, как приносила она сыну все его желания.

– А почему бы Женечке не поехать в лагерь? – спросила она за ужином где-то зимой, под противное и заунывное подвывание ветра.

Ма смотрела на сына, и Женя кивнул, ничего особенного пока еще не вкладывая в этот кивок. Но для ма этого было более чем достаточно. Она завелась.

– Представляешь – море, скалы, игры, развлечения, ранняя линейка, роса на камнях, новые друзья? Я была там в детстве – сказка! На всю жизнь!

– Но попасть туда не так-то просто! – воскликнул, видно, расслабившись, па.

Женя с интересом посмотрел на него. Он ничего не вкладывал в свой взгляд, просто посмотрел с интересом, без всякого особого смысла. И перехватил взгляд Пат. В ее взгляде было больше содержания. В ее взгляде стоял восклицательный знак. И брови вскинулись под кудри. Этого вполне хватало, чтобы отец спросил, хмыкнув:

– Что для этого надо?

– Ну-у, – Пат замурлыкала как-то слишком для нее нерешительно. – Медицинскую справку... Рекомендацию совета дружины...

Ясное дело, ей мешало присутствие Жени. Он усмехнулся, решив помочь ей, и без особого выражения, как он всегда говорил про все – про важное и про мелочи – вяло так, кволо, флегматично произнес:

– Для этого нужен твой звонок...

В гостиной нависла тишина, потом зашелестела, задвигалась бабуленция, взяла свою тарелку с недоеденным еще ужином и зашаркала к кухне.

– Ну вот! – не огорчилась, а просто констатировала ма.

– Кому же мне звонить? – ответил отец, явно обращаясь не к Жене. – Пионерам?

– Можешь не волноваться, – ответила ма, глядя в тарелку. – Я про-работаю эту тему.

И добавила, расставляя порознь, разбивая слова:

– Если! Ты! Не хочешь! Помочь! Своему! Единственному! Сыну!

Все это пролетело мимо Жениных глаз, ушей, печенки и селезенки. Допив душистый чай, приготовленный бабуленцией, он уже выбирался из-за стола, оставляя богу – богово, кесарю – кесарево... Эти мудрые слова, как ни странно, произнесла однажды бабуленция, вот в таком же



вечернем собрании, за семейной трапезой, и их, как это ни странно
втроем, полюбила повторять Пат, не любившая ничего, что было
связано с деревенской старухой Настасьей Макаровной.

Женя отныне знал, что ему вскоре предстоит полет на самолете,
правда, на сей раз не на отцовском, лагерь, исполнение мечты, которую,
по обыкновению, предложила выбрать ему его красивая ма.

Он давно, давно привык к игре в эту бесприигрышную лотерею, от
которой не забьется сердце в волнении, не станет радостно или страш-
но...

* * *

Выходя из воды, Павел встретил Аню.

– Ты не забыл? – кивнула она. – Через час – общее собрание.

– Тебя подождать? – спросил Павел и, не дождавшись ответа, крик-
нул: – Жду!

Павел никак не мог толком потемнеть, хотя вокруг столько солнца,
а вот у Ани, похоже, кожа специально для юга приспособлена. Когда он
увидел ее первый раз, в глаза сразу бросилась матовая смуглость лица,
шеи, рук, плеч под узкими ляжками сарафана – потом эта смуглость стала
шоколадного цвета, а сейчас плотно-коричневого, какая-то прямо не-
гритоска. Аню с первого дня прозвали королевой красоты – даже во-
жатые-девчонки поглядывали на нее с неприкрытым восторгом, так вот
от черного своего загара Аня стала еще интересней – в облике ее по-
явилась какая-то дикость, какая-то, что ли, африканистость. Заговорит
– русская, а когда молчит – еще неясно кто, неизвестность в ней какая-то,
тайна.

Павел робел своей напарницы, и хоть был он старшим в этой их паре,
реальное старшинство, не спросясь, забрала себе Аня, едва лишь поя-
вившись тут. Работая вожатой в московской школе, она закончила нянз,
отлично знала французский, работала гидом в "Интуристе", ее реко-
мендовали сюда. . .

Похлопывая себя полотенцем по рукам и груди, промокая морскую
влагу, Павел подумал с неудовольствием про себя: уж не с Аней ли
спорит он про себя, не про нее ли думает, когда возмущается вожатской
неискренностью?

Ответа себе он не давал довольно долго, пока не вытерся насухо, не
переоделся, не натянул шорты и не уселся на берегу в ожидании на-
парницы. Точно он замер на какое-то время, заморозил свои мысли,
остановил их движение, дав им отстояться, а усевшись, отыскав взгля-
дом Анину голову в ленивой, блестящей морской глади, тронул их снова,
как отдохнувших лошадей. . . Нет, все-таки. . . Не с ней спорит он. Точнее
– не содной Аней. С красивой женщиной спорить трудно и опасно – даже
мысленно! – можно впасть в необъективность. Для такой, как Аня,
вожатство, ясное дело, будто ступенька в жизни. Она к этой ступеньке
едва прикасается в лучшем случае.

Похоже, тайна не только в Анином облике. Она как-то проговорилась
Павлу, когда тот спросил ее, что же, мол, дальше, после лагеря. "Жизнь

сама решит, – ответила Аня. – Пока я между небом и землей, будто птица. Лечу!” И, рассмеявшись, птица села на твердь: ”Двухгодичные размышления о будущем!”

– Выходит, не торопишься? – спросил тогда Павел.

– Выходит, – улыбнулась Аня.

– Обычно девчонки рассуждают иначе.

– Другие, – серьезно и уверенно сказала она. – Не я.

Павел окинул ее взглядом – мысленным, не реальным, разглядывать Аню смело, по-мужски, ему недоставало отваги, поэтому он отвернулся от нее, представил мысленно ее стройные длинные ноги, округлую шею, длинные волосы, закрученные сейчас в скромную вожатскую косу – но ведь каких роскошных причесок можно накрутить из этих каштановых волос! – представил себе ее не в шортиках и простенькой хлопчатобумажной рубашонке с короткими рукавами, а в нарядном вечернем платье, посреди золотого зала столичного Дома дружбы, ему довелось быть там однажды при вручении маленьким лауреатам медалей индийского конкурса детского рисунка. . . Что ж, эта уверенность – на твердой почве, похоже, она вообще многое недоговаривает.

Павел не решился разглядывать Аню, она рожила в нем необъяснимый страх, завораживала одним только своим присутствием, и вот, будто назло ему, трусу, будто нарочно подставляясь под его взгляд, таинственная длинноногая негритоска стала возникать из воды прямо перед глазами.

”Есть ли еще такие парни?” – спросил сам себя Павел, леденея. И тут же полупризнался, полуспросил: ”А, может, ты влюбился? Оттого все эти неудовольствия, вопросы, подозрительность?”

Словно поддразнивая его, Аня встала прямо перед Павлом, переминаясь с ноги на ногу, не спеша вытиралась, подхватила сарафан, покачивая бедрами, прошла мимо, вернулась, уже переодетая, и, поднимаясь, чтобы идти, Павел понял, что под сарафаном у нее ничего больше нет, дезабийе, как говорят французы, – это слово однажды произнесла сама же Аня и объяснила потом его суть.

”Маньяк какой-то”, – ругнул себя Павел и, чтобы подавить собственное смущение, поддразнил Аню.

– Ну что, Нюра, идем, – спросил он, – идем?

Эквивалент ее имени не нравился Ане, Павел это знал, и тут же получил легкий шлепок по шее. Он отскочил в сторону, растерянно рассмеялся – она еще никогда не прикасалась к нему, царственная африканка, почти пантера. Судорожно кхекая, он повернулся, чтобы идти дальше, и от неожиданности едва устоял на ногах: сзади что-то налетело на него, шея попала в крепкий перехват, какая-то тяжесть наклонила его вбок, и только тут до него дошло, что это бросилась на него пантера, он собрался, на бросок ответил разворотом, подхватил африканку под колени, ощутил жесткую, обветренную кожу ног, прикосновение груди, задохнулся и поставил ее на ноги.

Мгновение, единственную долю секунды они стояли, прижавшись друг к другу, инстинктивно испугавшись чего-то, Павел напряг мышцы рук и как бы отодвинул, отторг от себя пантеру.

Он перевел дыхание.

На парк упали стремительные южные сумерки, никого не было поблизости, и он пожалел, что испугался, – сегодня да еще завтра, всего-навсего два дня между сменами, когда лагерь не простреливается все-всеими детскими взглядами, и он, молодой парень, может позволить себе быть парнем, особенно если сама бросается на него вот такая чернотелая пантера – будет ли еще такой вечер, такое настроение у африканки, эта тьма и эта тишина?

Он еще держал ее за плечо, жизнь делилась на десятые доли секунды, рвалась на мгновения, одни из которых еще есть, они у тебя, а другие – исчезли, оторвались, уши.

Пантера вздохнула – все! – отодвинулась в сторону, освободила плечо, снова стала Аней, спросившей чужим голосом:

– Пим, ты что, действительно инвалид?

Он помолчал, сглотнул слюну, ответил, приходя в себя:

– Действительно. Только не в том смысле, о каком ты думаешь. Да и потом к чему это?

Он хотел добавить: ведь ты не моя, ты человек с неясной мне судьбой, для тебя этот лагерь, все это вожатство – лишь ступенька, а всей лестницы мне не видать – кто ты, я не знаю, а ты прячешься от меня, скрываешь свою суть, ты для меня как книга без начала и без конца, какие-то случайные страницы. . . Да, ты не моя, ты чья-то. . . К чему тогда эти игры. . .

Аня точно услышала несказанные слова.

– Верно, – ответила она, вздохнув, – короткое замыкание, вольтова дуга, электрический разряд.

Она освобожденно вздохнула, ее, похоже, покидал приступ игривости, возвращалось благоразумие.

– Ты знаешь, Паша, сейчас над нами магнитная буря пронеслась. Всплох.

Она опять вздохнула, уже легче, поверхностней.

– Все наши бабьи грехи от этих бурь. Или звезда где-нибудь взорвалась. Квазар. Вот эхо до нас и докатилось. Во всем природа виновата, это точно.

Павел рассмеялся.

– Ах, Пимаша, – взросло, по-женски рассудительно сказала Аня. – Ну ладно, это для нас магнитные бури плохо кончаются. Но ты-то? Шерше ля фам, французы так говорят. Ищите женщину. Представляешь? Ищите! Женщину! Да обрящете! Ты-то почему такой тютя?

– Нюра, – сказал Павел серьезно, не дразнясь, и крепко схватил Аню за запястье. Она не волновала его больше. – Нюра, – повторил он, осаживая, сдерживая себя, стараясь быть мягче, – я ведь не знаю тебя, правда?

– Правда, – кивнула Аня.

– Но почему же тебе кажется, что ты знаешь меня?

– Ты прав, – сказала она, – я тебя не знаю.

Павел отпустил ее руку.

Они медленно брели по парку к светлеющему вдали зданию дирек-

ции. Цикады, казалось, изнемогали от неги. Небесный бархат украшал оранжевый лунный серп. Он серебрил дорожку в море, которую по мере их движения то открывали, то заслоняли черные плоские овины кипарисов.

– Павлик, – спросила вдруг Аня, – а ты правда любишь детей? Ты не притворяешься?

– Нет, – ответил он. – Чего же тут притворяться?

Она помолчала, потом, вздохнув, сказала:

– Ты редкий человек, Павлик. Не от мира сего.

– Это уж точно! – съерничал он.

Последние метры дорожки они шли молча, потом при свете ярких неоновых фонарей, вокруг которых кружил клубок ночных мотыльков, они стали меняться, будто свет тоже действовал на них.

Шагая все так же рядом, они оба почувствовали, что как бы отдаляются друг от друга, что между ними возникает пространство, какая-то плотность, может быть, магнитное поле, на этот раз другого свойства – не притягивающее, а отталкивающее людей, оба они подтянулись, но, возможно, и напряглись, возникло отчуждение, переходящее в равнодушие.

Рядом шли два вожатых одного отряда – товарищи по работе, временные приятели, вот и все.

В зале для общих собраний было уже многолюдно, начальник лагеря поднимался по ступенькам на сцену, когда Павел и Аня уселись на места, так что ждать не пришлось.

– Напоминаю всем, – сказал начлагеря, – и вожатым, и руководителям всех подразделений. Завтра, как водится, санитарный день, а через сутки у нас начинается необычная смена. Детдомовская. Сейчас перед вами выступит представитель Министерства просвещения, а пока я хочу сказать вам, что современное сиротство – явление очень трудное, и нам предстоит. . .

Неожиданно с острым ощущением сожаления Павел подумал, что он не удержал время, сам порвал его тонкую ниточку на мгновения, которые принадлежали ему, даруя по крайней мере надежду, и на те, которые уже не в его власти.

Нет, он не верил в удачу, а громкое слово "счастье" никогда не употреблял даже мысленно – да, он не верил, он был абсолютный атеист, совершенно неверующий в этом смысле.

Жизнь, если сравнить ее с лотереей, ни разу не давала ему выигрыша, напротив, он платил, платил, платил, но удача непременно обходила его. В лотерее бывают выигрыши, но ведь проигрышей нет. Просто платишь за билет какие-то копейки, но не выигрываешь – вот и все. Множество надежд на удачу оборачиваются для избранных действительной удачей. Если хочешь надеяться, платить надо, это как оброк... Вся жизнь – оброк. Ты все кому-то должен, должен, должен, и эти кто-то получают, а тебе – терпи, брат, жди, брат, надейся.

Поэтому удобней не верить. Не обольщаться.

Павел посмотрел на Аню. Вот и ей он не верит. . .

Но что это с ней?

В глазах у жизнерадостной африканки, у стройной красотки, знающей французский язык, широко раскрытых глазах у Ани – ужас. . .

* * *

Все произошло так стремительно, что от Жени и не потребовалось никакого вранья. Правда, в самолете его сморило, он уже хорошо знал в свои тринадцать лет, что самолет – прекрасное место для отдыха, он часто летал самолетами, лучше всего, конечно, было летать на самолете отца, то есть, конечно, комбината – такая же большая махина, только в ней всего три пассажира – он, ма и па, находишься досыта, посидишь у пилотов, поглядишь вниз, а тут – теснота, полно народу, так что лучше поспать.

Женя отключился со спокойной душой, а перед этим его облагодетельствовала толстая тетка, этакая квашня, изволила погладить по голове наверняка давно не мытыми и потными, липкими руками, он кивнул ребятам, человек пятнадцать их было и, пожалуй, половина девчонок, почти все одного возраста, они ответили ему приветливо, принылись с любопытством разглядывать. . .

А перед этим ма передала его какой-то молодой девице с комсомольским значком на кофточке, Женя еще подумал, что его Пат похожа на красивую яркую птицу, которой зачем-то стал нужен этот бесцветный маленький мотылек, который трепещет, ластится и боится только одного – как бы на него не наступила, даже не заметив этого, большая нарядная птица.

Мотылек, трепеща крылышками, даже не решаясь взглянуть-то как следует на ма, раскрыла большой конверт, который ей подали, взглянула на справку, на какие-то еще бумажки, не поднимая головы, спросила: "А родители. . . Прочерк?" "Да, – очень значительно ответила Пат, – да вы не беспокойтесь, это обусловлено, обговорено с вашим. . ." "Понятно, – пискнул исполнительный мотылек. – Пойдем, мальчик".

Ма обняла Женю, грудь ее заколыхалась, но ни он, ни она не давали себе воли в такие мгновения, Женя легко чмокнул ее в щеку и пошел за комсомолкой, даже не обернувшись – к чему? Нет, он не был бессердечным, просто он улетал по делу, пройдет время, и он вернется, ничего исторического не происходит, впрочем, он знает, что ма такого же самого мнения, да и па тоже, разве вот только бабуленция не скоро еще успокоится: для нее всякие там встречи и провожания – ну все равно что землетрясения или обвалы, вот-вот и жизнь кончится, чудачка этакая.

Мотылек припорхала в какую-то комнату, Женя за ней, там толстуха погладила его, а комсомолка молча протянула ей конверт, он же кивнул пацанам и девчонкам, засекая для себя, что они все до единого как-то неуверенно себя чувствуют, похоже, волнуются, глаза у всех бегают, они то встают, то садятся, то ходят по комнате, толкая стулья, издающие при этом противные звуки.

Женя плюхнулся в единственное кресло, оно стояло перед столом, и так кейфовал в нем, ни о чем не думая, ни о чем не заботясь, пока не пришел автобус, – а там уж аэропорт, самолет, скорое приземление,

опять автобус, только побольше, и вот он спрыгнул на асфальт. . .

Громкогласо грянула музыка из мощных динамиков, и, пока она глушила, сделав к тому же всех немыми – ничего не слышно, хоть заорись, – построились в неровный, не по росту заборчик, озираясь по сторонам и растерянно улыбаясь.

Вокруг них стояли довольно взрослые парни и девицы в пилотках, с пионерскими галстуками, в шортах, крепкий, видать, народ, хорошо загорелые, неплохо сложенные, тренированные – стадо мустангов, подумал Женя, – и пока гремела, разорялась музыка, белозубо и открыто улыбались приезжим и хлопали в такт музыке. Приехавшие отступились от своих рюкзаков, чемоданишков, сумок и захлопали тоже.

Это оказалось довольно утомительным занятием, так, по крайней мере, решил Женя: стоять друг против друга, глхнуть от дурацкой, хоть и бодрой музыки, пялиться на незнакомых улыбчивых людей, хлопать в ладоши и ни черта не делать. Терпеть он не мог всяких таких пустопорожних занятий, всяких таких серьезных дурачеств. . . Никто ведь еще не должен улыбаться друг другу – только увиделись, а уже улыбки до ушей, музыка, сейчас еще речи говорить начнут. . .

Действительно, едва только стихла музыка, вперед вышел один голенастый мужик с мегафоном в руках и бодрым голосом, будто стихотворение декламирует, даже головой в такт словам кивая, закричал: – Вас приветствует, дорогие ребята, Всесоюзная пионерская здравница! Вы приехали сюда не гостями, а хозяевами! Добро пожаловать!

И снова все захолопали друг другу в дурацком восторге. При этом Женя заметил одного недовольного.

Ну, не то чтобы недовольный был этот взрослый вожатый, а какой-то нормальный, вот что. Не улыбался по-дурацки, как все, а смотрел на приехавших с вниманием, и хоть он хлопал, как остальные, вообще не отличался ничем от других, все-таки что-то в нем было простое, обыкновенное, а вовсе не торжественное и не парадное.

Голенастый командир с мегафоном кончил торжествовать, перешел на деловой тон и объявил, что сейчас вновь прибывшим предстоит заполнить анкеты и получить градусники, чтобы измерить температуру. Это вызвало смех.

Почти целый день они проходили неспешный медосмотр; однако Женя не скучал, спасали игровые автоматы, в воздушный и морской бой и автогонки можно было играть сколько угодно, здесь за такое удовольствие не требовалось бросать монеты – настоящий коммунизм.

Поев, они опять уселись в автобусы, и тут появился тот самый непарадный парень, вожатый. Он возник не один, рядом с ним, за его плечом, стояла красotka – ну прямо с журнальной обложки, загорелая дочерна, стройная и очень сексуальная, на Женин взгляд. Сейчас она в скромной вожатской форме с галстуком, но если ее переодеть или слегка подраздеть, она вполне могла бы претендовать на обложку "Тайма" или, на худой конец, "Советского экрана".

Что касается "Тайма", его изредка приносил домой всеильный ОБЧ, и хотя он бывал недоволен Жениным любопытством, внятно ответить на точно поставленный вопрос, почему ему этот журнал листать можно, а сыну нельзя, никогда не мог, и Женя играючи обходил его неудоволь-

ствии. Как обходил он и всякие иные запреты. Ведь все, что обсуждают взрослые, рано или поздно узнают дети, не так ли? Но если все-таки узнают, кому нужно это предварительное ханжество? Та же, к примеру, будь сказано, сексуальность? И вообще почему, когда человеку исполняется шестнадцать лет, всякие там вчерашние недозволенности вдруг становятся узаконенными темами на уроках? А в тринадцать лет это все под запретом? Вот эту разницу – в три года – кто определил? Какой меркой? На каких весах? И конечно же, взрослый – уж это вне сомнения. Еще и не один, целая толпа. Сидели, наверно, круглый месяц за закрытой дверью, обсуждали, когда человек поспекает для таких разговорчиков. Ранний овощ – плохо, поздний – еще хуже, уже прокис, ха-ха, послушали бы они, эти взрослые, что толкует в Женином шестом классе, и не мальчишки, а девчонки! Мальчишки, на худой конец, отделивались маловразумительными сальностями, вроде: "Ничего бабеч!" – а вот девчонки, они, не очень-то приглушая голоса, обсуждали телесные стандарты королев красоты, знали, кто за кем замужем не только на уровне "звезд" мирового рока, но даже и городского драмтеатра, с упоением разглядывали картинки, вырезанные из газет и журналов не всегда цензурного свойства, поэтому, когда Женя небрежно вытаскивал из своего кейса "Тайм" или "Штерн" в лакированной обложке, девчонки ахали, охали и всячески заискивали перед ним.

Однако сам Женя предпочитал помалкивать, когда в классе завывались подобные рассуждения, и, надо сказать, опять выигрывал: молчание поразительно действует на народ! Скажи ты хоть слово, какое угодно, и есть уже повод оспорить тебя, но ты молчишь, и постепенно остальные начинают понимать, что ты выше их, брезгливей, может быть, хотя чего тут особенного? Все эти табу, придуманные взрослыми якобы для охраны душевного покоя детей, он ненавидел яростнее остальных, зная неискренность запретов. Другие тряслись, переступая черту, а он презирал границы. Только презирал их молча.

В общем, Женя думал, как все, но других его выдержка вводила в заблуждение, ох ты, господи, как все несложно. . .

А эта девица хоть куда? Интересно, как сложатся с ней отношения? Уж наверняка она считает всех тут младенцами, истово верящими, что детей приносят аисты, а сама-то. . .

Значит, она их вожатая, ее зовут Аня, непарадного мужика – Павел, Павел Ильич Метелин – Женя прищурился, соединил инициалы вожатого воедино – что ж, с этим все понятно, Пим, валенок, а дружина, в которую всех их тут собрали, – "Морская".

Правильно, можно заводить.

"Икарус" тихо засипел, будто зажгли паяльную лампу, ласково тронулся и уверенно заскользил по горному серпантину, то швыряя в глаза спящую морскую гладь, то пряча ее за спину, будто он вовсе и не автобус, а взрослый, который дразнит детей – то покажет им обещанный подарок, то спрячет, пока, наконец, ему не надоест и он не отдаст навсегда свою игрушку. . .

Итак, все было бы ничего для начала, если бы не маленькая заминка, когда они приехали в Лагерь.

После душа Женя, как и все, переоделся в лагерную форму, сдал сумку

на хранение и уже вышел в предбанник, как его осенило: "Деньги!" Он вспомнил, что в домашней куртке у него остались деньги, которые могут пригодиться. Ма сунула ему в курточку сотни, кажется, две. Мало ли. На всякий пожарный.

Он подошел к кладовнице, с трудом раздобыл свои шмотки назад, не таясь вынул деньги и переложил в кармашек новой одежды. Пожилая тетка глядела на него, лицо у нее вытягивалось, губы дрогнули, она что-то хотела сказать, но не решилась, зато, когда Женя вернул ей свою сумку, тут же схватила бирку, привязанную к ней, и снова зашевелила губами, повторяя, видать, про себя его фамилию.

* * *

Первый день всегда самый тяжкий в вожатском деле. Кроме переодеваний, бань, вообще всяческих забот свойства, так сказать, бытового, требовалось предельное напряжение памяти и внимание, ведь детей надо запомнить – в лицо и по именам, и потом первые их слова и первые маленькие поступки оказываются самыми верными, вот парадокс. Педагогика утверждает, что не надо спешить, что ребенок раскрывается постепенно, что первые выводы ошибочны, но Павел не раз и не два убеждался, что самое верное – именно первое впечатление, что первые же слова – это, как правило, характер, что, может, именно в первых словах как бы сгенерировано детское мировоззрение. . . Ясное дело, как всюду в воспитании, тут нет обязательности, так и здесь – ошибиться можно и даже было бы хорошо – ошибиться, но и отметать с порога первое впечатление, не брать его в расчет – глупо, неверно.

Ребята свалились в мертвецком сне сразу после отбоя – дорога, новые впечатления – сознание перегружено, реакция естественна, но Павел не заторопился в вожатскую гостиницу, пошел к морю, на причальный пирс.

Он хотел привести хотя бы в относительный порядок сумбур впечатлений.

Море ластилось под сваями пирса, всплескивало изредка, давая все же знать о себе, поражая неестественной покорностью, молчаливостью.

Павел хмыкнул про себя, подумав о море, как о мальчишке: пока спит – безмятежно, но стоит проснуться. . .

Да, нынешний отряд, сразу видно, не похож на других. Обычно дети пзрываются, увидев море, оно их возбуждает, а эти, наоборот, притихли. Без сомнения, оно их тоже ошарашило, но вот реакция иная. Не всплескивается из себя, а, напротив, идет вовнутрь.

А и вначале, как только сели в автобус, не в окна таращились, а друг на дружку. Лагерное правило – детей из одной, скажем, области разбросать по разным отрядам – можно понять. В этом есть смысл. Больше разных впечатлений, контакт с новыми ребятами. Новая дружба. Допустим.

Но детдомовцы, когда их раскидали, насторожились – они глядели на соседей, вот что. Кто каков есть? Вообще все спутано для них за

какие-то сутки-другие. И вожатым предстоит вовсе не легкое и не пустяковое дело – связать этих ребятишек в новую сеть. А спицы в этой ручной и довольно тонкой вязке – лагерная жизнь, лагерный распорядок, здешние традиции, совсем не похожие на то, что было у них прежде.

Поговорить бы про каждого с воспитателем детского дома, узнать подробности, выспросить про особенности. . .

Павел вздрогнул: кто-то легко пробежал у него за спиной. Он обернулся – это была Аня, и она скользнула мимо, не заметив его, сидящего возле бухты каната.

Павел услышал, что Аня всхлипнула, в звездном свете заметил ее фигурку, застывшую у края пирса.

Он поднялся, пошел к ней.

Да, она плакала, сидела над водой, прямо на асфальте, и плечи ее вздрагивали. Павел кашлянул, его напарница вскинула голову, сказала грубым голосом:

– Уйди!

Павел опешил. Оснований для грубости не было, в конце концов, если человек плачет, у всякого прохожего есть право поинтересоваться, не нужна ли помощь.

– Терпеть не могу, когда меня жалеют! – сказала Аня, но Павел уже уходил.

– Жалеют? – бросил он через плечо без всякого выражения. – За что?

Мысли его вернулись на прежний круг, он постарался забыть об Ане. В конце концов, у каждого своя история, а может быть, драма, и у этой непонятной красавицы, и у него, но теперь им дали возможность прикоснуться к детям, и, наверное, пора забыть про себя ради этих ребят. Целая палата мальчишек, спят себе сейчас без задних лап, как усталые, набегавшиеся кутята, а ведь каждый из них пережил такие взрослые страсти. . . Об этом говорила вчера женщина из Минпроса, да и догадаться нетрудно, стоит только напрячь воображение. У каждого есть родители – точнее, почти у каждого, – но ребята живут в детдомах, вот и найди тут, где справедливость, где истина, где такие слова и поступки, которым поверят эти глубоко неверующие пацаны и пацанки. . .

Он пришел к корпусу дружины, поднялся в спальню своего отряда. Едва горела дежурная лампочка, было душно и тихо. Вот торопыга, ругнул себя Павел, в суетне этой забыл исполнить главное правило – открыты форточки, ведь спят в Лагере только при свежем воздухе. На цыпочках Павел подошел к окну, потянул шнур фрамуги.

Его обдало жаром: кто-то отчаянно, дико закричал за спиной.

Павел стремительно обернулся и кинулся на голос: это был мальчишка, истонченный худобой, с зеленоватыми полукружьями под глазами – он кричал, не просыпаясь, но так, будто его убивали.

Павел склонился над мальчишкой, не зная, что делать, а тот все кричал, не унимаясь, только вроде он выбивался из сил, терял надежду, и крик становился сиплым, отчаянным и от этого неестественным, страшным.

Приговаривая шепотом какие-то слова, Павел встал на колени перед

изголовьем мальчишки и вдруг порывисто, неожиданно для себя обнял его, положив ладонь ему на голову. Мальчишка сразу утих, но не проснулся, только все еще судорожно, прерывисто дышал. Потом он зевнул во сне, глубоко вздохнул и повернулся на бок, совершенно неожиданно улыбнувшись.

Отстранившись от мальчика, Павел пораженно разглядывал его еще несколько мгновений, потом поднялся с колен.

Он сам с трудом перевел дыхание, огляделся. Палата безмятежно дрыхла, никто не услышал отчаянного крика. Он повернулся, чтобы идти, и чуть не сбил с ног мальчишку с лохматой русой головой.

— Один все-таки услышал, — подумал Павел. — Только один”.

— Чего это он орал? — спросил пацан.

— А кто его знает? — ответил Павел. — Ложись. — Он хотел положить руку на плечо мальчишке, чтобы этим движением успокоить его, но тот неожиданно увернулся.

Павел слегка смутился, отыскал в памяти его имя, сказал:

— Спи, Женя, спи. . .

И, шагая за ним к его кровати у самого входа, заметил:

— Ты, выходит, чутко спишь.

— Еще бы, — ответил Женя. — Когда так орут!

Он улегся, затих под одеялом, Павел оглядел еще раз притихшую спальню, вышел на улицу.

Цикады вновь заливались, сходили с ума, и море сияло, серебрилось в лунном полыхании, и опять появилась Аня.

Она выдвинулась из тени, остановилась в нескольких шагах, как отдают рапорт на линейке, и сказала виноватым голосом:

— Я их боюсь.

Странно, Павел не поверил этим словам, больше того, появление Ани вызвало в нем необъяснимое раздражение. Он сдержал себя, сказав что-то успокаивающее, и они быстро пошли к дому вожатых.

”Этого крикуна, — подумал он, — завтра же надо к невропатологу”.

Наутро выяснилось: дети кричали ночью почти во всех отрядах.

После недолгого совета в отряды отправились врачи. Лагерь объявил для вожатых тревожную обстановку.

Обычно ее объявляли, когда с моря надвигался шторм.

На утренней летучке начальников дружин было объявлено также, что у Евгения Егоренкова, направленного в первый отряд ”Морской” дружины, есть крупная сумма денег.

* * *

Жене не понравилось, что море им выдают точно мороженое — как бы горлышко не застудили. Сперва бесконечные беседы, объяснения распорядка, знакомство, а уже потом, когда все надоест. . . Нет, он не привык к такому.

Они с ма всегда сразу бежали к морю и бултыхались, пока не занеет живот от голодухи или не придет па и не заворчит всерьез, что так нельзя, что это безрассудство и в конце концов эгоизм: бросили его одного.

Да, куда бы они ни летали – в Сочи, Батуми или на болгарские пляжи, он всегда получал море прежде всего, иначе зачем же эта красота, а лагерь устроен на самом берегу – к чему, если сперва надо слушать нудные объяснения, которые совершенно не лезут в голову при такой жаре?

Наконец их выпустили на волю – точно стаю воробьев из клетки. На тебе, тут же выяснилось: половина не умеет плавать. Добро бы, одни девчонки, загорелая красotka заплюхалась в их кругу, будто большая утка среди молодых утиц, но и мальчишки тоже очень даже многие по-бабьи визжали и противно вякали. Ничего себе морская дружина!

Участок пляжа у них был свой, огороженный заметными метками, море тоже оказалось разгороженным со всех сторон яркими буями – еще этого не хватало! Не море, а игра в классики, сплошная несерьезность. Женя хотел было возмутиться, что-нибудь сказать, но, подумав, решил, что гораздо мудрее жить, как ты привык, без всяких к тому объявлений. Кому он, интересно, должен рассказать, что трижды в неделю ходит в бассейн отцовского комбината, что он чемпион своей школы на сотку вольным стилем, в своем, конечно, возрасте, и держит второе место по городу.

Но там – пресная вода. Соленая морская гораздо легче для плавания, это известно каждому, так что уж извините!

Он снял шорты, остался в адидасовских плавках, на ходу натянул шапочку с фирменным трилистником – эти вещи разрешалось брать из домашней амуниции, ступил в воду и с удивлением заметил, что на него смотрят.

Внимательно смотрели на него девчонки, все до одной. Аня, кое-какие пацаны.

Когда он проходил мимо Пима, тот спросил его:

– Ты умеешь плавать, Женя?

– Умею, – флегматично ответил Женя, разглядывая на правой стороне груди водителя чуть ниже соска блестящую розоватую кожу и глубокую, неприятную впадину. Павел Ильич перехватил Женин взгляд и смущенно прикрыл эту яму ладонью. Миновав его, Женя обернулся. Со спины ниже лопатки розовела еще одна впадина. "Ого, – подумал он, – как его искурочило. Видать, авария. Автомобильная катастрофа".

Он оттолкнулся ногами от дна, нырнул, сделал два-три сильных гребка, выскочил на поверхность, помотал головой, стряхивая воду, открыл глаза и помахал саженками к гирлянде поплавков, отделявших море от загона.

Всем им только что строго-настрого запрещали выплывать за ограду, и это ясно, кто будет возражать, коли народ не умеет плавать, предубежденность на воде – элементарный закон, но ведь не для всех же, он-то тут при чем, Женя?

Не доплывая метров пяти до ограничителей, он лег на спину, поскокился в сторону берега. Оттуда смотрели на него, но уже не так, как вначале, девчонки вместе с водителем заплескались и завизжали снова, закричал, как подбитый селезень, Генка, тот самый, с зеленым отливом парень, который орал нынешней ночью, он-то и отвлек взгляд Пима,

больше Женя ждать не стал, перевернувшись для удобства на живот, согнул тело пополам и ушел в прозрачную зеленую глубину.

Ему всегда хотелось кричать от восторга на морской глубине. Ты один в этой зеленой плотной массе, где-то внизу белеет дно, все неведомо вокруг, навстречу плывет медуза, да и не одна, надо лавировать между ними, чтоб не обжечься, прямо по курсу идет зеленушка, сейчас она шархнет в сторону, — все, воздух кончился, следует аккуратно всплыть, перевернувшись лицом вверх, глубоко вдохнуть несколько раз, и снова уйти под воду — уже давно позади поплавки, вниз — аккуратно вверх, вниз — вверх, несколько таких ныров, и ты будешь далеко от буйков в настоящем море, на глубине, которую не стыдно ощущать под собой.

Женя в последний раз глотнул воздуха, пошел отвесно вниз.

Какая же тут красотища, надо будет раздобыть ласты и маску, похоже, это непуганые места, кроме зеленушек есть другая рыба, наверное, окуни, хорошие мохнатые заросли и громадные валуны. . .

Женя посмотрел вверх. Поверхность моря была серебряной, так освещало ее солнце, походила на небо, и по этому небу смешно передвигался человек.

Он очень торопился, полз по стеклянной плоскости, руками и ногами разрывая небо в тучи серебристых пузырей. Женя еще снизу узнал его, понял, куда он торопится, оттолкнувшись от дна, ласточкой пошел вверх.

Павел промчался мимо, а когда Женя вынырнул, сделал еще несколько сильных гребков, прежде чем догадался обернуться назад.

— Павел Ильич! — крикнул ему Женя, успокоивший дыхание. — Куда вы?

Он нарочно сделал простоватое и обеспокоенное — конечно же, за Пима, за его судьбу — выражение лица.

— Вам помочь? — не удержался он от добавки, но по выражению Пима было ясно, что добавка, конечно же, лишняя.

Вожатый плыл назад, молчал, и в эти мгновения, видимо, выбирал выражения. Выбрал, впрочем, весьма сдержанное.

— Помоги! — попросил он. — Сделай милость! Вернись за буи и больше не смей нарушать наши правила, иначе...

Что будет иначе, он не сказал, может быть, сам не знал или не решился. "Ага, — понял Женя, — иначе полагалось отправлять домой. Но дома-то у них не было!"

Он злорадно хихикнул над Пимом, не про себя на сей раз, а в воду, что, впрочем, было одно и то же.

— Скажите, — крикнул он, умело не заостряя тему, вовсе даже не отвечая на вопрос вожатого, уводя разговор совсем в другую сторону, — а что у вас за вмятины на груди? Авария? Катастрофа?

Несколько мгновений они плыли молча, и вожатый не отвечал. "Не на шутку разобиделся, вот ведь чудак", — подумал Женя. Но нет, оказалось, вожатый не может обижаться, не имеет такого права.

— Что-то вроде этого, — ответил Павел Ильич.

Все-таки подоби́делся. . .

— А вот откуда у тебя адидасовские плавки? — спросил вдруг вожатый.

Это было довольно неожиданно, и Женя сперва ответил, а уж потом подобрался.

– Подарили! – воскликнул он простодушно.

Дальше требовалось срочно выдумать правдоподобную ложь.

– У меня богатая бабушка! – крикнул он, немного подумав. Ведь наверняка в этих бумагах не пишется про бабушек. Он вспомнил бабуленцию, как она плакала, когда он уходил из дому в эту поездку – штаны чужие, сумка чужая, свои только куртка, адидасовские плавки да шапочка – других, попроще, ма не нашла, и ему сделалось стыдно перед Настасьей Макаровой, она бы про него, своего внука, такой гадости никогда не произнесла. Он хотел извиниться перед ней, как-то так – хотя бы себе самому – отделить добрую, хорошую бабуленцию от этой лжи, от этой гадкой выдумки, и объяснил Пиму, чтоб увести в сторону его бдительность:

– Только она очень старенькая!

Это-то была правда.

Женя вышел из воды, развернул полотенце, аккуратно лег на него. Рядом с ним прямо на песок плюхнулся Генка. То ли он замерз в воде, то ли еще отчего, но Жене показалось, позеленел еще пуше. Прямо зеленушка.

– Ну, ты даешь! – сказал Генка.

– Ты тоже даешь! – кивнул ему Женя.

– А чё я даю? – искренне удивился тот.

– Ночью орал, как зарезанный, – усмехнулся Женя.

– А-а! – Генка сразу опал, прижался к песку, точно лопнувший мяч.

Он отвернул от Жени свое лицо, как-то беспомощно поелозил худыми руками, облепленными песком, и притих. Будто он безответный щенок и его только что ударили палкой.

Такого поведения Женя еще не встречал.

Он стремился, пусть неосознанно, к ровным отношениям со всеми и всегда в ответ встречал такое же ровное отношение. Эта ровность превращалась в обходительность. Если назревало острое положение, необходимость выйти за черту ровности, он предпочитал отходить в сторону. Переводить разговор на другую тему. Как-то так уж это у него получалось. Умел он огибать острые углы с самого детства – может, у отца научился. Словом, в школе, в секции плавания, во дворе дома, в узком его мире, из которого пока что ему не приходилось выходить, он умел ладить со всеми, и, надо заметить, ему отвечали тем же. Никто из пацанов никогда не нахамил ему: было не за что. Со взрослыми у Жени не существовало вообще никаких проблем – речь, конечно, о взрослых со стороны, ведь если уж дома он мирно уживался со взрослыми, а дома, как известно, множество поводов для маленьких и больших конфликтов у каждого человека – взрослого или даже вовсе не большого, – словом, если дома он поживал себе тихо и благополучно, то посторонние взрослые – в булочной, скажем, или опять-таки – в школе, в секции – были для него чем-то хоть и одушевленным, но вовсе не обязательным. С ними можно и нужно разговаривать, но вовсе ни к чему допускать их близко к сердцу.

В общем, так устроен был Женин мир, что он никогда не расша-

тывался от бурь, его не кренило то в одну, то в другую сторону, будто на крутой волне, никто его не расстраивал и не беспокоил, и от него никто, никогда, нигде не расстраивался.

И тут – на тебе! – этот Генка вдруг из-за какой-то совершенно ничего не значащей фразы вдруг судорожно заскочил руками по песку, поджал одну тонкую ногу и отвернулся, замолчал. Только что не заскулил.

Женя поглядел ему в затылок. Обычно нервный человек, если долго смотреть ему в висок или в макушку, через секунд тридцать начинает крутиться, оборачиваться, а Генка был явно такой нервный человек, иначе чего бы ему орать ночью на весь лагерь.

Генка и впрямь закрутил по песку ногами и руками, тяжело вздохнул, даже простонал. А когда Женя, устав, отвел взгляд, запоздало повернулся.

– Ну и что! – проговорил он жарко и тихо, почти прошептал. – Все мы тут такие! Не слышал?

Он сел перед Женей на песок, скрестил ноги, как индийский йог, худой, как в самом деле йог, лицо, как у йога, изможденное, желтое, с прозеленью на висках, возле глаз и ушей, только на самых скулах живая, чуть розовеющая кожа.

Женя заметил про себя, что Генка очень некрасив, какой-то узкий лоб, слишком широкий нос и отвисшая толстая губа делают его даже неприятным, но вот карие глаза, живые и яркие, эту некрасивость сглаживают.

– Ты-то сам кто такой? Где твоя маманя? Отец?

Он смотрел на Женю без всякого пристрастия, даже доброжелательно смотрел, и Женя понял, что Генка заранее сочувствует ему, потому что хоть и приблизительно, а знает ответ, Женя для него свой брат, а эти вопросы – с известными ответами – ничего более, как аргументы, как доказательства, нужные, чтобы успокоиться самому и успокоить других.

И все-таки это не были риторические вопросы, Генка ждал ответа, и Женя ответил ему, не отводя в сторону взгляда:

– Испарились! Исчезли!

– Ну вот!

Генка не обрадовался, нет. Он просто повнимательнее поглядел на Женю, как будто что-то хотел спросить еще, но передумал, напротив, сам предложил:

– Я тебе, конечно, могу объяснить, но ты не болтай, пожалуйста. . .

Женя кивнул, улыбаясь про себя, предполагая, как сейчас этот некрасивый Генка начнет выдумывать про себя какую-нибудь геройско-враческую небыль, но Генка придвинулся к нему поближе и серьезно сказал:

– У меня отец мамку убил!

Видно, на Женином лице появились признаки недоверия, и Генка стал объяснять:

– Я еще маленький был, года четыре, может, пять. Батяка приходит с работы, а маманя не одна, понимаешь? К ней один приезжий ходил, водку вместе лакали и все такое. Ну батаня двустволку со стены и обоих – наповал. А я в углу сидел, из кубиков избушку строил.



– Врешь! – проговорил Женя. Но лицо Генки сделалось вовсе зеленым, глаза остановились, стали мертвыми, казалось, вот-вот и он опять закричит, заорет благим матом, как тогда, ночью, – истошно и безнадежно.

Генка исчез с пляжа, здесь оставалась только его плоть, а душа улетела туда, где произошло это несчастье, совершилась беда, где Генка этот давно не живет и где все-таки он навеки остался. . .

– Ген, Ген, – тронул его рукой Женя. Тот не шевелился. Тогда Женя вскочил и потряс пацана за плечи, потер ему уши, так полагалось, когда человек теряет сознание, где-то, в каком-то кино он видел это.

Генка глубоко вздохнул, как тогда, во сне, очнулся, ожил, вернулся на пляж.

– Извини меня, – сказал ему Женя. – Прости, Генка.

Тот усмехнулся.

– Да что ты, – махнул он ладошкой, измазанной в песке. – Я уже забыл, понимаешь, только вот во сне справиться не могу, ору. Человек же во сне собой не владеет, понимаешь?

С Женей что-то случилось – в одно мгновение, в миг. Никогда с ним такого не было, хоть вился всегда вокруг него хоровод приятелей. Нет, никогда никого он не жалел с такой щемящей, все затмевающей тоской, с такой обнаженной, открытой болью. Ему вдруг захотелось заплакать, завывать, заорать, как будто это не с Генкой, а с ним произошла такая страшная, такая непоправимая беда, ему захотелось заплакать и обнять этого некрасивого Генку, чтобы хоть чуточку помочь ему.

Он быстро встал на колени рядом с Генкой и обнял его.

Он подумал, что сделал, наверное, что-то не так, неправильно, потому что Генкины плечи сразу затряслись, он молча, содрогаясь, заплакал, и Женя испытал еще одно новое чувство – ему стало страшно. Страшно этого беззвучного раскачивания худого тела, этого немого плача, страшно за Генку, с которым сейчас может случиться что-нибудь такое, о чем они оба станут жалеть потом. . .

Женя отстранился от Генки, взял его бессильно повисшую руку, зашептал, чтобы никто не услышал их, никто не обратил внимания:

– Геныч, не надо! Генка, ну перестань. . .

Генка успокаивался не просто, не сразу, будто его расштормило, как море, и волны все не могут улечься в его настрадавшейся душе.

Наконец он утих и сказал, как бы снова объясняя себе свои слезы:

– Ты не думай, я не про то. Отца жалко. Он отсидел. Из тюрьги прямо ко мне. Сынок, мол, не могу без тебя жить. Прости. А я, знаешь, жалею его, но ничего с собой сделать не могу. Месяц я с ним только пожил. Какие-то припадки начались. Врачи велели нам разойтись. Обратно в детдом вернуться.

Он вздохнул опять, огляделся, отер щеки тыльной стороной ладони, улыбнулся.

– Так что батя у меня есть, Женька!

И вдруг сказал такое, что Женю перевернуло:

– Вот как ты-то, Жень?

Генка, выходило, его пожалел!

Вернувшись к буйам, Павел долго не мог прийти в себя, отдышаться после этого бешеного спорта, после ложной тревоги. Он прохлопал, когда этот мальчишка, Женя Егоренков, ухитрился обмануть его и уйти за поплавки. Крикнула Аня. Крикнула ему и мотнула головой. Павел проследил за ее взглядом и ничего не понял: в конце морской выгородки, а уж тем более за буйами, никого не было, но Аня снова и настойчиво крикнула ему:

– Ушел, ушел!

Через мгновение из-под воды что-то всплыло, потом в воздухе мелькнули мальчишечьи ноги, и Павел, не раздумывая, рванулся к тому месту.

Уже вернувшись, уже отправив Егоренкова на берег, уже придя в себя от неистовой, хоть и краткой гонки, Павел подумал о том, что все до странности повторялось, только на этот раз в море, и вообще тревога оказалась липовой, но чувства его настигли те же самые, вот ведь как... все было натянуто в нем до крайней степени, все мышцы, ему казалось, он не чувствовал себя, только тревога и напряжение и еще щекочущее низ живота чувство смертельной опасности. Ведь бросаясь за Егоренковым, он думал лишь о том, что мальчишка нерасчетливо заплыл и тонет, а он проморгал, прохлопал его, и вот снова из-за него кто-то должен погибнуть, исчезнуть, уйти – опять он виновен, опять...

Он буранил воду, разрывая ее податливую плотность, сразу же, с первого мига этой борьбы ощутив всю разницу между собой нынешним и собой прошлым. Тело слушалось безотказно, но после первых же гребков откуда-то изнутри, из глубин собственной плоти подвалила тяжесть, которая, казалось, тормозила, делая движения вялыми, несильными, ненадежными. Выдыхаясь, он все же увидел, как мальчишка раз, другой, с большими перерывами вновь возник на поверхности, и снова исчез под водой. Павел собрал себя, на мгновение расслабившись, – ведь впереди предстояло самое главное – нужно было нырять за мальчишкой, и он ясно понял, что не выдержит и, уяснив окончательно положение дел, вынужден будет крикнуть Ане, махнуть ей рукой, чтобы та поняла – тревога, настоящая, неподдельная, и надо вызвать спасательный катер... Но в это время его окликнул Егоренков.

Павел даже не нашелся, что сказать этому пловцу. Ответить, как следует, просто не доставало сил. Свинтус, вот как следовало бы его назвать. Да если бы еще он знал, какие мгновенные воспоминания вывернул он одним махом из глубины памяти, еще свежей, свинтус такой.

Павел ухватился рукой за буй, лег на спину, приходя в себя и ощущая, как выхолощенное нутро вновь наполняется жизнью.

Он даже содрогнулся от столь неожиданного: а может, вся эта двухгодичная командировка в лагерь – не что иное, как произвольный поиск ответа после того, что было, попытка понять тайну детской ярости, мальчишечьей ненависти...

Но что общего? Господи, какие разные истины – тут и там... А глаза?

Глаза того мальчишки, убийцы, который стрелял в него, но которого не смог убить он, Павел.

Не смог, а был должен, даже обязан. . .

Да, страшные воспоминания вывернул Егоренков.

Их бронетранспортер шел последним, прикрывал колонну с продуктами, и сначала ударили по ним, чтобы запереть дорогу сзади, образовать пробку, создать невозможность отступления, скатывания по горной дороге вниз на задней скорости, — вперед, в подъем, выходить из засады всегда сложнее: впереди неизвестность.

Бой вышел короткий, четверть часа, не более — машины, идущие впереди, тотчас остановились, сконцентрировали огонь на засаде, которая подошла к их транспортеру, поэтому, когда Павел выскочил из огня через задний борт вслед за Серегой, опустошив на звук стрельбы половину обоймы, бой, по существу, кончился. Он еще не знал в тот миг, что двое в машине погибли — Олег Черниченко и Наби Алекперов, а еще один, Ашотик, тяжело ранен, — они с Сережей рванули вперед и разошлись, рассыпались в разные стороны, как учили их не раз, — Серега упал за камень, и Павлу показалось, он просто укрылся. Но Серега не укрылся, нет, в следующее мгновение его гимнастерку в двух местах вспорол, вывернув нательное белье — точно два белых клочка ваты вывернуло, а Серега даже не шелохнулся. Точнее его рука два раза покорно дрогнула от ударов пуль, стука железа в податливое человеческое тело.

Павла припекало пламя горевшего БТР. От машин, шедших впереди, бежали солдаты, слышались их возбужденные крики. Он вышел из-за огня, из-за зыбкого своего укрытия, держа палец на спусковом крючке автомата, точнее, он начал стрелять, еще только выскакивая из-за огня, но цель была так близко перед ним и враг был так не похож на врага, что он непроизвольно отвел ствол в сторону.

Автомат строчил, но вбок, а перед ним совсем близко, на противоположной обочине дороги стоял мальчишка лет двенадцати с выпученными от страха, ничего, кроме страха, смертельного животного страха не выразившими черными глазами.

Рот у этого мальчишки был открыт, а глаза напоминали два ствола. Он был в цветастом, когда-то, видать, выходном, халате, а в руках держал хорошо знакомый Павлу наш автомат. Может, это еще сбило с толку?

— Ты что! — крикнул ему Павел, но это было совершенно бессмысленно. — Брось оружие, пацан! Брось!

Он все еще строчил при этом, и его голос был слышен лишь ему одному, но Павел не сознавал этого. Низ живота разрывал страх, ему казалось, что в смерти Сереги виноват только он, надо было оглянуться, увидеть этого пацана, прикрыть товарища, но он ушел за БТР и теперь обязан стрелять, обязан чуть-чуть повести стволом, дышащим смертью, вправо, и этих глаз, этого открытого, обезумевшего рта больше не будет.

Но он не сделал того, что был обязан сделать.

Он не повел стволом вправо.

Он кричал на этого ничего не понимавшего пацана, зная, что крик его не имеет смысла, но не убивал.

И тогда в глазах мальчишки мелькнула осмысленность. Может быть, ему показалось, что он выиграл. Он повел стволом своего автомата и рыгнул в Павла смертельной струей.

На этом все оборвалось для Павла. Включилась тишина.

Он пришел в себя после операции, увидев белые госпитальные потолки, возвратился к жизни, но так ни от кого ничего не смог узнать больше. Те, кто бежал ему на подмогу, были из других частей, чистые автомобилисты, другие машины их отделения шли в голове и в середине колонны, а из их экипажа уцелели Ашотик да он, так уж ему повезло.

Про мальчишку с автоматом, как это ни удивительно, он думал больше всего. Про убитых товарищей говорил с другими друзьями, с Ашотиком, а про мальчишку говорить было не с кем, этого пацана он видел один.

Один.

Его убийца. Только неопытность мальчишки да еще, пожалуй, его страх подарили Павлу жизнь, оставив под ключицей и под лопаткой две глубокие впадины от пули, прошедшей навывлет.

Да, он думал о нем.

И чем дальше увозили его от этих проклятых гор транспортные самолеты, тем как будто ближе подступал испуганный мальчишка. Павлу казалось даже, что с течением времени он все явственнее видел его лицо, как будто тот приближался к нему.

На лбу у пацана блестели капельки пота, вспомнил он. И очень черные, густые, будто насурьмленные брови. Глаза – не карие, именно черные. Наверное, просто до предела расширены зрачки.

Откуда он, кто? Из засады, из банды? Верней всего. Значит, он знал, что хочет убить, думал о смерти другого человека, других людей. . . Но ведь он мальчишка, неужели не страшно? Нет, было страшно. Это Павел видел своими глазами. Может быть, останься он в живых после этой засады, страх выучил бы его, заставил бы бросить автомат и никогда больше, никогда не стрелять в другого человека. . . Впрочем, выбравшись из страха, люди быстро забывают о нем, особенно если они темны или неразумны. . .

Да, этот мальчишка, его несостоявшийся убийца, неотступно преследовал Павла, и он никак не мог отвязаться от этих вытарашенных черных, как два ствола, глаз, никак. Павел догадывался, может быть, даже точно знал, чем объясняется эта неотступность. Он не сумел выполнить свои обязанности, и он поплатился за это. Но мальчишка вряд ли жив. Смертью не играют – своей ли, чужой. Стрелять в людей, да еще в солдат – опасная забава. Но он, Павел, не виноват перед ним. Так что напрасно эти глаза преследуют его.

Но что ни говори сам себе, как ни внушай, какие только истины ни вдалбливай в собственные же мозги, это мало что дает.

Глаза пацана, два этих ствола вместе с третьим – с черным зрачком автомата, преследовали Павла во сне и наяву.

Он не был виноват перед ним, это так, но чувство вины перед мальчишкой ни на час не оставляло его, и чем дальше отплывала его жизнь от боя, тем горше и безысходнее давила необъяснимая вина.

Павел не знал, как избавиться от того, что не отступает, но облегченно, необъяснимо для себя обрадовался, когда ему, вернувшемуся в родной городок, товарищ по школе, секретарь горкома комсомола, сделал неожиданное предложение поехать на два года вожатым в лагерь на берегу моря.

Он согласился сразу, без колебаний.

* * *

Между ужином и отбоем был назначен "Вечер знакомства". Хоть от приезда до этого вечера истекали сутки, а то и вторые, хоть ребята уже и так присмотрелись друг к другу и многие перезнакомились, вечера эти всякий раз становились как бы стартом смены. Перед тем – всякая организационная суета, многочисленные объяснения и наставления, а настоящая дружеская жизнь начиналась с официального знакомства, уж так получалось.

Зеленые лавки под кипарисами соединяли в круг заранее, днем.

В час, когда сумерки еще только подступали к лагерю, когда было вполне светло, но горы уже набрасывали на побережье свои прохладные тени и пространство от земли до небесных глубин застывало на несколько недолгих минут, благостных, умиротворенных, разделяющих собой морской отлив от начала ночного прилива и легкие дневные бризы, дующие с прогретого моря в сторону берега, на бризы ночные, идущие в обратном направлении – в этот час покоя, призывающий к откровенности и любви, усаживались кружком ребята в голубых пилотках, с красными пионерскими галстуками.

Каждый должен был встать и назваться, сказать, откуда он, как учится, чем увлечен и еще что-нибудь сказать, по усмотрению, нужное и важное для такого представления. Павел нарочно выбирал этот самый час, потому что незаметно он превращался в сумерки, а в сумерках, как известно, легче откровенничать, легче обсуждать сложные вопросы или читать стихи – в обычных сменах именно так и случалось; день шел к концу, а откровенность разгоралась, точно заря, и ребята долго не хотели расходиться, а потом, после отбоя, долго говорили в своих спальнях, не могли уснуть, и Павел Ильич Метелин в своем вожатском деле больше всего любил вот именно эти ночи, когда по десять раз требовалось зайти и сказать строгим голосом:

– Спать, всем спать!

И знать при этом, ощущать всей своей сутью, какая важная у ребят бессонница, как бесконечно щедра эта возбужденность, жажда немедленного узнавания другого человека, подобного тебе.

О дружбе и о любви наговорены горы слов, а ведь и дружба, и любовь начинаются с очень простого – с шага, который люди делают навстречу друг другу, с радости осознания, что этот другой похож на тебя и что ты интересен и дорог ему точно так же, как он тебе. Сон в эти вечера был подобен воде, которой нарочно гасят огонь взаимного понимания, но Метелин догадывался еще об одной важной тайне: сон в эти годы обладает способностью творить; огонь вспыхнувшего доброжелательства и интереса детский сон способен очистить от копоти суеты и житейских

подробностей, сплавив порыв в драгоценный слиток необыкновенной чистоты.

Он любил приходить наутро к своим бойцам.

Они просыпались сразу все, каким-то волшебным залпом. Молчали секунду-другую.

Ах, как высоко ценил эти секунды Павел!

Ясные, чистые глаза, умытые сном, бесконечно счастливые улыбки блуждают по лицам, если сон – полет, то эти мгновения – благополучные приземления из мира грез и истовая жажда здесь, в реальности, жить вместе, вот этим дружеским кругом, подставляя друг другу плечо, немедленная готовность умереть за друга, если только возникнет малейшая – нет, не необходимость – лишь только намек на необходимость, – непрощающая мальчишеская требовательность максимализма, если речь о чести, о любви, о верности.

Но перед этим просыпанием проходила ночь, а перед ней – час откровений, радость детского узнавания, и это всегда был праздник раньше. . .

На сей раз ничего не получалось. Не выходило, хоть лопни.

Павел оглядывал в кружок соединенные лавки, на которых сидели ребята и девочки – пилотки опущены к земле или, напротив, неестественно вертлявы. Они с Аней походили сегодня на двух кучеров – понукают ребят, а все без толку. К примеру, как вот такую растормошишь – стоит бочоночек непробиваемый, что плечи, что пояс, этакая толстушка, хоть прежде чем приехать и прошла медицинскую комиссию, а сразу видно – толстота от нездоровья, наверное, врожденного, тут уж не пошутить, и мальчишки дома, наверное, извели, всю издразнили, для нее это представление – кара божья, того и гляди прилепят кличку – и все снова кувырком, даже этот месяц. Потому девчонка только и норовит как бы сесть, спрятаться долой с людских глаз.

Встала, назвалась невнятно, Аня даже вынуждена попросить, чтобы произнесла погромче свою фамилию, имя, повторила.

– Катя Боровкова! – И в кусты.

– Ты откуда, Катя?

– Псковская область, детдом номер два.

– В каком ты классе?

– В пятом!

Снова села, ох ты, беда.

– Ребята, у кого-нибудь есть вопросы к Кате?

Тишина. Глупость какая-то, а не знакомство, сплошная натяжка, вожатская выдумка, разве сравнишь с обычной сменой – как там дети раскрываются.

– Леонид Сиваков, шестой класс школы-интерната города Смоленска, занимаюсь в авиамodelьном кружке.

Ну хоть что-то! И ведь не спросишь про самое главное – про родителей.

– Леня, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

– А чё думать? У нас всех в ПТУ сдают. У нас рядом строительное ПТУ.

– И у нас!

– И у нас!

– И везде – строительные?

– Нет. У нас при ткацком комбинате.

Это Катя Боровкова.

– А у нас сельское ПТУ. Учат на трактористов.

Павел знает этого мальчишку, его зовут Гена. Сейчас как раз его очередь представляться.

– Геннадий Соколов, из Волгограда, детский дом номер три.

– Ну уж про Волгоград-то ты можешь рассказать нам что-нибудь интересное! – подбодрил его Павел.

– Могу, – улыбается Гена. Но рассказать толком ничего не может. Речь косная, знания – самые общие. – Волгоград – город-герой. У нас есть дом лейтенанта Павлова. Он его защищал долго. Там разгромили немцев.

Для шестого класса жидковато, но приходится похвалить:

– Молодец, Гена! Летчиком, наверное, хочешь стать, раз в авиамodelьном занимаешься?

– Не-а! – бодро отвечает Генка и снова загоняет Павла в тупик. – Может, и хотел бы, да кто возьмет? Нервы у меня никудышные. Учусь, опять же, так себе.

В обычной смене такое признание немислимо. Нервы! Какие нервы? Грохнули бы разом, иначе как шутку такие слова никто бы и не понял. А эти – молчат, никакой реакции, будто речь о самом обыкновенном. И про учебу. Обычная смена сплошь отличники. Ну, полуотличники... Речь – раскованная, дикция – превосходная, любого можно поставить ведущим концерт, не подведет, а эти говорят плоховато, мямлят, отличники – есть ли они, надо узнать, но ясно, что принцип отбора в такую смену – совсем иной. Так что вот, товарищ вожатый! Переучивайтесь! Точнее, учитесь заново. Невелика трудность работать с отличниками – каждому звуку твоему внимают, не то что слову. Раз сказал – и хватит, отставших, невыполнивших, зазевавшихся и просто непокорных подтянет, поддержит, окликнет твой актив, ядро отряда – продолжение твоих рук, твоих ног, твоих слов, твоей воли. Чем лучше смена, тем мощней, энергичней, боевитей такое ядро, тем короче хвост отстающих – все как бы тянутся вперед, в кучку, не хотят выпадать из детского единства.

Тем только нельзя давать ухватиться за твой палец, хоть в малом, а усомниться в тебе, в твоих возможностях, способностях, праве быть впереди и выше их, хотя и далеко отрываться нельзя – чуть впереди, чуть выше и все-таки вместе с ними. Вожатый – как старший брат!

Для тех. А для этих?

* * *

Женя разволновался не на шутку.

Впрочем, он знал, что выйдет из положения, видел, как немногословны другие, как скованно ведет себя остальной народ, и понимал, что можно поступить точно так же, и никакой Пим ему не страшен. Но все же он волновался – что ни говори, а предстать следовало перед живым

кругом и сказать слова, между которыми не осталось бы щелей, не оказалось бы возможностей для расспросов.

Его очередь была одной из последних. Павел Ильич, – надо же, у них одинаковые отчества! – сидел слева от Жени через три человека, а подниматься, говорить о себе стали слева от водителя, так что вышло, Женя в конце круга. Пим и красотка Аня всячески старались развеселить народ, велели рассказывать о себе подробнее, даже просили стихи почитать – кто что знает, но веселье и непринужденность никак не получались, ничего не выходило из этой затеи, и Женя чувствовал, как недовольны собой, своим сбоем водитые.

А тишина, небывалая, немыслимая тишина тем временем кончилась, дунул легкий ветерок, зашевелил своими жесткими ветвями, зашуршал кипарис над головой, землю облапили сумерки.

Лица затусовала вечерняя синева, красные галстуки сделались темными, почти черными, только голубые пилотки, рубашки да шорты светлели еще пока, сливаясь в непрерывный во мраке круг, будто в пространстве невысоко над землей лежит большое, живое, слегка шевелящееся колесо.

Неожиданно Женя глубоко вздохнул, почувствовав освобождение. Он заметил, как вздохнули, почти одновременно с ним его ближайшие соседи – и еле уловимый шелест пронесся по всему этому кругу.

– Ну! – сказал Метелин. – Смелей! Кто следующий?

Встала девчонка, но лица ее уже нельзя было разглядеть.

– Меня зовут Наташа Ростова, – сказала она каким-то недетским, грудным, глубоким голосом. – Мне кажется странным, что мы так боимся по-настоящему рассказать о себе.

Круг притих, перестал колебаться.

– Это, в конце концов, трусость, – сказала девчонка. – А чего нам трусить? Мы ничего ни у кого не украли. Конечно, мы живем совсем иначе, чем другие. . . детки, но нам трусить и стыдиться нечего.

Слово "детки" она произнесла с иронией, и Женя подумал, что Наташа подразумевает его. Зато круг шелохнулся одобрительно, соглашаясь с такой интонацией.

– Вот, например, я, – проговорила Наташа. – У меня нет ни матери, ни отца. Мой отец погиб от пули бандита, понимаете? Он мальчиком ленинградскую блокаду – и ту выжил. А тут... Он уже полковником милиции был, и вдруг ему сообщают, что бандит забрался в дом, решил ограбить жильцов, а когда его застукали, то есть... ну, обнаружили, стал стрелять! Из охотничьего ружья! Отец не хотел кровопролития. Он сел в машину такую, знаете, с синей моргалкой, приехал к дому, где бандит, по микрофону сказал бандиту, чтобы сложил оружие. И что за это ему смягчат наказание. И что если он согласен, пусть в окно вывесит полотенце.

Светлый круг уже совсем размыли сумерки, и чем темнее было во круг, тем голос девочки звучал увереннее и громче.

– Ну вот! – сказала она. – Тут все и кончилось, понимаете? Бандит вывесил полотенце, отец пошел в дом первым, распахнул дверь, и прямо в грудь ему – выстрел. Мама у меня была сердечница. Она узнала об этом

и умерла. Сразу же! Не сказав ни слова! А я была в детском саду. Оттуда меня передали в детдом. Ясно?

Женя сидел, сжавшись. Что это за девчонка? Ведь он так и не разглядел ее в сумерках. Видел, конечно, видел, но сейчас, в этом круге, не обращал на нее внимания, и вот какой, оказывается, есть среди них человек.

Ветер шелестел, перебирал кипарисовые ветви, но ребята сидели тихо, не шевелились, настала какая-то растерянность, Павел Ильич и его подручная красotka молчали тоже. Одна только Наташа Ростова не желала никаких пауз.

– Какие вопросы есть ко мне? – сказала она звонко, будто чему-то радовалась, чудачка. Только чему тут радоваться?

Вопросов ей не задавали, и вожатые молчали, ничего не говорили.

– Хорошо! – бойко сказала Наташа. – Раз вопросов нет, я прочту вам стихи. Я их сочинила сама. И посвятила тому бандиту, который убил моего отца, да, не удивляйтесь, именно ему. Называется – "Паразит". Слушайте!

Она на секунду умолкла, наверное, выбирая тон, каким будет читать стихотворение вслед за своей биографией, конечно, этот тон должен был отличаться чем-то, но никакой перемены не произошло. Стихи она читала точно тем же голосом – возвышенным, приподнятым.

*Две руки у тебя. А зачем?
Для чего тебе руки, скажи?
– Как зачем? Я ведь все-таки ем.
Надо вилки держать. И ножи!*

*Две ноги у тебя. Две ноги.
А зачем? Ты ответить готов?
– Как зачем? Чтобы делать долги,
А потом убегать от долгов!*

*А глаза? Голубые глаза?
Для чего? Что ты видишь, ответь?
– Для чего? Чтоб тянулась слеза,
Чтобы люди могли пожалеть. . .*

*А спина? Что носил на спине?
Поднял в жизни когда-нибудь кладь?
– На спине? А зачем это мне?
Ведь спина для того, чтоб. . . лежать.*

*Ну а совесть? Как быть тебе с ней?
Жить всю жизнь у чужого огня?
– Ну и что ж? Разве столько людей
Одного не прокормят меня?!*

"Врет, что сама сочинила", – подумал Женя. Но круг бурно зааплодировал, и он захолопал вместе со всеми.

– Кто следующий? – каким-то хриплым, севшим голосом сказал Пим. Даже в темноте было ясно, что вожатый растерялся, не знает, что сказать Наташе.

Заговорил мальчишка.

– Меня, – сказал он, – зовут Владимир Бондарь. Мой отец служил на атомной подводной лодке. Случилась авария. Он умер от радиации. Похоронен в Мурманске. Награжден орденом Красной Звезды. Мама умерла от дизентерии.

– Что ты любишь? – слабым голосом сказала Аня.

Голос мальчишки переменялся. То он был каким-то неестественным, деревянным. А тут дрогнул, затрепетал.

– Больше всего, – воскликнул мальчишка, – я люблю море! Павел Ильич! Мы выйдем в открытое море?

Вожатый прокашлялся, проговорил бодро:

– Конечно, выйдем! Ведь не зря наша дружина называется "Морская"!

– А меня зовут Николай Пирогов. Я пра-пра-пра-правнук знаменитого хирурга Николая Ивановича Пирогова. И мои родители были врачи. Они уехали в Африку помогать больным неграм. Но оба заразились неизвестной болезнью. И прямо там, в Африке, померли. Я тоже буду врачом! И тоже поеду в Африку!

– Ты молодец, Коля, – сказал затвердевшим голосом Павел Ильич. – Ты настоящий молодец, Пирогов!

– А я, между прочим, тоже Ломоносов! – раздался в темноте тонкий голосок, и все засмеялись. Владелец голоска не обиделся, засмеялся вслед за остальными, а потом воскликнул: – Не верите, что ли? Ну посмотрите мои бумаги. В них все прописано. Я из Архангельска. И родом из села Холмогоры. Так что если хоть на тройку тянете по истории, можете сами подтвердить: там родился мой далекий предок. Михаил Васильевич! А я всего лишь Степан. Но тоже Ломоносов. Мы жили в колхозе. Только не в обыкновенном, а в рыбацком. У нас там рыбацких колхозов много. Суда свои. Килечку-то, небось, любите? Ну вот, мы из рыбаков. Ну, а рыбаки, известное дело, тонут. Целыми баркасами. Мамка с батяней и утонули. А бабушка потом преставилась. Я как раз море не люблю. Хочу выучиться на шофера.

Потом невидимая во тьме девчонка рассказала, что отец ее был егерем, а среди лесов, которые он охранял, на озерах селились лебеди, и вот лебедей стали стрелять браконьеры, егеря этот браконьеров не стиг, хотел отобрать ружья, и тогда его убили.

Женя слушал ее и ловил себя на мысли, что он знает это, где-то, кажется, читал. А может, про ее отца и писали, решил он, и запомнил имя девчонки – Соня Морошкина, чтобы подойти потом, спросить.

С каждым новым рассказом приближалась очередь Жени. Но с каждым новым рассказом нарастало невидимое, отчетливо уловимое возбуждение. Круг, ставший едва заметным во тьме, шевелился, разрывался, снова сливался. Возбуждение передалось и ему.

Женя снова и снова думал о том, что должен сказать. Точнее – о чем надо умолчать.

Ничего себе задачка! Умолчать требовалось все! Абсолютно все!

”Вот бы брякнуть им правду, – пришла ему безумная мысль. – Рассказать про ОБЧ, у которого есть почти собственный самолет. Про ма по кличке Пат. Что было бы, интересно знать, что бы произошло? Ну и забаву же выбрал себе!”

Он волновался, ощущая волнение круга, реактора, соединенного из живых детских тел, из голубых рубашек, шортов, пилоток, из белых, не загорелых пока ног, и не мог понять самого главного – причины общего возбуждения. Он только чувствовал. Лишь ощущал.

Он думал о себе, думал, как выкарабкаться из затруднения. Но каждый, кто тут сидел, тоже думал о себе. Это была странная, вполне взрослая игра. В реакторе детских душ разгорались невидимые миру страсти. Каждый вспоминал себя. Думал о себе. И еще – о своих близких. Шорох превращался в гул. Страсти были плохо управляемы в этом реакторе. Они рвались наружу. Говоривших почти не слушали. Павел Ильич был вынужден крикнуть:

– Тише! Тише!

Когда Женя поднялся, ему помогли сказать. Вернее – не сказать.

Не напрягая голоса, не стараясь перекрыть шум, он проговорил:

– Я учусь в шестом классе. Занимаюсь в секции плавания. Люблю читать книги. Увлекаюсь радиоаппаратурой.

Тут же поднялся его сосед. Потом девчонка. Потом еще один пацан.

Александр Макаров приходился дальним родственником русскому адмиралу; Полина, фамилию Женя не разобрал, была дочкой монтажника, который геройски убили при строительстве Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, а у Джагира все погибли во время землетрясения где-то в Средней Азии.

На этом мука кончилась.

С каким-то стоном круг распался, и напрасно кричал бодрые слова вожатый Метелин – его никто не слушал, народ бурлил, но вовсе не обсуждал услышанного, напротив, казалось, все хотят поскорее забыть то, что только узнали, – мальчишки толкались, смеялись, говорили о разной ерунде, девчонки, понятное дело, не отставали от них, и выходила полная неразбериха, настоящий ералаш, который состоит из пустых, ничего не значащих фраз, смешков, ужимок, возгласов, восклицаний, шуток и прибауток. Каша, только варится она не из крупы, а из ребят.

Женя отошел в тень кипариса, потом отшагнул еще глубже, повернулся и побежал к морю.

С воды тянуло очищающей свежестью, приятно пахло гнилыми водорослями. Бриз нагонял волну, мелкую, но частую, и она часто, в такт сердцу плескалась о сваи пирса.

”Зачем я полез сюда?” – прошептал себе Женя.

Его собственная жизнь совершенно не походила на жизнь этих ребят, и он прекрасно мог не знать об их существовании. Ведь есть же в науке непересекающиеся плоскости, вот и он мог бы себе жить, вовсе не пересекаясь с этим народом, пусть это сплошь дети геройских родителей.

Его родители, его па и ма вовсе не геройские люди, вполне обыкновенные, хотя, может, и влиятельные в своем роде, а главное – они живы, и это отделяет его от здешних ребят. Они живы, и слава богу, что же теперь ему, винить себя за то, что они живы, винить себя подвигами павших родителей этих ребят? Какая-то выходила путаница. Неразбериха.

Ясно одно: играючи исполнить свою роль ему не удастся. Уже сейчас он чувствовал себя напряженным, расстроенным.

Как с этим сладить? Не замечать? Плюнуть? Махнуть рукой? Пропускать мимо глаз эту ребятню, девчонок и мальчишек? Но это же невозможно! Их так много в отряде, не говоря про дружину! Про весь лагерь!

Женя вздохнул. Да, вмазался, нечего сказать!

Возле спален слышались восклицания. Вожатые загоняли народ спать. Лучше не привлекать внимание к своей персоне.

Женя вздохнул, поднял три камушка на прощание и кинул их в море, стараясь, чтоб вышли блинчики.

Первые две попытки не удались. Только третий заплесал по поверхности. Значит, еще ничего, не так плохи дела.

* * *

Павел погасил свет в спальне, вышел в прихожую, присел на скамеечку возле телефона.

Как все непохоже! Никакого возбуждения, даже вялость. Покорно разделись, легли – тихи, молчаливы. . . А какие трагедии! Какие судьбы! Как теперь он должен обращаться с ними, разговаривать? Хочешь не хочешь, а в подсознании всегда будет этот фон. Говоришь с одним, командуешь другому, просишь третьего, а услужливая память всякий раз тебе – нате! – их трагедии вытаскивает. Не дрогнет ли твой голос, товарищ вожатый, не захочется ли тебе вдруг изменить правилам и традициям, не ударишься ли ты в жалость – а ведь жалость, утверждал классик, унижает человека. . .

Дверь в спальню он притворил неплотно, был возбужден взрывом откровений, даже настроен, поэтому хорошо расслышал слова, сказанные в полумраке спальни, и явственно различил голос Генки.

– Ну что, свистуны, – сказал Генка, – довольны?

Кто-то неуверенно хихикнул.

– И сами, небось, поверили в собственный свист?

– Какой свист? Какой свист? – это был голос Пирогова.

Но Генка опять рассмеялся, только теперь его смех звучал напряженно.

– Пирогов! Ломоносов! – кого-то передразнил он. – Тоже мне! А правнуков Пушкина тут нет? – Он изменил голос, сказал пискляво: – "Я помню чудное мгновенье!"

Теперь в спальне рассмеялись свободно, будто даже облегченно, только Пирогов не сдавался, да слышался голос Ломоносова:

– Зря дразнишься! Зря!
– Я не дразнюсь! – сказал Генка. – Я вас разоблачаю, врали несчастные!

– Вот тебе! – воскликнул Пирогов, и Павел услышал удар подушки.
– А-а! – воинственно воскликнул Генка. – Правда не нравится!
Две-три секунды, и в спальне открылась бойкая канонада. Народ сражался подушками, они хлопали друг о друга, издавая тугие звуки, перемежаемые ребячьим кряхтением и междометиями.

Павел возник в дверях, при свете слабой дежурной лампочки окинул взглядом подушечье побоище, кинулся к выключателям, врубил главный свет.

Битва прекратилась – на кроватях, в проходах между койками и в главном проходе замерли мальчишки в трусах – все с подушками. Мгновение они еще смотрели на Павла, возникшего будто строгое привидение, а в следующую секунду уже лежали под одеялами. Все, кроме двоих. Эти двое продолжали биться, словно рыцари на ристалище. Валтузили друг друга подушками посреди спальни, усталость уже давала себя знать, да и подушки все-таки что-то весили, поэтому почти после каждого удара бойцы валялись набок или, по крайней мере, их шатало, удары слабели, но ярость – ярость не исчезала.

– Прекратите! – крикнул Павел. – Прекратите!
Пришлось подбежать к рыцарям, встать между ними, ухватиться за подушки – их оружие.

Противники остановились, тяжело дыша, в глазах их светилась неподдельная ярость. Подушка Генки была вымарана кровью, а на носу Пирогова алела царапина – то ли оцарапала обломанная пуговица от наволочки, то ли еще за что зацепился в пылу боя.

– Что происходит? – крикнул Павел. – А ну в постель!
Генка нехотя ушел к себе, Пирогова же пришлось повести в умывальник, прижечь царапину перекисью водорода.

Колька сопел, на попытки Павла заговорить с ним не отвечал. Он отступился – впрочем, толковать было не о чем. Все и так ясно: они врали. Врали!

Павел отправил Пирогова в постель, прошел по спальне, нарочно не сдерживая, не приглушая шаги, объявил, чтобы никто не прослушал:

– Спать! Я в прихожей!
И притворил дверь, на этот раз плотно.
Он не успел присесть, как ворвалась Аня.

– Павлик! Помоги! – шептала она, а ее глаза светились отчаяньем.
Павел выскочил вслед за напарницей в коридор, кинулся рысьими шагами по полутьме и едва не пробежал мимо девчонки, стоявшей в трусиках и майке с видом независимым и спокойным.

– Вот, полюбуйте! – заговорила возбужденно Аня. – Так называемая Наташа Ростова!

– Ну и что, – ответила девчонка. – Я же вас выручала!
– В чем дело? – спросил Павел, разглядывая девочку.

Была эта девочка красива, но в красоте ее уже исчезла детскость. Павел испытал острое сожаление от пришедшей ему мысли: девочка



похожа на цветок ранней вишни, такой цветок распускается раньше других, и в этом есть какой-то риск природы, неосторожность поспешности, ведь если весна дружная, ровная, то все хорошо будет, первые плоды даст именно эта вишня, а если ударят заморозки – вот тут-то и скажется риск поспешания, замерзнут лепестки, и куст останется бесплодным.

Павел почувствовал какую-то опасность в этой девочке, в этой ее красоте. . . Губы полные, припухлые, налитые малиновой яркостью, брови вознесены высоко, и оттого кажется, что девочка смотрит надменно, презрительно, будто она хоть и ребенок, а гораздо старше многих взрослых, на щеках утонченный румянец – им покрыты только скулы, и эта розовость тянется к вискам, глаза карие, бархатные, очень глубокие, взгляд отводит, будто боится встретиться – но не за себя боится, а за того, на кого смотрит. . .

– Вот! – продолжала Аня голосом возбужденным, переполненным неясной страстью, и Павел вдруг подумал, что Аня ярится неспроста, что тут есть еще какая-то дополнительная причина, кроме вины девочки. Может, эта ранняя зрелость бесит ее?

– Вот! – повторила Аня. – Я сразу поняла, что тут что-то не то! Нет у меня по списку Наташи Ростовой! Есть просто-напросто Зина Филюшкина! И когда я стала объяснять ей, мол, врать – стыдно, она мне сама же откровенно сказала, что и остальное все выдумка. Про погибшего геройски отца! Про мать, которая умерла!

– Ой, что вы говорите! – снисходительно рассмеялась девочка. – Врать – стыдно! Да врать, если хотите, полезно. Я же вам хотела помочь. Видели, как все ребята сразу ожили! Они-то меня поняли!

Она совершенно не смущалась, эта Зина Филюшкина, говорила смело, уверенно, как там, на улице, только вот глаза все отводила.

И все-таки она посмотрела на Павла.

Этот взгляд обжигал – столько было в нем взрослой нетерпимости и еще – ненависти. Губы Зины улыбались, а глубокие бархатные глаза с недоуменной ненавистью взирали на Павла, на одного из двух взрослых и вроде бы разумных людей, пытающих еще одного, третьего, человека, который стоит тут перед ними, как дитя – в трусах и майке, словно на какой-то стыдной экзекуции.

– Врать – полезно, – сказала Зина Филюшкина твердым, уверенным тоном. – Врать – замечательно. Врать – необходимо.

Произнося нравоучительно эти слова, девочка повернулась и неторопливо пошла к спальне.

– Как ты можешь! – воскликнула в ярости Аня, но Павел остановил ее, взяв за локоть, чтобы она не натворила глупостей, не кинулась вслед за Зиной.

Девочка даже не заметила этого восклицания.

Она полуобернулась и спросила:

– А вы что хотите, чтобы я сказала правду? От этой правды будет несладко.

Зина остановилась, опустила голову и, не оборачиваясь, не меняя голоса, все так же уверенно и снисходительно сказала:

– Все я правильно рассказала, только отец мой не полковник из милиции, а тот самый бандит!

И двинулась вперед все тем же ровным шагом.

* * *

Проснувшись, Женя испытал острое чувство одиночества.

Народ жил неровной утренней колготней – один едва только потягивался, зато другой сосредоточенно мчался по неотложным делам, всем своим видом даже уходил в важную заботу – не замечая окружения, его издевок и усмешек; третий уже бодро бил кулаками в бока подушки, взбивал ее, и она становилась шире и сдобнее, чтобы украсить таким помпончиком строгую пионерскую кровать; четвертый надевал шорты; пятый пытался сделать стойку на голове прямо в постели, но это у него плохо выходило, и, поддразниваемый соседом, он снова и снова грохал ногами по матрацу так, что звенели пружины. . . Сколько было ребят в палате, столько было и движений, жестов, действий, забот, и все это, производимое в строго ограниченные минуты, образовывало хаос, который тем не менее был упорядочен конечной целью, результатом, когда все кровати оказывались более или менее аккуратно заправленными, а сами ребята готовыми к зарядке.

Один Женя лежал, бесстрастно наблюдая утреннюю суету, не двигаясь с места и испытывая неведомо откуда накатившую тоску.

Что, собственно, случилось, попробовал он спросить самого себя, попытался разобраться в собственных чувствах, но послушного ответа не приходило, как являлись они прежде, пусть ложные, из каких-то темных, почти океанских глубин собственной души, но верные и надежные, точно преданные слуги.

Душа эта, пожалуй, даже растворилась шире нынешним утром, чем всегда, но и только – из нее веяло сухостью и пустотой, было как-то мелко там, в душе, точно он топчется в нечистой лужице и никак не хватает духу ступить дальше. . .

Неожиданно утренний хаос, окружавший его, показался Жене чем-то единым и бодрым, но эгоистично не приемлющим его, не замечающим одного мальчишку, который лежит и лежит себе в постели, а остальным нет до него никакого дела. Колготня оплывала его, точно стеарин тающей свечки, обходила, всеми силами подчеркивала его одиночество, его непохожесть на остальных.

Наконец он приказал себе подняться, едва шаркая ногами принялся двигаться, влился в общий хаос. Это не помогало. Тяжелое настроение, какой-то мрак подавляли, душили, наклоняли голову.

В детстве человеческие настроения меняются часто, порой достаточно слова, даже дружельюбного взгляда вполне хватает, чтобы жизнь помчалась скорее, точно парусный кораблик в весеннем ручье, погоняемый теплым ветром.

Женя двигался рядом с Генкой в строю к столовке, и Генка бодро о чем-то болтал, ему улыбались просто так, без всяких причин, как одному из многих, как одному из этого равного братства, но слова и улыбки

словно бы рикошетили от Жени и вовсе не радовали его, потому что они принадлежали не ему, а кому-то другому, пусть в его, Женином, обличье – да, ему улыбались, как одному из них, а он был совсем другой. Он был чужак. . .

После завтрака двое мальчишек и две девочки должны были первый раз дежурить на спасательной станции, и Женя обрадовался, что его напарником стал Генка. Они шли хоть и не в ногу, но все-таки строем, впереди, в пяти шагах, – девчонки, громко говорившие между собой, и по голосу в той, что повыше, Женя узнал вчерашнюю Наташу Ростову.

Он еще не читал "Войну и мир", но фильм по телевидению он все же видел, один лишь раз видел, и это имя – Наташа Ростова – было ему знакомо.

Женя шел, вглядываясь в затылок и длинную шею Наташи, а Генка балабонил себе, восхищался морем. Вторая девочка была толстушка Катя Боровкова – ей все никак не шагало спокойно, она оборачивалась, отходила в сторону, норовя пропустить мальчишек вперед, но Наташа, которая была выше Кати, брала ее за руку и притягивала к себе назад.

На спасательной станции всегда дежурил быстроходный катер, а при нем существовала команда из двух или трех взрослых парней, на дне катера лежали акваланг и маска на случай, если надо будет доставать кого-нибудь прямо с морского дна, а дежурным пионерам полагалось смотреть вдоль пляжей, наблюдая, не заплывает ли кто за предупредительные буи. Всем четверым раздали бинокли, но кроме этого на верхней площадке стоял большой наблюдательный прибор с огромными линзами, который крутился во все стороны и сквозь который было видно еще дальше, чем через бинокль.

Командовал всеми "старик Хоттабыч", так сразу обозвал этого деда про себя Женя. Длинный, сухощавый, с редкой бородкой, того и гляди скажет: "Тох-тибидох-тибидох!" Но разница все же была. Старик этот говорил голосом не дребезжащим и скрипучим, как у Хоттабыча, а на редкость молодым, задиристым и бодрым.

Что ж, наблюдать так наблюдать!

Первое время все четверо даже молчали от напряжения и внимательного наблюдения. День был волшебный, все дружины купались, полно народу и на пляже для персонала, поэтому требовалась повышенная бдительность, как объяснил Хоттабыч.

Женя разглядывал разноцветные шапочки на бирюзовой поверхности воды, потом оглядывал фигурки на пляже, поднимал бинокль выше, к кипарисам, к вершинам гор, к небу.

То и дело в перекрестие бинокля влетали чайки, приближенные оптикой. Женя вглядывался в головки птиц, в их глаза. Ветер легко держал размашистые, искусно сделанные крылья, птицы парили, казалось, без всяких усилий, а налетавшись, садились на воду. Одна чайка приблизилась совсем близко к Жене, зависла прямо перед наблюдательной вышкой, прямо перед биноклем, и он вздрогнул от взгляда чайки – она посмотрела внимательно на него и очень приветливо, чистенькая, доброжелательная птица поглядела сначала одним глазом,

потом, повернув голову, другим, и Жене неожиданно показалось, что это прилетела Пат и спрашивает его, как он живет.

Ма, па, бабуленица! Это надо же, он еще ни разу не вспомнил их по-человечески. Нет, он все же думал о них, но как-то мельком, между прочим, каким-то задним сознанием, а так, чтобы поговорить с ними, вспомнить как следует их привычки, их слова, их поступки. . .

В конце концов он летал по стране не раз без всякого родственного сопровождения, и в Москве был, там его встречали друзья па, и в пионерском лагере комбината под Сочи, и там он скучал тоже, если судить честно. Но он всегда был уверен в себе тогда, хотя и лет ему было меньше, чем теперь. А сейчас – что с ним происходит? Почему ему так неуютно? Почему он не уверен в па и Пат, и даже вот в чайке померещилась ма с ее сумасшедшей доброжелательностью.

– Курнуть бы! – сказал за спиной Генка, и Женя опустил бинокль.

– Ты куришь? – не скрывая своего возмущения, спросила Катя.

– Эх вы, детвора! – вздохнул Генка, усаживаясь на лавочку и закидывая ноги в кедах на самую верхнюю поперечину железной оградки вышки.

– Да и я бы не против, – сказала Наташа Ростова.

Теперь настала пора удивляться Жене. Он посмотрел на девчонку внимательнее и перехватил ее нахальный, вызывающий взгляд.

Она была красивой, эта дочка героического отца, но красота ее не понравилась Жене. Эти яркие губы, яркие глаза были какими-то преждевременными для двенадцати лет. И грудь у нее была слишком взрослой, очень уж пышной для таких пионерских лет.

Женя отвел взгляд первым – она продолжала нахально тарашиться, разглядывая его.

– Наташ! – спросил Генка свободно, ни чуточки не смущаясь, – вот уж они-то были одного поля ягоды. – Чего это ты вчера врать взялась?

– Ишь какой догадливый! – неожиданно взъерепенилась девчонка. – Меня, между прочим, Зиной зовут.

– Вона как! – восхитился Генка. – И тут наврала!

– Запомни! – по-взрослому наставительно проговорила Зина-Наташа. – Вранье полезно, потому что оно помогает людям. Вот ты небось ни разу не соврал?

– Я-то? – захохотал Генка. – Да разве можно прожить без вранья?

– То-то же! – все так же наставительно, будто учительница, которая наконец-то дождалась правильного ответа от обалдую-ученика, сказала Зина и снова вытарашилась на Женю. – А ты, Катя? – спросила она, не отрываясь от Жени и не дожидаясь ответа, произнесла колющим голосом: – Зато вот Женечка у нас никогда не врал! Невинное дитя!

Женя вспыхнул, опустил бинокль и пристально посмотрел на Зину. Чего-то она хотела от него, чего-то добивалась и при этом не знала никакого неудобства, никакого стыда. Нахалка какая-то!

Жене хотелось что-нибудь брякнуть в ее стиле, но он сдержал себя: ведь это означало стать с ней вровень, связаться с девчонкой! Это было не в его характере.

Не отводя взгляда от Зининых глаз, он избрал самое верное: задачу.

Всяких там нахалов и нахалок надежней всего отшить, задав простенькую задачку на сообразительность.

– Как ты думаешь, что будет, – сказал он спокойным, даже чуточку усталым голосом, – если сейчас закричать: "Человек тонет!"? А в самом деле – никто не тонет.

– Будет дурость! – уверенно воскликнула Зина.

– Верно, дурость! – кивнул Женя.

– А если человек начнет тонуть на самом деле и ты не крикнешь, не поднимешь тревогу?

– Подлость! – вскипела Зина.

– Вот видишь, – сказал Женя, – что получается? Дурость и подлость. И ты возмутилась! Сперва дуростью! Потом подлостью! Но ведь в том и другом случае – это вранье! Выходит, вранье тебе не нравится?

– Вот здорово! – засмеялась Катя.

– Как он тебя воспитал, а? – прибавил Генка.

Зина залилась румянцем, глаза ее прямо запылали.

– Кто-то тут про детвору разорялся, – сказала она отвердевшим, вовсе не девчоночьим голосом. Кивнула Генке, не глядя на него. – Ты, как-жестся?

Она все смотрела на Женю, никак не отводила глаза, ему показалось, еще немного, и Зина вцепится в него. Но это было бы по-детски. Так поступает детвора. Зина же говорила взрослые вещи.

– Может, ты и умный, – говорила она жестким, напряженным тоном, – но твои примеры – для детворы! Понимаешь меня, умник? Ты вот лучше скажи-ка мне: кто твои ближайшие предки? Как поживают? Где они?

Она поднялась. Ее тело напряглось.

– В тюрьме? Спился? Их лишили родительских прав? Или их вообще нет у тебя? И ты – дитя народа?

Она истерично захохотала, и Катя Боровкова бросилась к ней, обняла ее, хотела усадить на место, но Зинка вырвалась, крикнула Жене:

– Чего молчишь? Скажи! Скажи, правдивый человек.

И тут заорал Генка.

Странное дело, он смотрел то на Зинку, то на Женю, а орал совсем невпопад:

– Тонет! Человек за бортом!

Возник Хоттабыч. "Тох-гибдох". Вознесся по волшебному мановению с нижнего этажа:

– Где? Где?

Катер со спасателями уже тархтел внизу, давал круги вокруг вышки, будто застоявшаяся гончая перед охотой.

Генка протянул руку вдоль пляжа, Хоттабыч припал к прибору с огромным глазом, лихорадочно покрутил его, потом разогнулся и спросил всех сразу:

– А за ложную тревогу знаете что бывает?

Генка помотал головой.

– Га-упт-вах-та! – по слогам произнес Хоттабыч и поднял палец.

Странное дело, он не разозлился и не заорал. Внимательно посмот-

рел на Генку, на Катю, на Женю. Взял за плечо Зину, сказал:

– Ребята, бросьте вы в самом деле! Посмотрите – какая красота кругом! Или вам море уже надоело?

Он перегнулся через перила, крикнул спасателям:

– Отбой!

Винтовая лесенка, по которой он уходил, походила на воронку, и в этой воронке длинное тело Хоттабыча убывало медленно, будто он не проходил в узкое горлышко. Когда над поверхностью площадки осталась одна голова, старик повернулся к ребятам и погрозил пальцем. Ребята рассмеялись. Кроме Зинки.

Та стояла все еще разъяренная, глаза ее опустошенно смотрели на берег, и Женя подумал, что эта девчонка чем-то похожа на вожатую Аню. Такая же тигрица, только маленькая пока, да еще незагорелая. Вырастет, будет точно такой.

А Зинка повернулась к нему и сказала:

– Хорошо. Будь по-твоему. Сегодня перед отбоем снова устроим вечер знакомства. Только настоящий. Все скажут правду!

* * *

Прежде Павел никогда не чувствовал времени – ни бега его, ни остановок, просто мысли об этом не приходили ему, как не думает о сердце абсолютно здоровый человек, и только после ранения, очутившись здесь, в лагере, он начал ощущать тянущую, сосущую под ложечкой тоску, испытывать непостоянство происходящего, временность окружающего. Конечно, к этому подталкивала необжитость холостяцкой – на двоих – комнатки, вроде и обставленной достойно – лагерь все-таки был солидный, детская здравница, – а все же холодной, неудобной, без души, да и когда тут завязаться уюту, коли помещение это, комнатка, предназначена только лишь для сна, исключительно для отдыха, когда валишься в кровать, не чуя ни рук, ни ног, поздно вечером, чтобы вскочить через шесть часов – не проспавшись, не вытолкнув из себя бесконечной физической усталости – и бежать дальше, подтолкнув в себе отяжелевший маятник: давай, давай, некогда расслабляться, вчера ночью ты ушел от едва утомившихся ребят, чтобы поутру быть возле постелей в последние мгновения их сна. . .

Да, эта гонка – она способна превратить вожатого в механизм, а если к тому прибавить, что в вожатстве всесоюзного лагеря есть своя заданность – один и тот же спектакль ставится всякую новую смену – с прологом, когда рекомендуются такие-то и такие-то, вполне определенные слова и подходы, с развитием сюжета, где занятия, купание, сборы, вечера, стенгазеты, походы, способные оказаться похожими друг на дружку, точно близнецы, только захоти этого, – а такой технологизм не возбраняется, напротив, это поощряется и даже имеет научное название: методика работы в пионерском лагере, – так что только пойдя на это разок, другой, и ты станешь хваленым всюду профессионалом – органчик, в двадцать пять, в тридцать лет симулирующий пионера, этакий мордovorот в коротеньких штанишках, с галстуком на груди и опти-

мистической дурацкой физиономией, не меняющей брызжущего радостью выражения ни при какой погоде. Так сказать, щедринский персонаж новых времен. Еще и сил сколько надо, чтобы не сковырнуться на профессионала – нет страшней этого слова применительно к детям. Пусть уж лучше оказаться посмешищем у лагерных мастеров, только бы не взялись высмеивать тебя ребята. Самое страшное наказание – усмешки ребят над вожатым. А из всех возможных усмешек – тайный смех и невидимые издевательства.

Павел видел и, увы, не раз, как беленятся взрослые люди, узнав, что дети передразнивают их! Ах, сколько ярости, сколько несдерживаемой злобы и наотмашь хлещущей мести в проявлении этого стыдного чувства! Узвленное человеческое самолюбие прежде всего вспоминает не о справедливости, не о собственных ошибках, а о неравенстве – да, да! О неравенстве взрослого и ребенка, когда дитя поперед всего должно помнить, что оно дитя и всего лишь дитя! Что между правами взрослого и ребенка о правах ребенка надо думать в последний черед, потому как у взрослого прав всегда больше, и нет, не может быть никаких обстоятельств, выравнивающих взрослых и детей, даже такого обстоятельства, как справедливость! Да, не раз и не два видел Павел взбешенных вожатых, испытывая чувство горестного стыда за весь взрослый мир перед малышом с опущенной головой, которого распекал разъяренный мужчина или, того страшней, разъяренная женщина с пионерским галстуком на яростно колышущемся бюсте, и малыш этот имел только одно право – право опущенной головы, право жалкого лепета, детских слез, право невозражения – даже жестом, не то что словом. Как скоро, как поспешно рушились копеечные взрослые мостики, как стремительно возводились стены между взрослыми и детьми, и делали это все те же мужчины и женщины, которые еще вчера со слезами в глазах утверждали, будто пионеры и они, вожатые, одно целое, один отряд, одна дружина и беда каждого – это беда всех, а радость общая предназначена каждому из пионеров, и в этом новом единстве – все товарищи и все равны, взрослые и дети.

Потом, на собраниях, Павел с яростью и даже злобой бросался на детских распекаев. Формально его поддерживали, мол, да, если ребенок передразнил вожатого, значит, виноват взрослый. Но эта ясная мысль всегда окружалась частоколом оговорок: и все-таки детям нельзя по-такать, их надо воспитывать, требуется строгость, да еще какая! Но Павел не унимался, и постепенно с ним перестали спорить и стали просто побанаваться: ведь он был фронтовик!

Эта аргументация постепенно дошла до него, и он жутко расстроился. Что же, выходит, раз фронтовик – значит, полоумный, скаженный, не в себе? Ненормальный, что ли? Впрочем, скоро ему передали еще одну кличку, придуманную вожатыми-девчонками. Его, оказывается, прозвали комиссаром полиции нравов. Явное влияние зарубежного кинематографа, который обожали взрослые гражданки с пионерскими галстуками на груди. Он расхохотался, узнав о новой кличке, и успокоился, решив, что взрослые распекаи – тоже временная беда, как и этот лагерь для ребят, все-таки чудесный, сказочный, волшебный, где эти

распекаи встречаются, конечно, но все же не так уж часто, и Павел, пока он тут, не даст им житья. . . Пусть боятся фронтовика и комиссара полиции нравов.

А все же больше всего раздражало, вселяло ощущение непостоянства, а отсюда и временности его, Павла, участие в этой жизни. рваность знания, что ли, детских судеб. В школьных характеристиках, в рекомендациях дружин – почти ничего, кроме расхожей фразеологии – еще один взрослый грех; это же надо научить ребят такие составлять бумаги, впрочем, большинство документов хоть и написано детской рукой, но под учительскую диктовку – еще хуже! – и из этих словесных пустот, из этих наборов общих пассажей ничего про живых ребят не узнаешь, и вот получается явная дребедень – приезжают дети в лагерь, возбужденные, счастливые, однако же непростые – кто теперь прост и сразу ясен? – и с ними приходится с ходу работать, сбивать в коллектив приехавших из разных мест и ничем не объединенных, и вот в считанные, можно сказать, часы, изволь их соединить, да еще так, чтобы вышло не просто хорошо, а здорово, чтобы дружина работала точно новенькие часы, без всяких остановок, ЧП, дни летят, и только к концу смены тебе удается если и не узнать до конца, то хотя бы почувствовать своих ребят.

Павел сознал: это чувствование много значит для самих детей. Дома у них осталось всякое, а тут это всякое как бы забыто, и всем выдан чистый лист – пиши себе заново, пробуй, никому тут, в этом радостном лагере, нет дела до твоих прошлых прегрешений, как, впрочем, и заслуг и достижений – все можно и нужно начать заново, и тот, кто стоит чего-то сам по себе, может подтвердить собственные домашние заслуги – пожалуйста, а если у тебя не выходило раньше – давай-ка попробуй здесь!

Все равны тут перед морем, перед ясным мальчишеским товариществом и перед вожатым, если он смотрит на тебя, подбадривая. Но к этому требовалось еще прийти. Через долгие, перегруженные событиями дни смены. Конец, а особенно расставание возмещали многое, в конце Павел всякий раз явственно ощущал, что начальная недостаточность знаний о детях только помогла ему – помогла относиться ко всем без предвзятостей, без предубежденности, это равенство выпрямляло и ребят, некоторые самолюбцы, всякие там сверхотличники и суперактивисты порой обижались, даже шлепались, больно ударялись своими самолюбиями о гранит равноправия, который был верховной истиной в отряде Павла, но это оказывалось благом для них же самих, всем приходилось утверждаться сначала и на равных, так что справедливость торжествовала без всяких там сегрегаций.

И все же всякий раз в начале смены Павел испытывал острую недостаточность знаний о ребятах, доверенных ему лагерем.

И еще одна мука преследовала его: тот маленький афганец с автоматом в руках. Тот маленький покойник, чей прах зарыт неизвестно где. Мальчишка с автоматом нет-нет да являлся к Павлу в его усталые сны, и Павел просыпался снова раненым.

В то утро он опять со страхом выскочил из сна, спасаясь от черного зрачка автоматного ствола. Впрочем, как-то он все же знал, что это сон,

испытание не повторится, хотя автомат направлен в его сторону, и единственное, за что он боялся, так это за мальчишку, изготовившегося к стрельбе.

Страхивая с себя наваждение, оглядывая комнату, всматриваясь в море, которое шелестело, посверкивало за тюлевой занавеской змеиной живой кожей, он решил, что на этот раз должен позвонить в один, другой, третий детский дом и узнать побольше про ребят из необычной смены.

* * *

После вахты на спасательной станции полагалось вернуться в отряд, доложить дежурному о прибытии и жить дальше по общему плану, но, как только они сошли на пляж, Зинка сказала:

– Давайте удерем!

– Куда тут удерешь? – удивился Генка.

– Зин! – проканючила Катя. – Еще выгонят!

– Нас не выгонят! – уверенно усмехнулась Зинка. – Пожалуют. А удрать всегда есть куда! Если вы не трусы!

Она говорила всем, а смотрела только на Женю, и ему стало неожиданно жарко от этого до нахальства прямого взгляда.

– Конкретнее! – попробовал он осадить эту наглую Зинку. – Куда бежать, в самом деле? Вокруг забор.

Но Зинаиду было совершенно невозможно сбить с толку, она уже, похоже, раскусила главный Женин прием, его видимое хладнокровие, рассудительность, с помощью которой у людей, стоящих на ногах твердо, отбивают всяческую спесь.

– Как куда? – пожала она плечами, все не отрывая взгляда от Жени.

– Раз есть забор, значит – за забор.

Похоже, она была заправской предводительницей в своем детдоме – велела стать парами, себе без всяких обсуждений выбрала Женю, они пошли первыми, две пары, друг за другом, в ногу, смело подняв головы, глядя открыто в глаза встречным взрослым. Словом, четверо дежурных идут не толпой, а строем по какому-то важному делу.

– Ну-ка, – сказала Зинаида, – еще и поприветствуем вот эту старушку, наверное, она кладовщица, три-четыре!

Они поглубже вздохнули и выкрикнули хоровое лагерное приветствие: – Всем-всем-всем! Добрый день!

Старушка в сером халате, семенившая навстречу, то ли действительно кладовщица какая, то ли подсобная работница, шарахнулась от неожиданности, потом скомканное ее личико расправилось в улыбке, она остановилась позади, запричитала вслед:

– Ой, дитятки, какис же вы культурные, воспитанные, спасибочки, а еще говорят, детдомовские!

– Детдомовские, баушка, детдомовские, – гаркнул, не оборачиваясь, Генка, и они все четверо чуть не лопнули от хохота, едва не рассыпав четкий строй.

– Не встретить бы только наших, – волновалась Катя, повторяя одно и то же.

– Скажем, что идем по заданию дежурного на компрессорную станцию! – сказал Женя.

– А зачем? – удивилась Катя.

– За компрессами! – ответил он, и строй снова зашатался во все стороны. – У Наташи Ростовой, – не унимался Женя, – заболела голова после вчерашнего первого бала.

Зинка смеялась, как и все, но вот глаза у нее были холодные, даже больные. Она смотрела на Женю долгим внимательным взглядом, когда смеялась, и он пожалел, что вспомнил про Наташу Ростову.

Все катилось как по маслу. Встречные взрослые приветливо отвечали на дружное приветствие озабоченной четверки, перебирали, пожалуй, ребята, можно просто поздороваться и строем ходить вчетвером вовсе не обязательно, но у кого и когда вызывала подозрительность или хотя бы осуждение чрезмерная вежливость и дисциплинированность.

Они отшагали немало и без всяких препятствий. Появился железобетонный забор. Одна из тысяч асфальтовых лент, которыми были расплосованы рощи и поляны прекрасного парка, тянулась вдоль ограждения. Уклонившись сперва к горам, ребята вновь возвращались к морю – оно уже мелькало, серебрилось сквозь деревья и кусты.

– Пора, – скомандовала Зинка.

Сначала наверх вскарабкался Генка. Женя помогал девочкам. Они сняли сандалеты, становились сначала на колено Жене, потом на плечо, он разгибался, стараясь глядеть в сторону, а Генка помогал им перебраться на забор. Во всем этом не было, пожалуй, ничего необычного. Катька сопела куда-то Жене в ухо, норовила свалить его набок своей невозможной тяжестью, будто она не из мяса и костей, как все люди, а каменная. Настала очередь Зинки.

Ну и дурная девочка! Вместо того чтобы лезть, да поскорей, она уставилась на Женьку. Стояла перед ним и глазела во все шарики.

– Ну! – поторопил он.

Она перекинула сандалии через забор, даже не глядя, куда кидает, подошла вплотную к Жене и легко поставила ему ступню на колено.

– Выдержишь? – шепнула она.

Короткая плиссированная юбочка съехала с бедра, открывая ногу до самого паха, и Женя вдруг – опять впервые в жизни! – почувствовал неизвестную прежде манящую запретность этих ног, этой кожи, которые совершенно отличались от всего, что он знал раньше о девчачьих ногах – в бассейне или же здесь, на пионерском пляже.

– Давай скорей, – грубовато подхлестнул он Зинаиду и, отвернувшись в сторону, точно так же, как и от толстой Катьки Боровковой, подхватил ее за бедра, помог утвердиться на плечах, распрямился.

Была ли она легче Катьки? Он совершенно не понял этого. Впрочем, он ничего не понял. Катька казалась каменной, а тут он не почувствовал ничего – какие-то легкие движения, и Зинки нет, Генка протягивает руки с широкого столба.

По ту сторону лагеря они спустились так же, только внизу теперь стоял Генка, который балагурил, болтал и своей болтовней помог Жене скрыть остатки смущения.

Вот только смотреть на Зинку ему не хотелось. Он пялился на море, на дикий пляж, на горы, будто это все было ему, ох, как интересно, хотя пляж был хуже, а море точно таким же, как за забором, в лагере, и сиреневые горы, конечно же, не изменились от того, что четверо пионеров перелезли через забор – ради чего, ради какого черта?

А Зинка взбесилась.

Заголосила, заблеяла какую-то дурацкую песенку, даже засвистела, так что здоровые парни, лежавшие на другом краю пляжа, разом подняли головы и посмотрели в их сторону. Но парни резались в карты, им было не до мелюзги в пионерской форме, вылезшей из-за забора.

Вообще все это было глупостью с точки зрения Жени, выходило за пределы здравого смысла. Побег из лагеря считался чрезвычайным происшествием самого высшего порядка, а они сбежали, чтобы тут же, под забором, улечься на дикий пляж – бессмыслица какая-то. Ну хоть бы еще отошли, так нет, Зинка тут же стянула с себя юбку и матроску, оказалась в трусиках и лифчике, в одном белье, словом, стала раздевать Катьку, но та противилась, верещала, так что здоровые парни опять поглядели в их сторону и засмеялись, похоже, сказали какую-то гадость.

А Зинка будто ничего замечать не хотела. Легла на живот и велела Кате расстегнуть бретельки на лифчике, чтобы, видите ли, спина загорала ровно. Дурочка, она подражала взрослому женщинам, но это подражание, все эти движения, жесты выходили у нее как-то грубо и резко, а оттого выглядели нагло, бесстыже. Похоже, Зинка хотела чего-то доказать – только вот кому? им, мальчишкам? себе? но уж никак не Кате Боровковой! – устраивала какое-то копеечное представление, дешевый театр.

Она положила голову на руки, будто бы замерла, нежась, но Женя видел, как напряжено все ее тело, ее спина. Края лифчика, точно крылышки, распластались на гальке, и Женя увидел нежно светлеющую в тени грудь, ее часть, самое основание, приплюснутое тяжестью тела.

Так вот ради чего весь этот спектакль! Чтобы они посмотрели на нее! И подумали бы, что она, Зинка, почти взрослая!

Господи! Ну и дура!

Женя сбросил шорты, плавки "Аидас" остались в палате, поэтому он, как и девчонки, остался в трусиках, правда, трусики были красивые, красные, похожие на плавки, во всяком случае, в них было не стыдно купаться, и он подумал, что еще какая-то подробность зацепила его в Зинке. Он снова повернулся к девчонкам, не удержался, посмотрел на белеющее в тени пятнышко, потом перевел взгляд на расстегнутый лифчик и понял, что он не магазинный, а сшитый грубо, неумело, а в одном месте, неподалеку от пуговицы, так же грубо заштопан.

Катя тоже сидела в нижнем белье, стыдливо обхватив руками плечи, спиной к морю, к мальчишкам, и Женя понял, что стыдилась она не напрасно, ее трусишки просвечивали, а коричневый ее лифчик, вернее полоска материи, в том месте, где полагалась грудь, обвисал неуклюже сшитой лентой.

В воде барахтался, бултыхался Генка, и, поворачиваясь к нему, Женя почувствовал, что его больно и тонко, точно иглой, укололо какое-то новое и необыкновенное чувство.

Что это было, он твердо не знал, ему просто стало душно, тесно отчего-то на этом берегу, в этой бескрайней соленой воде и яростно захотелось подойти к этим двум девчонкам на берегу, к этой дурочке Зинке и погладить ее по голове, бережно застегнуть пуговку штопаного бедного лифчика и сказать ей что-нибудь такое, может быть, и вполне обыкновенное, простое, но так, чтобы за этими словами угадывались совсем другие, необыкновенные слова, которых он в своей жизни никогда и не произносил, больше того, они ни разу не приходили ему в голову.

Нет, он не знал этих слов, может быть, просто-напросто он еще не добрался, не дожил до них, и спроси его прямо и строго в ту минуту, что с ним такое, Женя не смог бы объяснить, как не мог он толком даже самому себе сказать, что с ним происходит, — ему просто стало душно, стало тесно, стало жалко Зинку и Катю, и этого Генку нескладного стало жалко, в носу защипало, а к глазам подбирались какие-то колючки, и он, чтобы не поддаться самому себе, этой странной слабости, бросился лицом в воду и привычно зашлепал руками, как бы избавляя себя сильными гребками, энергичными вдохами и выдохами, движениями всего тела от сильной власти неожиданно прихлынувшей тоски.

Никто здесь не следил за ним, никакие буи не ограничивали его свободы, и Женя изнурял себя гребками, пока не изнемог вконец. Тогда он повернул к берегу и лег на спину.

Вот это было знакомое чувство! Ты лежишь на зыбкой воде, сверху тебе в глаза заглядывает бездонное небо, а под тобой такое же бездонное море, и ты оказываешься между небом и землей, ты подобен рыбе и птице, у тебя нет опоры, ты как бы сам по себе, и эта безопорность, непальминая, наверное, космическую невесомость, позволяет с предельной полнотой ощутить собственное тело. Ты переполнен лишь одним собой, ты паришь в зыбком пространстве, и тебя распирает радость, от которой хочется кричать.

Пока что в Женяной жизни это было самым глубоким и самым радостным чувством, и он считал одиночество в море не чем иным, как самым настоящим счастьем.

Он уже давно знал, что стоит только лечь на спину в тихом или едва колышущемся море, как его тотчас настигнет счастье. Он знал, что может сплывать за счастьем.

Знал, как его найти.

Он нырнул в глубину со спины. Прогнулся назад, поднял вверх ноги, сложенные вместе, и медленно опустился вниз под одной лишь тяжестью собственного тела. Подождал, пока сила тяготения не потеряет своей власти и вода не начнет выталкивать его назад, с глубины, потом перевернулся, помог себе ногами и пробкой вылетел на поверхность, развернувшись лицом к берегу.

Женя радостно крикнул, вылетая по пояс из воды, махнул рукой приятелям, оставшимся на пляже, и увидел, как Генка, один только Генка, повернул к нему лицо на одно мгновение.

Зинка лежала по-прежнему на берегу, только теперь лицом вверх, на лице у нее лежала панамка, прикрывая от солнца, рядом приподнялась на колени Катя, а полукругом к ним подходили здоровые парни, те самые, что играли в карты.

Женя рванулся вперед. Чтобы плыть быстрее, он вообще бы не должен смотреть вперед, погрузившись в воду, выхватывая на каждом втором гребке глоток воздуха, но тут он без конца вскидывал голову, и в сознании регистрировались сцены, разъединенные между собой секундой-другой бурлящей воды.

Вот шпана подошла к девчонкам совсем близко, и Генка выходит из воды, не понимая еще ничего, на всякий случай, мало ли. Вот Катька стоит на коленках, разогнулась. Только Зинаида лежит себе, уснула, что ли, — лифчик все так же расстегнут, раскинут в стороны. Парень в зеленых плавках быстро наклоняется и хватается за этот лифчик, подонок!

— Гад! — крикнул Женя, поднимая себя над водой. — Отойди, гад!

Парни смеются, даже если бы Женя был на берегу, что для этой банды два пацаненка, которые им по плечо самое большее.

Зина садится, похоже, она и правда спала, Женя видит ее груди, почти как у взрослой, она вообще в этом смысле как будто старше остальных, а с Катькой и сравнить нельзя, поэтому, наверное, и пристают эти здоровые парни. Потом она хватается за панаму и прикрывается ею. Но это глупо, она понимает это сама, опускает голову. Катька уже стоит перед ней, что-то кричит. Генка совсем рядом. А здоровый парень в зеленых плавках размахивает над головой этим проклятым лифчиком, кретин, и остальные падают от хохота.

В следующий миг обнаженная по пояс Зинка вскакивает и, бросив жалкую свою панамку, бежит в сторону пацана. При этом она часто наклоняется, хватается гальку и умело, по-мальчишески, швыряет в парня.

Зеленый выпускает лифчик из рук, сгибается пополам — молодец, значит, приварила, — остальные матюгаются и пытаются подобраться к лифчику, но Женя выскакивает по пояс из воды и орет во все горло:

— Ура! Подмога! Катер идет!

Парни озираются, но все-таки отбегают, Зинка уже одета, натягивает юбку, Генка подсаживает девчонок у забора, а Женя только теперь достаёт ногами дно.

Он одеается не спеша не потому, что уж такой отважный, а потому, что просто нет сил. Парень в зеленых плавках матерится с такой страстью, что кажется, может даже взлететь или взорваться. Но остальные крепко держат его, и чей-то визгливый голос повторяет:

— Дурак! В тюрюгу захотел? Нашел с кем вязаться! С пионеркой! Дурак ты! Дурак!

Генка ждал его на заборе, они с шумом свалились на свою территорию, осмотрелись. Вокруг не было ни души. Зина и Катька быстро, не оборачиваясь, шагали впереди, не разговаривали даже между собой.

— Ну-ка, стойте! — приказал, подумав, Женя. Девчонки послушно остановились. — Давай, Ген! — велел Женя товарищу, и они встали рядом. — Подтянись! — продолжал он командовать, будто только тем всю жизнь и занимался. Потом повернулся к девчонкам. Зина смотрела в сторону,



никого не хотела видеть. Побледнела, закусила губу. А Катька жалеючи смотрела на нее.

– Ну вот что! – сказал Женя. – Поправить одежду. И шагом марш! В ногу!

Он посмотрел, идет ли в ногу Зина позади него, еще раз взглянул на нее, еще. Она отворачивала взгляд.

”Значит, обиделась! – думал Женя. – Правильно, пожалуй! Заплыл черт-те куда за своим счастьем! Вообще все мерзко, мерзко. . . И ведь они с Генкой ничем не ответили тем парням. Зинка сама приварила фингал зеленому. Сама защитилась. . .”

Он обернулся еще раз – Зина смотрела в сторону.

Отряд встретил их покоем, Пима где-то не было, а дежурным Катька буркнула, что они вернулись с дежурства на спасательной станции.

Прошла красивая Аня с отсутствующим взглядом.

Похоже, теперь их дороги разошлись – девочки отправились в сторону своей палаты, а мальчишки пошли в игровую. Там стояли громадные шахматные фигуры на полу, расчерченном под доску. Фигуры надо было брать обеими руками и переставлять с клетки на клетку, напрягая брюшной пресс.

Вместо того чтобы упражнять головы, как это бывает в шахматах, мальчишки стали упражнять животы.

* * *

Заказав разговоры, Павел сидел в пустом кабинете начальника лагеря. Здесь было прохладно и тихо, и Павел поймал себя на мысли, что за многие месяцы своей жизни в этом лагере он наконец-то совершенно один.

Он полулег в кресло, вытянул ноги, прикрыл глаза. Сейчас раздадутся звонки, он поговорит с одним, другим, третьим директором детского дома, и многое ему станет понятней в этих ребятах, наверное, даже все.

А, собственно, почему он так упорствует в добывании этих знаний, ведь раньше, в обычных сменах, незнание детских предысторий оборачивалось пользой для них и для него самого. . .

Павел долго толковал об этом с начальником лагеря. Тот сначала был удивлен, Павел оказался единственным, кто сообщил о приступе массового вранья: в других дружинах вечера знакомств прошли обычно, вожатые как один сокрушались по поводу тяжелых ребячьих судеб, но чтоб такое?

– Конечно, – соглашался начальник лагеря, – картина станет ясной лишь к концу смены.

– Но в данном случае? – пристрасно вопрошал Павел. – Не поздно?

– Ты ведь не хуже меня знаешь, – отвечал шеф, – наш лагерь тем и силен, что не требует предысторий. Начни сначала! Вот что мы им предлагаем! Стань лучше! Не умеешь – научись! Не уверен в себе – уверься!

– Лагерь – сильнодействующее средство! – настаивал Павел. – Согласны?

– Вот-вот!

– Но применяя его, надо знать всю историю болезни!

– Хорошо, терапевт, звони. Кажется, это первый случай в нашей истории. Ставим эксперимент. Но только по тем же законам: хранить врачебную тайну!

И вот теперь Павел ждал звонков, придумывая вопросы, которые задал, терзал себя и вдруг ушибся о простую истину: да что там, он хочет узнать, насколько сам похож на них. Вот, вот... Любопытство объясняется очень просто.

Он ведь тоже сирота. Мама умерла совсем недавно, едва только его призвали в армию, телеграмму в учебку прислали соседи, его тотчас отпустили, мама в гробу точно помолодела, совсем девочка, она и не была никогда старухой, ушла в сорок пять, и причина – порок сердца, которым она маялась всю жизнь, с самого детства. Сперва простыла, долго болела, потом привязался этот порок, ей даже Павлика рожать врачи не советовали, но она не послушалась.

Мама вообще жила наперекор. Наперекор своей болезни, наперекор советам врачей и настояниям бабушки, своей мамы.

Бабушка любила Павлика самозабвенно, это чувство было выразительнее и ярче, чем мамино, и, только став взрослым, Павел понял причину этой горячности: бабушка тоже была против его рождения, она хотела счастья своей дочери, но та оказалась настойчивой, твердой, Павлик появился и, видно, одним своим рождением переменял убеждения бабушки, которая полюбила его тотчас и без всяких былых оговорок и всю свою оставшуюся жизнь раскаивалась в том, что была против решения дочери.

Причиной всех этих предварительных страстей было отсутствие отца.

То есть отец у Павла, ясное дело, где-то был, мама дала сыну вполне реальное отчество – Ильич, но он отсутствовал в жизни Павлика, фамилию мальчишка носил материнскую, и никогда никаких разговоров об отце в семье не вели.

Подрастая, Павел несколько раз спрашивал о нем у бабушки, но та, похоже, толком ничего не знала, говорила лишь, что он инженер, они с мамой познакомились в Сибири, куда маму направили после института, похоже, это было бурное, но очень короткое чувство, что-то там у них не заладилось, и мама вернулась домой, а потом родился Павлик.

Перед уходом в армию Павел заговорил об отце с мамой, та сразу заплакала, расстроилась, пришлось капать в рюмку снадобье Вотчала, а она сквозь слезы сказала Павлу:

– Ты только мой сын, понимаешь? Только мой! И я мать-одиночка! Никакого отца не было!

Павел стоял возле нее, не решаясь прервать, гладил по голове. Наконец мама успокоилась, подняла к нему заплаканное лицо:

– Пошади, сынок! Я не хочу, понимаешь? Не надо никаких выяснений!

Конечно, все это было чисто женское и даже не выглядело вполне честно по отношению к Павлу, но давно известно, что именно женщины достигают вершин упорства, если до конца уверены в своей правоте, к

тому же Павел вырос в женской семье, жалел мать, и он отступился.

Мама только на год пережила бабушку, и вот теперь он один, совершенно один, и это одиночество испепеляло, сокрушало его, вернувшись после госпиталя, он маялся, не знал, как жить дальше, и лишь его старый школьный друг принял верное решение – толкнул в этот лагерь, в этот стремительно, без часу остановок летящий вагон, на работу, где нет времени на долгие раздумья, а только действия, действия, действия, почти как на войне, только ведь даже с фронта усталые части отводят в тыл для отдыха и пополнения, а тут два года никакого тебе роздыха – иди, пой, командуй, учи, тревожься, прыгай, беги, тащи за собой ребята.

Время и правда лечит. Приятель был прав. Единственное, чего бессмысленно ждать от времени, так это приготовленных решений. По времени можно плыть, как по реке, но чтобы что-то произошло, надо врануть вверх или хотя бы поперек течения.

Вот так-то!

Полулежа в мягком кресле, Павел поймал себя на мысли, что устал, что не хочет никакой борьбы даже с самим собой, никакого плавания против течения и что единственное, на что способен, так узнать про свой новый отряд, про непонятный этот народец и вообще даже не для дела, не для работы узнать, а для самого себя, попробовать хотя бы понять, что у этих ребят похожее есть на него.

Да, на него! Или, скорей, наоборот, чем он похож на них. Хоть вот он и взрослый человек, самостоятельная личность, и смерть видел, и кровь, вроде как закаленный, а больше всего щемит, саднит чувство одиночества.

Как жить? Ведь кончится когда-то этот лагерь, кончится стремительная гонка, он сойдет на каком-то незнакомом ему разъезде, и уже не лететь ему дальше, а идти – одному идти и одному принимать решения.

Он встряхнулся, снял телефонную трубку, набрал номер справочной междугородных переговоров, спросил, когда дадут ему хотя бы один заказ из семи. Задержку объяснили загруженностью важными разговорами.

– У меня тоже важные разговоры! – возмутился Павел. – Это лагерь! Мне надо поговорить о детях!

Телефонистка рассмеялась:

– Ой, что вы, – сказала она, – тут знаете о чем говорят? О планах, чего-то там горит! О скоте, какой-то тут мор! Из порта звонят насчет грузов! А вы – дети! Детям-то куда торопиться, еще успеют, вырастут.

– Нет, вы серьезно? – улыбнулся, не удержавшись, Павел.

– Конечно! Если у вас что-нибудь случилось, так вы скажите, мигом сделаем. Случилось?

– Нет, – ответил Павел. – Пока не случилось.

– Ладно, – сказала дежурная, – постараемся.

И выключилась. Но все-таки ненадолго.

Сперва дали то, что подальше, северный город, откуда приехал Степа Ломоносов. У телефона была директриса, обрадовалась звонку, приня-

лась расспрашивать про погоду, охать и ахать, удивляясь, какой бывает на свете рай, потом запоздало испугалась:

– Случилось что?

– Да нет, – успокоил ее Павел. – Я вожатый отряда, где Степа, хочу узнать о нем поподробнее, бумаги, знаете, дело официальное, сухое, а тут ребята такие, вся смена.

– А он не должен баловать-то! – принялась защищать Степу директриса. – Парень тихий, нашенский, северный.

– Я не о том! Вы мне про него расскажите.

– Не о том? Так о чем? – Она явно не понимала, зачем звонит вожатый из такого райского местечка. – Парень тихий, хороший, лучший, можно сказать, у нас.

– А какая у него. . . ну, биография, что ли? – прямо спросил Павел.

– Да из дошкольного детдома к нам поступил, туда из дома ребенка, а до этого архангельский роддом, мать от него еще там отказалась, у нас, знаете, это нередко. Наверное, моряцкий сын.

– А отец? – не понял Павел.

– Я и говорю – моряцкий сын. Фамилию, имя и отчество придумали в роддоме.

– Понятно, – севшим голосом сказал Павел.

– Нет, вы скрываете! – заголосила тетка на том конце провода. – Что с ним случилось?

– Не волнуйтесь, – сказал Павел. – Я его понять хочу. Он тут говорит, что родом из Холмогор, а родители рыбаки, утонули во время шторма.

– Правильно! – сразу успокоилась директриса.

– Что правильно? – подскочил Павел.

– Они все врут!

– Все? – механически переспросил он.

– А потом, как подрастут, будут еще и скрывать, что из детского дома.

– Чего ж тут скрывать?

– Э-э! Легко спросить, трудно ответить.

– Может, у вас им плохо? – спросил Павел.

– Чего ж хорошего? – вопросом ответила женщина.

– У вас плохой детдом? – шутливо спросил Павел.

– Приезжайте, посмотрите, – ответила женщина, совершенно не смутившись. – Можем и на работу взять, раз вы такой сердобольный. К тому же – мужчина.

– Вы не обижайтесь! – улыбнулся трубке Павел.

– А я не обижаюсь, я вам вполне серьезно говорю.

Он попрощался, опустил трубку. Да, тут было о чем подумать. Но подумать ему не дали. Телефонная станция будто устыдилась и теперь спешила помочь Павлу.

К телефону подошла воспитательница группы, где жил Джагир. Говорила она с восточным акцентом, оптимизм переливался в ней через край, и было похоже, что она искренне рада получить весточку про своего воспитанника.

– Он привэт передавал? Передавал! Я сэчас паду рэбятам скажу! Вот обрадуются! Ви эму тоже привэт пэредайте! Всю детдома! Мы ждем!

Пусть приготовит рассказы! Как жил! Как отдыхал!

Экспансивная воспитательница подтвердила, что родители Джагира действительно погибли в землетрясении. Этот не сочинял.

Разговаривая, Павел невольно рисовал в воображении своих собеседниц, наверное, эта восточная женщина – полная, даже утратившая всякие формы, из тех сердобольных и великодушных взрослых, которые, любя других, слабых, не придают решительно никакого значения всяческим мелочам вроде своей внешности. Она, как наседка, трясется вокруг своих любимых чад, часто, пожалуй, невпопад и уж вовсе без всякой педагогической науки, а только по одному сердечному благо-расположению принимая решения, не всегда достаточно взвешенные и мудрые, но зато стопроцентно искренние и потому совершенно понятные детям.

Та, первая, северянка, тоже не вполне изящная особа, пожалуй, полновата, как и южная ее коллега, но если та рыхловата, эта, наверное, мясисто, энергична, резка, с детьми никогда не сюсюкает, оценивает их достоинства трезво, озабочена скорей недостатками, может и прикрикнуть, и приказать, и наказать даже, зато ребятня у нее, как у Христа за пазухой, как за каменной стеной; ее могут и недолюбливать, зато она любит каждого твердым, уверенным чувством, стараясь незаметно помочь слабому, а сильному прибавить уверенности, и трезвость ее передается детям, и качество это бесконечно важно для этих ребят в будущем, как, впрочем, и в настоящем, и вот такая северная безиллюзорность воспитания напоминает выработку иммунитета, нравственную прививку, которая спасет потом от многих болезней. И все же эта женщина – не холодна, не рассудочна, за внешней строгостью таится доброе сердце, и она, может, после звонка из лагеря проведет бессонную ночь в думах о Степе и его сотоварищах, и всплакнет, – почему бы нет! – но утром будет снова собранной и резкой, чтобы выбить из местных властей краску для ремонта, стройматериалы, а с торговой базы – одежду для ребят, да не какую-нибудь, а покрасше, покрепче, попримичнее.

Соединили с Сибирью. В школе-интернате для сирот, как значилось в записи Павла, подошла заведующая учебной частью.

– Егоренков? – переспросила она. – У нас такого нет!

– Как нет? – удивился Павел.

– Минуточку, – вдруг смутившись, попросила женщина. Прикрыв трубку, она с кем-то переговаривалась, потом проговорила: – Вы слушаете?

– Да!

– Как вы сказали? Егоренков? А зовут?

– Евгений. Евгений Ильич.

– Повторите, пожалуйста, кто звонит, – голос словно оледенел.

– Вожатый звонит, – удивился непонятливости завуча Павел. – Вожатый отряда, где он теперь. Понимаете, у нас вся смена детдомовская, вот и хочется узнать о детях побольше. Уж очень они необычны, понимаете?

– Понимаю, – ответила женщина холодно, без всякого, похоже, понимания.

– Но вы сказали, у вас такого нет?

– Есть, оказывается, – отчужденно сказала женщина и добавила, чуть подумав, – я не знала.

– Что он у вас, новенький?

– Да.

– С кем бы поговорить о нем? – спросил Павел.

– С директором.

– А с воспитателем?

– Или с воспитателем. Но их нет. Они в отпусках.

– Скажите тогда хоть вы что-нибудь.

– А как ваша фамилия?

Павел терпеливо продиктовал свои фамилию, имя, отчество. Похоже, на том конце провода все тщательно записали. Спросили про должность – в который раз. Вроде полегчало.

– Значит, вы просто так? – спросила женщина. – Педагогический интерес?

– Вроде того.

– По телефону я вам ничего не могу объяснить. Вы уж как-нибудь сами. . . Да, сами. Это, знаете ли, не наша компетенция.

Она даже не попрощалась. В трубке затиликали гудки отбоя.

Павел чертыхнулся. Совершенно дурацкий разговор. Он даже представить себе не сумел эту мымру – разговор вышел абсолютно бесформенный, будто на том конце провода – робот, к тому же чем-то перепуганный. Или просто обюрократившийся. Он усмехнулся, вообразив себе робота-бюрократа. Экое железное чудовище – на лбу бусинки машинного масла, так сказать, трудовой пот, а лампочки-глаза еле горят тусклым светом: в батареях совершенно село жизненное напряжение.

Зазвонили снова. Речь пошла про Володю Бондаря. Сперва Павлу показалось, что произошла ошибка и говорит все та же электронная дама, до того похож голос, да и подозрительности ничуть не меньше. Что, да за чем, да почему? Разговаривала директриса. Сухие, бесцветные интонации. "Да как она только с ребятами-то говорит?" – подумал Павел и уже собрался положить трубку, незаметно для себя переходя на такой же сухой тон, как вдруг женщина спросила:

– А сколько вам лет, уважаемый товарищ вожатый?

Он сказал.

– Вы что, студент?

– Начинал когда-то, потом призвали в армию. Так что если и студент, то недоучившийся.

– Понятно, – проговорила директриса, и в голосе ее вдруг мелькнула теплота. Она молчала, молчал и Павел.

– Что ж, до свидания, извините, – сказал он. – Очень жаль, что разговора у нас не получилось.

– Молодой человек, – ответила женщина, и Павел подумал, что она старуха – голос ее задрезбезжал, а раньше она говорила напряженно, строго и оттого бесцветно. – Молодой человек, – повторила она, – я ведь вас не знаю и вовсе не обязана откровенничать на первый же телефонный звонок. Тем более что существует такое понятие – детская тайна. Кто же, если не мы, сохраним ее?

Она помолчала.

– Вы не должны обижаться, Павел Ильич.

Она снова умолкла. Павел почувствовал неловкость. Решил про себя: остальные разговоры снять. Действительно как-нибудь можно и обойтись, к чему эти попреки, совершенно несправедливые.

– Хорошо, до свидания, – сказал он. – Извините.

– Куда же вы? – удивилась женщина. – Торопыга. Уж взялись за этих детей, наберитесь, голубчик, терпения. Наверное, Володя сказал, что отец у него погиб, был летчиком-испытателем?

– Плавал на атомной подводной лодке.

– Не разоблачайте его. Он в это верит. Пусть верит.

– А что на самом деле?

Она снова замолчала. Вздохнула.

– Пожалуй, все-таки не скажу. Вы молодой, еще поговоритесь, а с этим не шутят. Мы уж сами как-нибудь. А вы на всякий случай знайте только, что мать у него, как бы поделикатнее выразиться, не вполне в себе, она ищет его, рвет мальчишке душу, мы и к вам-то отправили его, чтобы дать ему отдохнуть, уберечь от лишнего.

– Спасибо, Прасковья Ивановна, – сказал Павел. – Вы сказали мне очень много. Я для этого и звонил.

– Ничего я вам не сказала, – проворчала старуха на том конце провода. – И не должна.

Похоже, она улыбнулась все-таки.

– А вы что же, – спросила, – всем звоните?

– Да вот решил попробовать.

– Ну-ну! – проворчала она то ли все-таки осуждающе, то ли сменив гнев на милость.

– Берегите моего Вовку! – сказала она. – Плавать бы его как следует научили. Вы же мужчина!

Они, наконец, простились, и тут же телефон зазвонил опять.

– Ну и ребята же у вас! – испуганно произнес чей-то знакомый голос.

– Кто это? – не мог сообразить Павел.

– Телефонистка!

– Слушаете разговоры?

– Бывает! Тут за день такого наслушаешься! Кто плачет, про смерть сообщает, кто в любви объясняется, но больше все про дела, кричат, спорят, просят, я же говорила. А вот про ребят – редко! Знаете, я вот слушала ваши разговоры, извините, конечно, а у самой сердце кровью обливалось: сижу вот я тут, а мой оболтус один себе ошивается, отец тоже на работе. Что с ним, как он там, не натворил ли чего, хотя, конечно, одет, обут, вчера вот велосипед купили, да не какой-нибудь, а гоночный, ох ты, господи. А ваши-то, как же?

– Да-да! – проговорил Павел.

– Но у вас ведь им хорошо, такой лагерь, мечта, кормят, поят, развлекают.

– В том-то и дело, – сказал Павел, – что им этого мало. Ведь вам мало, когда поят, кормят, развлекают?

– Мало! – вздохнула телефонистка.

– И мне мало. – Он помолчал, добавил: – Им родные нужны. А их-то как раз и нет.

– Охо-хо! – вздохнула женщина.

– Ну ладно, – сказал Павел, – остальные заказы снимите.

Он посидел еще в директорском кабинете. Попробовал собраться с мыслями, но ничего у него не вышло. Никаких идей. пустота, чувство беспомощности. Не на что опереться.

Как будто ты, не умея плавать, барахтаешься в море.

* * *

Жене было не по себе. Все, что произошло на диком пляже, как бы удалилось от него, побыло на расстоянии и вернулось снова, едва он остался один.

Он опять стоял на берегу, снова кидал камушки, но дул ветер, пожелтевшая вода покрылась мелкой и частой рябью, и ничего у него не выходило, никаких блинчиков, и руки отчего-то дрожали. В спокойной, ровной его жизни ничего подобного никогда не случалось прежде. Роль мальчика, избранного судьбой, независимо от его воли обеспечивала ему душевный покой, равновесие, отсутствие конфликтов, а, значит, волнений. Женья не раз, как бы отстраняясь, думал о себе: какие крепкие, надежные нервы. Кто-то кричит, обозлившись на приятеля, а он спокоен, потому что если и досадили тебе, то это такая мелочь, которую, поразмыслив, вполне можно пропустить мимо себя. Одноклассница белугой воеет из-за "пары", но не лучше ли подложить соломки, если знаешь, что можно упасть – выучить урок или уж, на худой конец, вежливо попросить учителя: "Пожалуйста, я вас очень прошу, разрешите мне сдать вам эту тему завтра после уроков, так получилось, что я недотянула. Прошувас". Вежливость, как известно, ключ к любому, даже самому суровому сердцу, и никакой учитель не устоит, если видит серьезность, соединенную с корректностью.

Женья был глубоко убежден, что вообще в жизни огромное количество всякой чуши и бестолковости, которые возникают от одной лишь человеческой глупости.

Люди хмят друг другу без видимых причин, просто так, лишь только потому, что расшатались нервы. Но нервы – не зубы, чего им шататься, они должны быть просто средством для передачи информации, так сказать, проводами в человеческом организме. А провода разве виноваты? Виноваты импульсы, которые идут по проводам. А импульсы создает сам человек, похожий на электростанцию. В нормальном положении ток спокойно идет по проводам, а когда возникают импульсы, значит, где-то коротит, человек неправильно реагирует на слова, на положение вещей, на отношения с другими людьми.

Па однажды в шутку назвал Женю прагматиком, ма тотчас распушила перья, защищая своего цыпленка, и хотя точно он так и не выяснил, что означает это слово, на отца не обиделся, причин на то не было. Наверное, все-таки прагматик – это что-то вроде как практик, такой прак-

тичный человек, себе на уме, спокойный, уверенный в представлениях о жизни, плюющий на всякие мелочи, из-за которых все летит вдрызг, люди кричат и плачут. Он бы и хотел быть таким. За что же тут обижаться?

Но что тогда раскачивало его сейчас, черт побери, какая такая волна?

Будто он – лодка, привязанная к свае, ничего ему не грозит, пока хорошая погода, а вот закачалось, и есть опасность, что или веревка порвется или разобьет нос об эту железную бесчувственную сваю.

Зинка, удивительная, настырная Зинаида, не убиралась из памяти – ее жалкая, полуголая фигура, злобные взрослые парни на диком пляже, а главное – грубая штопка возле пуговицы. Он не успел доплыть, все обошлось без него, и хотя никакой его вины не было, Женя ощущал собственную вину – да, именно это чувство.

Чем больше он уверял себя, что не виноват, тем определенной чувствовал, как не по себе ему, как неуютно здесь, в лагере, среди этих ребят, как трудно будет разговаривать с Зинкой теперь и выносить ее взгляд или, хуже того, видеть, как она отворачивается стыдась.

Ведь он совсем не такой, как они. И хотя вроде он ничего пока не сделал, чтобы выдать себя за детдомовца, не пришлось ему пока что врать, играть, как говорила Пат, ему было стыдно перед всеми сразу. Особенно перед Зинкой.

И так-то, вытаращит свои глазащи – будто тебя допрашивает с пристрастием, раздевает догола, как на медосмотре. Вся эта история на пляже приключилась с ней, а Жене кажется – будто с ним. Ее опозорили, и над ним издевались. А он не сумел дать сдачи. И его переполняет злость. Впервые в жизни!

Вся его теория, будто нервы – просто провода, летит к черту. Вся!

Словно борясь с чем-то никак не поддающимся в самом себе, Женя швырял и швырял камушки, но блинчики все не получались. За спиной по гальке проскрипели чьи-то шаги и замерли. Он решил не оборачиваться. Но что-то летело у него все на свете. Он почувствовал взгляд, как будто кто-то к нему прикоснулся рукой. Положил ладонку между лопаток. Старый, известный способ! Раньше с ним такие шутки не проходили! Он был спокоен, даже равнодушен, и гипнотизер зря тратил свои энергетические запасы. Но сегодня его не гладили по спине, а стучали – повернись, повернись!

Он разжал руку, в которой держал камушек, и обернулся. Ну да, так он и знал. Зинка включила свои фары на полную мощность, и стоило ему обернуться, приблизилась к нему совсем близко.

Женя почувствовал, что ноги и руки у него наливаются странной тяжестью. Ему хотелось произнести что-нибудь рассудительное, скомпоновать мысль из нескольких фраз, каждая из которых останавливает, заставляет задуматься и отступить, но у него ничего не вышло. Тогда он попробовал придумать вопросик поглубже, но Зинка опустила голову, и он со жгучей ясностью представил, как где-то под лопаткой лифчик на ней заштопан грубыми толстыми нитками.

Его опять обожгло жалостью к ней, и он сказал неожиданно для себя:

– Не думай об этом!

Зинка взглянула на него каким-то беззащитным взором, глаза ее тотчас наполнились слезами, и, смаргивая их, вытирая, будто маленькая кулаком, она спросила его:

– Ты теперь презираешь меня?

– Не городи глупостей! – сказал он мягко, совсем не своим голосом.

И будто помог ей. Она торопливо заговорила, плача при этом. Женя никогда не видел, чтобы так плакали. Глаза у Зинки были широко раскрыты, и с нижних век, как капель с карниза, скатывались слезы.

– Ты понимаешь, Женя, я никому не нужна, – говорила Зинка, глотая слова, торопясь, будто не веря, что он дослушает ее до конца, – я наврала вам сегодня днем, никакой он не бандит, мой отец, это было бы очень хорошо, очень даже неплохо было, он, ты знаешь, хуже бандита, прямо изверг. – Она вдруг обхватила себя за плечи, закрыла глаза, пискнула. – Я не скажу! – Но тут же приблизилась к Жене на шаг, прошептала: – Нет, послушай. Только никому! Понял? Это тайна, такая страшная! Я утоплюсь, если скажешь!

Он поверил – такая чего хочешь сотворит.

– Не говори, Зин, – попросил Женя.

– Нет! Хочу, чтоб ты знал. Ты мне нравишься. Но это ничего не значит. Ты сейчас поймешь, как мне живется. Когда мне десять лет было, отец меня насильничал! Понимаешь? Собственную дочь! Его посадили. А мать повесилась! Ты понял? Понял?

Женя, содрогнувшись, мельком подумал, что у девчонки совершенно железный характер. Сказав все это, выпалив жуткую свою историю, она не зарыдала, не отвернулась, а плакала по-прежнему, не закрывая глаз, и всюю смотрела на Женю.

Он отступил на шаг, не зная, что сказать. Пожалеть? Но как – он не умел. Слов тут было мало, что значат какие-то слова, если у девчонки такое, такое. . . И как тут поможешь?

Женя закусил губу и стоял напротив Зины молча, настоящий остолоп.

– Ты испугался? – спросила она.

– Так не бывает! – сказал он наконец.

– Женя! – проговорила Зина, будто не расслышав его слов. – Теперь ты понимаешь, какая я! Испачканная! Никому не нужна! Скажи, как мне жить? Зачем? Ты думал о смысле жизни?

Он кивнул.

– Я тоже. И я понимаю, что мне не надо жить. Этот лагерь, красота вокруг, зачем все? Я всегда буду такой! Это уже никак не поправить!

– Забудь! – сказал Женя.

– Не могу! – выдохнула она. – Я никому никогда не буду нужна, ты понимаешь? У меня никого нет! И не будет! Зачем такая жизнь! Я тебе нарочно это сказала, понимаешь – нет? Я сказала, и вижу, как сразу стала тебе противной. Ты и днем тоже! Там, за забором.

– Не говори ерунды.

– Нет! Нет! – прошептала Зинка, и слезам ее, кажется, не было края.

– Это правда!

– Хватит! – сказал Женя, вспоминая свое умение останавливать

людей. – Забудь про это. Выброси из головы. Ничего этого не было. Ясно?

– Хорошо! – согласилась Зинка и вдруг добавила: – Но тогда обними меня. И поцелуй. Докажи, что я тебе не противна.

Женя замер. Ему будто поставили ножку на высокой скорости. Он твердо стоял на ногах, но вот теперь свалился. Свалился и не знал, что делать.

– Я не умею, – сказал он жалобно, совсем по-детски.

Тогда Зинка шагнула вперед, обняла Женю за плечи, приложила к его сухим губам свои соленые губы.

Женя стоял, опустив руки по швам, совершенно онемелый, а Зинка целовала его неумело, но настойчиво и упрямо.

* * *

Жизнь в лагере напоминала марафонский бег, где стартом и финишем были день встречи и час расставания, но в отличие от марафона напряжение было здесь не явным, а скрытым. По крайней мере для ребят. Времени на раскачку здесь не давалось, поэтому, грубо говоря, общее житье-бытье походило на процесс формовки армированного железобетона, когда на металлические струны, натянутые до определенного предела, насыпается жидкая бетонная масса, которая, застывая, кажется монолитной уже сама по себе, но всякий строитель скажет, что прочность такой плиты зависит не только от бетона, но раньше всего – от напряженности, от силы арматурного натяжения. Приехавшие дети поначалу всегда были влажной и не очень уж прочной массой, но, прилипая к вожатской арматуре, сливаясь вместе в общей жизни, они превращались в цельные и прочные отряды, вовсе не замечая огромного напряжения своих вожатых. Ребята жили весело, интересно, готовились к концертам, где каждый без исключения становится артистом, встречались с космонавтами, приехавшими погостить, несли бесчисленные дежурства и вахты, прибирали палаты и сам лагерь, выезжали поработать на ближний виноградник, маршировали на премьеру нового фильма и встречу с известными артистами, участвовали в читательской конференции по новой книге, писали стихи в укромных уголках, чтобы участвовать в поэтическом конкурсе, и еще добрая сотня забавных, важных, увлекательных дел и обязанностей превращали жизнь в цепь замечательных событий; такого наполненного и интересного, без передыху, существования никогда и ни у кого не было прежде, лагерь как бы приводил всех к простой, но важной мысли о том, что жизнь может и должна быть вот такой перенасыщенной, тогда многое сумеешь сделать еще в детстве, не дожидаясь взрослости, – только не ленись, не жги время попусту, если оно может дать столько счастливого и важного!

Если бы знали ликующие, радостные дети, какого напряжения стоит эта легкость, этот летучий, приподнятый темп взрослым, которые как будто и ничего такого особенного не делают, просто всегда рядом, всегда вместе, всегда беззаботны и тоже вроде бы отдыхают, а вовсе не работают.

Но таков уж был стиль, такая манера в этом лагере! Все взрослые трудности – только для взрослых. Ночью, после отбоя, можешь пойти к начальнику лагеря, который допоздна сидит в кабинете, освещенном настольной лампой с голубым абажуром, и можешь выплакаться или выкричаться, как уж угодно, а в ответ послушать тихие слова, не всегда решающие, но всегда успокаивающие, получить обещания или уйти без всяких надежд, но все-таки испытать чувство облегчения, узнав и до того хорошо очевидные прописи о нужности твоего труда, о том, что срок командировки надо обязательно выдерживать, что худа без добра не бывает, и все-таки – ты ведь чувствуешь, чувствуешь, как пришел опыт, умение управлять детьми, ощущение их понимания – так ли уж это мало? – и потом пройти по асфальтовой тропе, под неоновыми фонарями, успокаивая себя, глубоко и освобожденно вздыхая, прислушиваясь к жестким звукам, какие издают крылья ночных мотыльков, бьющихся о стекло ламп. . .

Да, нетерпение взрослых имело право на разрядку только в нерабочее время и только не на виду у ребят – такое уж было железное здесь правило.

Павел и Аня шли по дорожке в вожатскую гостиницу после ночной исповеди у начальника лагеря, вдыхали пряный воздух, насыщенный запахом эвкалипта, всматривались в низкие звезды, моргающие прямо над кронами деревьев, вслушивались в стрекот цикад.

В сущности Павел ничего не ждал от этого разговора, он просто рассказал о своих звонках, вот и все – так они условились. Аня увязалась с ним просто так, за компанию, была непривычно молчалива и в разговор с начлагеря вставляла всего лишь две-три реплики, хотя тот, разговаривая с Павлом, обращался все время к Ане – странновато проходила беседа, но что поделаешь, красивая женщина подобна магниту.

– Понимаете, – говорил начальник лагеря, – смысла разбираться в этом вранье нет, мы просто должны иметь в виду, что ребята сложны, хотя бы казаться лучше, а, может быть, вот тут-то и надо им дать такую возможность, понимаете?

Аня согласно кивала ему, а он распался:

– Давайте закрутим их как следует на нашей центрифуге – одно, другое, третье событие, отличное мероприятие, и – глядишь – они забыли все свои беды! Калейдоскоп лагерных дел способен затормозить воспоминание о прошлом, вы согласны? К тому же у нас нет повода обращаться к их прошлому. Уже понятно, вечер знакомства – это заминка, мы пока не придумали своей формы именно для таких ребят, есть над чем поработать в будущем, но теперь-то что об этом говорить. Наши скорости включены! Лагерь – это анестезия! За смену почти никто не вспоминает о реальной жизни, из которой они пришли.

– Да, да, – сказал Павел, – наш лагерь – это сон.

– Вот-вот! – обрадовался начальник лагеря.

– Но рано или поздно они проснутся. Вы знаете, как разъезжаются ребята?

– Еще бы!

– Что будет с этими?

– Будут вспоминать свой сон!

– А сейчас? – спросила Аня. – Что можно предвидеть?

Начлагеря пожал плечами. Побарабанил пальцами по столу.

– Надо следить за дисциплиной. И – море, вы понимаете? Море!

Ясно. Разговор пошел уже не туда. Как бы кто не утонул. Очевидная, дамочным мечом висящая опасность всегда и для всех вожатских поколений. Самая страшная кара.

Павел поднялся. В общем, он сделал то, что хотел. Отчитался за телефонные звонки. Начальник есть начальник, а дети – целый отряд! – на всю смену принадлежат ему, и что-то не очень верится, будто лагерная круговерть, существенная, в общем-то, сила, начисто лишит их памяти. И какой!

– Ты что молчала? – спросил он Аню, когда они вышли.

– Слушай, Павел Ильич, – сказала она в ответ. – Что ты все о работе да о работе? Или совсем ослеп? Посмотри, какая рядом с тобой женщина. Хоть бы какое покушение на нее совершил, что ли?

Он усмехнулся:

– Какой в этом смысл?

– А ты все смысла ищешь?

– Бессмыслица в таком деле – просто скотство.

– Ты не по годам серьезен. Прямо дедушка в вожатских шортах.

Павел рассмеялся, покрутил головой.

– Ань, а ты кто?

– Твоя коллега, – парировала она.

– Ну, а на самом деле? Чего ты здесь делаешь, такая-то красотка? Да еще москвичка. Тебе бы по улице Горького с кавалерами гулять. На светских приемах блистать. Замуж выйти. За перспективного ученого! За дипломата, которого вот-вот в Европу пошлют. А ты с каким-то безродным подранком впустую флиртуешь? – Он рассмеялся. – Нет, Анечка, ты для меня – темный омут, дна не видать. Боюсь бесславно сгинуть.

Аня остановилась под фонарем. Голубая пилотка и плечи форменной рубашки позеленели от неестественного люминесцентного света.

– Боишься? – устыдила она Павла. – А еще герой, награжденный боевым орденом.

Павел шагнул к ней, взял ее за плечи. Спросил:

– Ты чего дразнишься? Это опасно!

– С тобой – совершенно безопасно.

– Вот как! – удивился он. Нырнула, нырнула эта красотка, и все-таки достала до дна, задела мужское самолюбие.

– Залог тому – твоя дистиллированная порядочность.

– Ты находишь? – удивился Павел. – Но что в этом ужасного?

– Слушай! – сказала она. – Вон лавочка, давай сядем.

Они сели, Павел положил ей руку на плечо, она аккуратно сняла ее.

– Нелогично! – усмехнулся он.

– Давай поговорим откровенно, – попросила Аня.

– Я всегда откровенен.

– Согласна, – сказала она, – поэтому и я скажу сейчас тебе кое-что...

Рассчитывая на твою порядочность.

Павел с какой-то необъяснимой тревогой понял, что через минуту жить ему станет еще тяжелее, что сейчас на его плечи взвалят еще один, не видимый глазу, но нелегкий тюк, что, хотя и станет ему понятней эта таинственная красотка, просветлеет темный омут, в который страшно броситься, но понятность такая не принесет облегчения, точно так же, как ничем не легче стало ему от того, что он узнал чуть побольше о своих детдомовцах. Нет, что ни говори, а незнание очень даже часто легче знания, и, напротив того, узнавание дотоле неизвестного, влекущего своей таинственностью, казалось бы, очень даже привлекательного, пока неведомого, оборачивается тягучей тоской, нерадостью, тяготой разделенной тайны, которая только усложняет жизнь, отягощает сознание, угнетает память.

Тот мальчишка с автоматом, эта гнетущая тайна Павла, нескрываемая, впрочем, и все же тайна, не станешь ведь рассказывать каждому встречному, что случилось с тобой и что ты пережил у черты, по одну сторону которой – жизнь, а по другую – смерть, и лучше бы не было этой тайной памяти, совсем не было, как не бывает такого у многих людей, однако вот она досталась ему, никуда не деться от нее, а все мучит его, грызет подспудно, обвиняя в чем-то, чем-то корит.

А тайны этих ребят? Как наивный мотылек какой-то, а не трезвый, повывавший смерть человек, способный предвидеть не только радость познания, полетел Павел на неведомый огонь чужой тайны и вот опалил собственные крылья, ожегся о детскую тайну, нагрузил на себя нелегких камней – куда теперь с ними? Что делать? Какую пользу принесло ему знание о том, что трое пацанов – дети чьих-то взрослых крушений и что эти не вполне еще и смысленные-то маленькие люди обречены на свою трудную память, а у наивного детского вранья есть благородная, верная причина – желание избавиться от гнетущего знания собственной тайны, побег от обреченности, наивная попытка придумать себе другую судьбу.

Разве же можно винить за это не то что малого, но даже сильного, взрослого, бывалого человека?

Они сидели на лавочке в тени деревьев, тихий воздух был напоен дурманящей смесью южных трав, роз и морских водорослей, переключкой цикад, то затихающих, а то вновь, будто по команде, начинающих свой бесхитростный скрип. Аня примолкла на минуту, будто раздумывала, начинать ли ей, и Павел укорил себя, подумав, что его страхи все-таки недостойны мужчины.

– Павлик, – сказала Аня, – ты мне нравишься.

Он хмыкнул, но сдержал себя, ничего не сказал.

– Мне кажется, что и я нравлюсь тебе. Но я объясню, почему ты нравишься мне. Во-первых, ты умен. Во-вторых, сдержан. В-третьих, глубоко порядочен. Наконец, очень надежен. Ты понимаешь, на тебя можно положиться. Это такая редкость в нынешних мужчинах.

– Неужели? – усмехнулся Павел.

– Не перебивай, – попросила Аня жалобным голосом. – Иначе я сорвусь.

Она помолчала, видно, успокаивая себя.

– Ну так вот. Я знаю, что такой человек, как ты, способен на глубокое,

сильное чувство. И не способен на предательство. И я прошу тебя, женись на мне!

Павлу показалось, что его свалили с ног. Еще в школе была такая шутка, слегка дурацкая вообще-то, – к тебе подходят и слегка толкают прямо в грудь, очень даже несильно, можно бы отступить на полшажка, и все, но сзади присел на корточки еще один мальчишка, ты запинаешься о него и летишь кубарем от этого слабого толчка. Все случается в одно мгновение, это падение молниеносно, и сознание не успевает зафиксировать происходящего – только результат: ты лежишь, и даже понять нельзя, как ты оказался лежащим.

Нечто подобное испытал Павел.

Он слабо пошевелился, но ощущение беспомощности не покидало его.

– Понимаешь, – сказала Аня, содрогаясь, – я погибаю! Может быть, я никогда не решилась бы на такие слова, но эти ребята...

Она повернулась к нему, взяла за руку. Ее ладонь обжигала.

– Паша, – проговорила она, – ведь они своим враньем цепляются за жизнь. Ты понял это? Они хотят быть – как все! Так почему я не могу?

– Успокойся, Аннушка! – сказал Павел, беря ее ладонь обеими руками.

– Не смей меня жалеть! – прошептала она. – Ты еще не все знаешь. Слушай.

Она дышала часто, и Павел почувствовал, как часто-часто бьется жилка в запястье ее руки.

– Я дрянь! – проговорила Аня. – Дрянь! Но мне надо выкарабкаться. А одна я не смогу. Помогите!

– Ну что ты так!

– Подожди! Ты вот спрашивал, чего я здесь. Не хожу по улице Горького. Замуж не иду. Да, Паша, я уже находилась. Нагулялась по горлышко. И замуж сходилась, вернее сбегала. И ребенок у меня есть, только об этом никто не знает. Почти никто. Отец мой меня прикрыл. Он хоть не воевал, а военный. Знает свое дело. Честный до посинения. Вроде тебя. В общем, как стала заметна моя брюхатость, маманя меня со свету сживать начала. Где ты была? Чего молчала? Дрянь, потаскуха и так далее. Сама, ясное дело, убивалась, дипломатов, как ты говоришь, мне готовила, женскую, так сказать, карьеру, чтоб жить за пазухой у влиятельного мужа, а я ее подвела, втюрилась, дура, в одного красавца, а он проходимцем оказался, уже женатый, банально до идиотства. И так моя мамочка на меня жала, так проклинала, так приبلудным ребенком корила, что всю-то жизнь он мне переломает... В общем, скрутила она меня. Сговорились мы так, что я по санаториям поехала, в один, в другой, чтобы, значит, меня соседи беременной не видели, отца она обманывала, заставляла путевки доставать всеми правдами и неправдами, мол, плохо я себя чувствую, а потом уехала я в один маленький райцентр и родила мальчика. Предварительно написав заявление. Страшно сказать... Что отказываюсь от него. Вот так. – Она набрала воздуха и проговорила одеревеневшим голосом: – Казни, Паша, казни!

Ему стало как-то не по себе, последняя фраза эта, сказанная гор-таным, не Аниным голосом, показалась фальшивой, чрезмерно стра-

дальческой, не совпадавшей ни с ее прежней беззаботностью, ни с самим ее поступком – если не врет, конечно! – жестким и даже жестоким, какой не способна смягчить запоздалая патетика.

Может быть, вздрогнул сам Павел, а, может быть, его отчуждение передалось Ане, но она выпрямилась, вырвала свою руку. Сказала, от-вернувшись:

– Ну вот, теперь ты знаешь обо мне все.

– Ты что-то говорила об отце?

– Да. Он вернул Славика. Он, а не я.

Покой и благоденствие царствовали в застывшем ночном пространстве, а тут, на скамеечке между двумя кипарисами, такая буря гремела!

– Он военный, я говорила тебе, полковник, так вот когда мы с мамочкой вернулись домой, он расстегнул кобуру, достал пистолет и... знаешь что сделал? Приставил к собственному виску. И сказал мне: "Есть, – сказал, – такое понятие, как человеческая честь. Если ты забыла о ней, то я... Словом, где ребенок?" Я сказала. Он потребовал, чтобы я написала новое заявление, забрал мой паспорт. И ушел. Мать не проронила ни звука. Через сутки Славик был дома. Отец усыновил его. Теперь мой собственный сын доводится мне братом.

Наконец она замолчала.

– Так не бывает, Аня! – сказал Павел. – Что-то ты наговариваешь на себя.

Она коротко засмеялась, будто всхлипнула.

– Вот видишь, – сказала Аня, – сразу стала тебе противной. А еще десять минут назад...

– Десять минут назад ты перечисляла мои достоинства и предлагала жениться на тебе. Но ведь, Аня, нужно еще кое-что!

– Любовь?

– По-твоему, не обязательно?

– Ты сильный человек, ты полюбишь, да и я ведь не уродина.

– А ты?

– А я буду ноги тебе целовать до самой смерти!

Павел искренне возмутился:

– Какой кошмар!

– Павлик! – сказала она сквозь слезы. – Разве ты не понял? Я о спасении прошу!

Павел решительно поднялся, протянул Ане руку.

– Идем, уже поздно! – сказал он жестко.

– Ты презираешь меня? – проговорила Аня.

– Не говори глупостей.

Она как будто умылась разом, сказала устало, но и спокойно:

– Вот видишь, Павлик, как дорого обходятся женщинам их прегрешения.

– Почему только женщинам? – возразил он. – Прегрешения обходятся дорого всем. И мужчинам, и женщинам, и их детям.

Аня вздохнула и покорно пошла с ним рядом.

– Даже сейчас ты остаешься вожатым! – проговорила она укоризненно. И прибавила: – Порядочный из порядочных!

Женя места себе не находил, с мукой и стыдом вспоминая, что было потом.

А потом он просто убежал – после Зинкиных поцелуев. Вырвался от нее и быстро пошел по берегу, а она крикнула:

– Подожди! Женя!

Негодяй! Какой негодяй он был в те мгновения, и он повторял себе: стой, негодяй, ты не имеешь права уходить сейчас, но что-то в нем такое включилось, какие-то непослушные ему моторы, и он ушел, вернее – убежал, а еще точнее – отбежал. Да, отбежал и потом все-таки остановился, обернулся, но было поздно, и ничего ей не объяснишь больше – никогда, никогда! Зина бежала тоже, только в другую сторону. Они разбегались. Надо же, разбегались, поцеловавшись и поверив друг другу.

Почему? Что это значило? Как так вышло, что он пожалел Зинку и та поняла, каким-то необыкновенным чутьем почувствовала это и поверила Жене, а он – надо же, такой надежный, такой твердый, умеющий говорить с людьми человек! – вдруг так по-детски испугался, не нашел даже сил в себе, чтобы договорить с Зинкой до конца...

Хотя – до какого еще конца? Он узнал про нее все, что она хотела сказать. Главную ее тайну. Он целовался с Зинкой, и неважно, что сам стоял, как младенец, руки по швам, и не отвечал на Зинкины поцелуи – он слушал ее, он целовался и он сбежал.

Женя походил на звереныша, прогнанного стаей за великое прегрешение – хотя вряд ли бывает такое в природе? Да и не прогонял ведь его никто. Сам он, сам себя прогонял, сам не мог никого видеть и бродил от одной заросли к другой, независимо от сознания сторожка осматриваясь по сторонам, когда надо было пересечь асфальтовую тропу, выжидая, если по ней шли люди, петляя среди деревьев, усаживался на траву, лежал на ней, закрыв глаза, снова поднимался и брел неизвестно куда и зачем, и все-таки сохраняя при этом правила предосторожности, которые освобождают от объяснений и ненужных разговоров, пусть даже самых безопасных.

Привыкший к рассудительности и к простой мысли, что большинство человеческих неприятностей происходят от неумения людей управлять собой, Женя ловил себя на отчетливом ощущении, что ни черта у него не получается! Что он не может совладать с собой, и его побег от Зинки, его нежданый страх никак не совпадает с собственными убеждениями, такими, казалось бы, надежными и не раз проверенными.

Это было подобно катастрофе! Он плыл себе и плыл по спокойной, как морская гладь, жизни в сопровождении фрегата по имени Пат и надежного крейсера па, и никакая угроза ему была не страшна, но вдруг ни с того ни с сего вода закрутилась – все быстрее и быстрее! – засвистел ветер в снастях его корабля, и прямо по курсу разверзлась страшная воронка, засасывающая кого угодно, и он не выдержал, свернул в сторону, спасся, а сейчас бродит по лагерю и не может прийти в себя!

Выходит, не все в этой жизни зависит от одних убеждений. Есть еще кое-что, посильнее, посерьезней человеческих взглядов и правил. И это

самое сильное – просто жизнь, поступки людей и их ошибки, некоторые из них называются преступлениями. От фактов никуда не деться. Они похожи на точные математические правила. Вроде системы, которую не сразу дано понять: людьми управляют факты, совершенные людьми. Логика, похожая на чертовщину!

Что же это было все-таки с ним?

Страх этот дурацкий, откуда он взялся? Да и страх ли это вообще? Жене пришло в голову еще одно сравнение – не самое, впрочем, эстетическое. Перед ним поставили тарелку с куском пирога. И предлагают съесть. Вроде как съесть надо. А пирог этот не нравится ему. Да еще густо намазан сверху крепкой горчицей. И есть его неудобно – он толстый, шире, чем рот, если его даже до отказа разинуть. В общем, он Жене не по зубам. И не по вкусу. Он привык к другой еде. А тут – этот пирог, и другой пищи не дают. И так уж получилось, что ему достался самый большой кусок. И все смотрят, как он с ним справится.

Как взрослеет человек?

Многим кажется, что это происходит постепенно. Ты набираешь чего-то, разных там знаний и пониманий, незаметно для себя вслушиваешься в чужие слова, соглашаясь с ними или, напротив, не соглашаясь, разные обстоятельства и причины меняют твои детские убеждения, и, совершенно невидимо взору, незамечаемо для себя, ты вдруг чувствуешь себя чуточку прочнее, что ли, увереннее в самом себе, ты задумываешься над тем, что еще вчера казалось пустяком, и, напротив, улыбаешься тому, что еще недавно считалось совершенно непреодолимым и страшным – все это, пожалуй, и есть шаг по жизни, взросление, ты становишься совсем другим, чем был еще полгода назад. Но спроси тебя, помнишь ли ты день или час, когда стал старше, и ответить на это почти всегда невозможно. Да, был таким, а теперь вот стал иным, но когда это произошло – и мы пожимаем плечами, считая, что это не так уж и важно. Да так оно и есть.

И все же есть люди, твердо помнящие и день, и час, и миг, когда они взрослеют. Да, один миг.

Женя нашел пенек в роще, по которой бродил. Пенек как пенек. Может, раньше это была сосна. Или ливанский кедр. Только не елка – елки любят север и не терпят южной жары. Пенек утонул в траве – ярко-зеленые, толстые от морской влаги листья осота. А на пне сидел лягушонок.

Женя присел на корточки перед ним – откуда он тут, у моря, ведь не бывает же морских лягушек, это пресноводное земноводное, как утверждал учебник биологии, и болот тут вроде близко нет, может, какой-нибудь земляной лягушонок это был. Или, например, горный.

Лягушонок пошевелился, повернулся к Жене, совершенно равнодушный к здоровым мыслям о том, что его тут не должно быть, сделал смшной шаг к краю пенька, еще один. Забавно! Женя совершенно не знал, что лягушки умеют ходить. Прыгать – это да, но ходить, смешно перебирая задними лапами, которые длиннее передних, – такое впечатление, что лягушонок не шел, а крался.

Крался!

Вот так же крался по жизни он, лягушонок Женя! Ему бы прыгнуть хоть разок, скакнуть по жизни, но он крался, а ему казалось, что он идет или даже бежит.

Женя подумал, что прыгать ему не давала ма, предвосхищая все, даже самые малые его желания, а очень большой человек па боялся поддаться ему коленкой, предпочитал не связываться с Патрикеевной, обходить острые углы, вроде бы одобряя его, Жени, уверенно спокойное отношение к жизни – ха, ха! – нервы – это лишь провода для передачи информации, и жизнь прожить можно уверенно-мирно, без дурацких потрясений, главное – управлять своими чувствами – чего стоит сейчас вся эта чепуха? Когда-то она казалась Жене признаком трезвого понимания жизни. Приметой взрослости. Он чувствовал, будто он живет где-то очень высоко – на последнем этаже самого большого дома, откуда все человеческие страсти видятся в сильно уменьшенном виде. Из-за этого ему казалось, что всякие неприятности сильно преувеличиваются.

И вот он спустился вниз. Зинка стянула его сверху.

Женя содрогнулся, вспомнив ее слезы. Господи, что значит все его благополученькое прозябание, эти дурацкие рассуждения о человеческих неприятностях. Да что он знал вообще об этой жизни! Крался по ней, как лягушонок.

А лягушонок с пенька спрыгнул, исчез, и Женя даже не заметил этого. Он смотрел на срез сосны или, может быть, кедра, на кольца, которыми исчислялись годы дерева, от которого остался один пенек, и ничего не видел перед собой, пораженный мыслью, которая сделала его взрослее.

Он крался по жизни и прокрался сюда, в этот лагерь, к этим ребятам, заняв чье-то чужое место, и нечего тут винить ма или очень большого человека, это подлость, и она принадлежит одному ему.

Зинкина страшная беда и несчастье Генки были неисправимы, даже его, Женю, палило их жаром, их несчастьем, так как же им, этим двоим, и всем остальным – каждый наедине со своей печалью, – как горько и страшно жить после всего, что случилось с ними, и как безотрадно думать о том, что еще будет впереди, и какой тоской и каким страданием обернется беда, отыскавшая их в детстве.

Детство – да было ли это детством, разве можно назвать детством жизнь, в которой происходят такие беспощадные и взрослые беды. Это просто так говорится – детство. Потому что им мало лет. Вот и все. А на самом деле никакого детства нет. Перенеся все, что случилось с Зинкой, и испытав страдания, которые достались Генке, нельзя уже быть ребенком. Нельзя им остаться.

Им досталась горькая взрослость малых лет. Горькая ранняя взрослость. Просто дело в том, что, глядя на этих невысоких взрослых с обличем детей, в детской одежде, все ошибаются, думая, что они и есть дети.

Дело в ошибке взгляда. Взгляд обманывает людей.

Привычка верить своим глазам – может, самая главная и самая трудная привычка. А умение понимать то, что не видно глазу, называется мудростью.

Женя выпрямился, отыскал глазами лягушонка. Выбравшись из травы, он скакал – по-взрослому, по-лягушачьи. И Женя понял, что совершит взрослый поступок.

Он еще не знал, как и когда это произойдет. Но твердо знал: произойдет обязательно.

Женя бродил по лагерю до самого ужина и не знал, что по дружине прошел слухок про их с Зинкой целование. Собственно, слухок этот еще только нарастал – говорили девчонки, кто-то из них видел Зинку и Женю возле моря. К мальчишкам слух этот пока только подбирался.

* * *

На душе у Павла было отвратно. Ночью вчера они с Аней дошли до вожатского дома быстро и молча. Чем быстрее шли они, чем ближе было до лестничной площадки, где следует попрощаться, тем мерзостнее чувствовал себя Павел. Вина наваливалась на него, злость. Вина перед Аней, а злость на себя, что никак не совладает с услышанным и слов никаких не отыщет в запасе, чтобы успокоить, утешить хотя бы.

Получалось, он бежит от нее, от ее беды, не желает разделить чужую тяжесть. Да и то – как ее разделишь? Это ведь не груз какой-нибудь, не походный рюкзак...

Утром в доме вожатых он Аню не встретил, увидел ее уже в дружине. Похоже, она ждала его, топталась возле входа, голова опущена. Заметив его, гордо вскинула пилотку, быстро пошла навстречу, сказала, приближаясь:

– Извини мне мою слабость, про вчерашнее забудь, а у нас с тобой происшествие, вроде ЧП, Зина, помнишь, Наташей Ростовской себя называла, целовалась с Женей Егоренковым, мне с утра уже две свидетельницы рассказали. Что будем делать?

Павел взял ее за руку, подержал за тонкое запястье, выдохнул, проговорил:

– Дай мне время!

– Забудь! – прошептала она, вырывая руку. Повторила совсем уже другим голосом: – Так что будем делать?

– Делать? – переспросил он механически. – А что делают в таком случае профессиональные вожатые?

– Ну, можно поговорить, с каждым порознь, конечно, объяснить, что, мол, еще успеют, все впереди, а пока малы, и это нехорошо.

– Еще?

– Совет отряда, дружины.

– Ты думаешь, это годится?

– На худой конец.

– Какой же у них конец? Все у них в самом начале.

Аня мельком взглянула на Павла, он заметил этот взгляд, и отвернулась, замолчала. Приняла, выходит, на свой счет.

– Самое плохое – чем это может кончиться? – спросил он.

Аня не отвечала.

– Как думаешь? – подтолкнул он ее.

– Засмеют ребята, девчонки начнут сплетничать. Это самое плохое. Ничем не остановишь.

– Но ведь они другие. Вдруг не засмеют? Может, они по-другому понимают...

Аня хмыкнула. Народ уже выбирался на улицу, сейчас надо построить их и побежать впереди колонны на зарядку.

– Так что же делать? – спросила Аня в который раз.

– Ничего, – ответил Павел, – давай не заметим. Это же их дело.

– Ты так думаешь? – Она смотрела на него как-то отчужденно, слегка исподлобья. И вдруг спросила с едва скрытой яростью: – Все благо-родным хочешь быть?

Павел не успел ничего ответить.

– Павел Ильич! Метелин!

– Аня!

Мужской и женский голоса наперегонки окликали их, и Павел увидел, что к ним торопятся начлагеря и его заместительница по воспитательной работе, смешная кудрявая толстушка, вихляющая на высоких каблуках, будто конькобежец, впервые вышедший на лед.

Толстуха взяла Аню под руку, круто развернула ее и повела по асфальтовой тропе в сторону, за кусты магнолии, а начальник подошел к Павлу, сказал, усмехаясь:

– Привет, давно не виделись.

– Что-нибудь случилось? – насторожился Павел. – Звонили откуда-нибудь?

– Звон есть, да не тот, – смущенно ухмыльнулся начальник. – вообще бы мне разговор этот свалить на кого другого, но заместительница у меня женщина, так что я сам, не сердись, друже. Но я вижу, тебе некогда?

– Минуту. – Павел подбежал к отряду, велел Джагиру – его избрали председателем совета – вести ребят на построение, начинать упражнения, сам вернулся назад.

– Разговор не очень серьезный, – по-прежнему смущаясь, начал начальник, – да бабы жмут! В общем, видели вчера на лавочке. Мол, целовались.

Павел понял, что речь о Зине и Жене, махнул рукой:

– Ерунда! Сами разберутся!

Начальник опешил:

– У тебя – что, и дети целуются! Ну-ка, ну-ка...

– А вы о ком? – спросил озадаченно Павел.

– Да о тебе, милый друг. Об Ане.

– Фу-ты ну-ты! – незлобиво ругнулся Павел. Помолчав, сказал: – Да ведь мы вроде совершеннолетние.

– Ладно, – решил начлагеря, – скажу тебе по секрету, мать ее нас одолевает, звонит каждую неделю, вроде того, что мы партбилетами рассчитаемся, если с ней какое происшествие случится, чушь, в общем-то, можно, конечно, озлиться, Аню отсюда отправить, да жаль девчонку, а мамаша у нее, знаешь, из тех гражданок, пушка!

– Какая пушка?

– А помнишь выражение? Когда говорят пушки, музы молчат. Игра в одни ворота. Слова не дает в ответ сказать. Вот так-то! Считаю, что я тебя об этой пушке предупредил по-товарищески, а там смотри.

В общем, время для такого объяснения начальник лагеря выбрал вполне подходящее. Павел скривился как от зубовных мук, покачал головой и побежал догонять отряд, пристроился рядом с Джагиром, перехватил его команды:

– Наклоны корпуса – и-и-раз, и – два...

Он яростно разгонял вокруг себя тихий утренний воздух, лупил руками незримую злобную силу, бежал вдогонку за ней, пинал ее, доставая носками кедров пальцы рук, расходовал себя, свою злость, сражаясь с глупой людской молвой, с намеками, которые виделись ему в виде толстой, самодовольной физиономии, лоснящейся от пота и без конца подмигивающей, с подозрительностью, которая потому так и зовется, что отказывает в порядочности всем и всякому, любого прежде всего считая мошенником, с вероломством, которое стоит на тропке, в руках кистень, и лупит. лупит из-за угла – подозрительностью, намеком, грязной молвой.

Он выдохся в этой драке. Прибежал с отрядом совсем мокрым – надо менять футболку, – задохнувшись, пустым.

Из-за кустов магнолии, точно на сцену, вбежала на площадку перед корпусом Аня, остановилась перед Павлом. В глазах дрожат слезы. "Выходит, ее прорабатывала заместительница, – сообразил Павел. – Интересно, что за аргументы у кудрявой толстухи? Высокие, как ее каблуки?"

Ему стало жаль Аню, он устался на кусты, спросил просто так, лишь бы не молчать:

– Ну, так что будем делать? С пионерами, которые позволяют лишнее?

Он рассмеялся: ничего себе, действительно!

– Слушай, что делать, а? Пионеры целуются! Вожатые целуются!

Аня прыснула в ладошку, а глаза у нее были измученные, усталые. "Неужели все, что она рассказала, – правда? – подумал Павел. – И если правда, как она живет?"

– Что, – спросил он, – мучила тебя эта Мохнатка?

Аня кивнула, пряча глаза. Потом посмотрела на Павла.

– Я – что, я – ладно. Во всем сама виновата. Так они еще и тебя.

– Ань, – сказал Павлик, – ты вчера. . . Это все правда?

Она разглядывала его как-то горестно, совсем по-бабьи. Потом обронила:

– Ах, Павлик. . . Еще какая!

Первые признаки беспокойства Женя почувствовал во время завтрака. Бондарь и Сашка Макаров сидели по другую сторону широкого стола, чего-то шептались, часто наклонялись друг к другу, хихикали, а потом глазели на него. Раньше бы он посмотрел в ответ таким спокойным,

остужающим взглядом, что вышиб бы из пацанов даже посягательства на обсуждение его персоны, но теперь он потерял свою уверенность, забыл обезоруживающие слова, и это, похоже, заметно, даже взгляд его потерял былую уверенность, вроде как он задумался глубоко, а ведь часто бывает так, что, стоит человеку задуматься, всем кажется, будто он растерялся. И начинают его колошматить.

Через часок после завтрака Женю нашел Генка. Он был прямой человек, этот Генка, ему не требовались никакие финты, никакие подступы, он подошел с выпученными глазами и брякнул:

– Ты чо, с Зинкой целовался? Вся дружина говорит!

Если бы целовался, а то целовали его, как истукана!

Конечно, можно было объяснить, что случилось перед этим. Если бы Генка мог услышать Зинкину тайну своими ушами! Но все это было запретным предметом! Как тут, какие слова найти, что бы вразумительно объяснить Генке? Объяснить необъяснимое?

Женя смотрел на Генку, маясь своей немотой и отчетливо понимая, что чем дольше он молчит, тем меньше ему веры у Генки, тем больше сомнения в его порядочности, ведь когда молчат и не могут объяснить происшедшее, другие люди считают, что все дело в том, будто с ними не хотят говорить. Не хотят объяснить, поделиться, и это вызывает обиду. Все переводят на самих себя – как, видите ли, относятся к ним, друг относится к другу, а подруга к подруге, и никому невдомек, что дело не в хотении, а в невозможности.

– Так получилось, Генка! – проговорил Женя.

– Ну, ты молодец! – сказал Генка, но глаза его выражали совсем другое.

– Какой там! – махнул рукой Женя. Помолчав, попросил: – Ты меня не мучь, Геныч!

– Влюбился, что ли? – с ужасом воскликнул тот.

“Влюбился?” Женя первый раз подумал об этом. Значит, все дело в этом. Дружина обсуждает, любовь у них или нет! Вот это да!

Впрочем, а что тут странного? Люди целуются, когда любят, это известно с первого класса, ну, ладно, пусть со второго. Конечно, еще целуются родные, друзья, если, например, давно не виделись и потом встретились, но это совсем другое, а здесь речь совсем об ином. Маленькие целуются! Но какие же они маленькие? Особенно Зинка. . . Дурочка она, конечно, глупая. . .

Женя вспомнил снова грубую штопку на ее лифчике, и жалость снова сотрясла его, только она, эта жалость, стала сильнее, беспощадней, и к ней, наверное, прибавилась его трусость вчера на пляже, его детский испуг перед такой взрослой правдой, а еще стыд оттого, что он выдает себя за другого, его вранье, пусть молчаливое, а все-таки вранье, вранье, великое вранье. . .

Влюбился? Он? Женя? А может быть, и правда влюбился? Неужели так это и бывает – пожалел и влюбился?

Женя вздохнул, покрутил головой, ответил Генке, все еще таращившему глаза:

– Не знаю, Геныч. Что такое любовь?

– Ну, любовь, – сказал Генка глубокомысленно и закатил глаза к небу.
– Это когда любят!

– Рано нам еще об этом думать! – усмехнулся Женя.

– Рано – не рано! – неожиданно взъелся Генка. – Да кому какое дело!
Будто речь шла о нем, а не о Жене, Генка метался перед ним, кусал губы, мотал головой, как припадочный, и вдруг заговорил:

– Да знаешь ли, о чем я больше всего думаю? Ты только не смейся!
– Не дождавшись ответа, крикнул сдавленно: – А чтобы поскорее вырасти, понял? Чтобы поскорее паспорт получить, потом жениться! И все забыть, ясно?

“Наивный человек, – подумал Женя. – Он хочет все забыть, рассчитывая только на себя. А если его подведут? Если предадут, что тогда?”

Но сказать это Генке он не решился. А тот все говорил:

– Понимаешь, будет свой дом! Никто свой нос к тебе не сует! Своя семья – жена, дети! Это неправда, что нельзя хорошо жить! Надо только любить друг дружку! Верить!

“Любить! Верить! – отвечал ему про себя Женя. – А если все, как у Зинки? Она же сама себя мучает!”

Неожиданное облегчение вдруг явилось к нему. Он вздохнул освобожденно от этой ударившей его мысли: а правда, любить и верить можно всем, независимо ни от каких, даже самых мучительных фактов. Все эти обстоятельства – мура собачья, вот и все, если ты любишь и веришь. Как можно обмануть того, кто любит тебя?

– Геньч! – сказал Женя. – А ты мудрый человек! Я тебя сразу не понял.

Генка остановился перед ним, посмотрел на него, пораженный, будто только что увидел, – до того он погрузился в свои мысли, – и ответил, вполне серьезно сказал:

– Никакой я не мудрый. Я, понимаешь, свою голову хочу отрезать, чтобы ничего не помнить.

И вдруг он заплакал. Точно так же, как Зинка. Не отворачиваясь, не закрывая глаза, просто слезы лились, капали, как горошины, и он их торопливо смаргивал.

Женя содрогнулся опять, в который раз за эти дни! Совсем неожиданно горло перехватила удушливая спазма, челюсть свело, зубы закрипели друг о друга, и слезы застлали, сделали расплывчатыми Генку, серый асфальт под ногами, море, сверкающее безмятежно и счастливо.

Первый раз в жизни, не считая, конечно, раннего детства, плакал благополучный мальчик Женя, пожалев этого тонконового воробья, своего товарища Генку. Все его существо сотрясла Генкина мечта, его неслыханное желание – забыть самого себя, свою историю, горе, которое подкинула ему судьба, – будто в подкидного дурака она играет, одним козыри да тузы, а другим горькие, битые карты, – и он заплакал от этой несправедливости, от тоски, от взрослого понимания, что нет, никуда не деться Генке от своей памяти, отрезать собственную голову невозможно, даже в детских сказках никогда еще такого не было, Змею Горынычу – да, отрубали головы, и новые у него тут же отрастали, но ведь Змей – недобрая, злобная сила, какой же Змей Геньч, худой, с прозеленью на висках, возле глаз, пацаненок, обугленный черныш,

трясущийся вот сейчас, ничего, ни черта не понимающий ни в жизни этой проклятой и радостной, ни в смятении своем, неутихающей душевной маяте, ни в слезах своего приятеля Женьки, о котором он не знает совсем ведь ничего-ничегошеньки.

Говорят, эгоизм с рождения заложен в человечесю породу. Да, он силен, слов нет. И чем дальше от детского первородства, тем, увы, крепче он. Глядишь, уж и сын для матери не отыщет доброго словца, грызутся, словно звери дикие, муж и жена, всего лишь несколько кратких лет тому назад больше всего на свете желавшие счастья друг другу, а причина того – нежелание отступить от себя, мелких своих прав, раздутых до размеров небесной бури, другими словами – глубокое упрямство на мелком месте, нетерпимость и неуступчивость, в общем, эгоизм, когда собственные, даже крошечные интересы вдруг становятся важней уважения самой людской сущности близкого – не говоря про далекого! – человека.

Крепчает, набирает силу тяжкая людская буря! Трещат снасти мужского товарищества, рвет даже самые суровые паруса зависть, оговор, сплетня, и жизнь, задуманную праведно, справедливо, кособоцит, делает хромой и жестокой человеческий обман, неискренность, и вот уж библейские, а в сущности народные, в веках выстраданные истины, как в комиссионке, уценены неряшливым, потливым дельцом – то ли продавцом, то ли скупщиком, лавка его уже полна перелицованных правил – налетай, подешевело! – по которым мать, не знавшая горя, дарит дитя свое отечеству – держи, милое! – чтобы скрыть блуд и начать новую попытку обретения безмятежного счастья, неважно, что счастье это сплано на несчастье собственной же плоти, брошенного ребенка. Не предай – гласит человеческая честь, но по уцененным истинам перекупщика ничего не стоит подставить ножку другу, предав его в истовом старании обогнать, не пропустить вперед; не укради – усовещает чистота, но перелицованное понимание порядочности позволяет оправдать кражу не только ценностей, но даже идей бесстыдным оправданием, что каждый имеет право на благополучие и первенство; не убий – вызывает страх наказания, но убивают, убивают завсегдатаи моральных комиссионков веру в правду, в справедливость, в родительскую надежность, которой только и может быть силен маленький человек и без которой, как без опоры, рухнет, не устоит, что бы мы ни строили, какой бы причудливый замок ни возводили в надеждах наших и сердцах.

Увы, мир несовершенен, не новое замечание, но что же делать, куда грести каждому в этом неведомом океане, называемом дальнейшая жизнь, чем измерять общие истины, какими мерками и какова гарантированность их надежности, ведь истина этой меры должна быть вечной – не вчера и не завтра – во все времена. . . Неужто же меры этой нет на белом свете, и перекройка истин останется навсегда зависимой от жонглерских способностей комиссионщиков, и плыть нам всем в никуда и в нечто, теряя надежду, впадая в неверие и цинизм?

Нет же, нет!

Есть такая мера, и истина такая есть, да только в забывчивости своей

мы взрослость свою, значение ее преувеличиваем. Ведь истина – всегда истина, для всех людей, живущих едино, и возраст тут не помеха, не объяснение, не прощение. Как же редко, утопая во взрослой суете, в страданиях, среди которых самое главное страдание – предательство истины, забывают взрослые люди о том, что были когда-то детьми. А в детстве были способны на чувствования высочайшие и чистейшие! Где же, на какой тропе растеряли себя?

Нет, не пустыми мечтами, не надеждами, что, поправ честь, потом сумеешь искупить вину, не мыслью, что грешат все до единого, надо обмерять свою жизнь и поступки, а правдой детства. Его чистотой.

Да устыдится предающий! Да остановит нечистое дело свое крадущий! Да не убьет вознамерившийся! И пусть окоротят они себя не страхом наказания, не угрозой позора, не укором раскаяния, а самими собою, чистотой собственного детства, его надеждой, верой и любовью!

Снимите же шляпы перед детством, стяните картузы, спрячьте форменные фуражки, разгладьте картонные свои, лживые, приклеенные улыбки, люди, забывшие детство!

Посмотрите: мальчик плачет!

Он плачет не от утраты, не от беды, которая случилась с ним, не от боли, ему причиненной.

Он плачет потому, что горько другому.

Он, выросший в покое, не знавший лишений, плачет от того, что собственная жизнь показалась ему несправедливо благополучной. Он испытал беспомощность от того, что не может отдать Генке хотя бы частицу своей жизни. Ему стало стыдно перед Генкой. Совесть мучила его, точно жажда.

Мальчик плачет от того, что ему стыдно перед другом. Хотя вины его в этом нет.

Разве грешно измерить взрослую совесть такой детской мерой?

Все это происходило среди кустов магнолии, цветущей нереальными, невзаправдашными, огромных размеров цветами, будто они вовсе и не цветы даже, а великолепными мастерами сделанные театральные декорации, и вот в этом раю, в этом саду Эдема, благоухающем волшебными ароматами, плакали двое мальчишек, и некому было их утешить, кроме разве этой природы, слишком сладостной, приторной даже для их горькой правды, а взрослых людей не было поблизости, как это часто бывает, они не знали, не видели самого главного: Аня со своими девочками рисовала очередной номер красочной дружинной стенгазеты, а Павел вел занятия морского клуба, где речь шла о морских лодциях и обязанностях лодчмана, мастера, который хорошо знает глубины, рельеф дна в том или ином районе и высылается с берега в помощь капитану при проводке, скажем, сквозь проливы или же при подводке судна к порту. Интереснейшая, к слову сказать, тема, мальчишки собрались все, застряли только где-то Егоренков и Генка Соколов из Волгограда.

“Надо же, – еще подумал Павел, – Егоренков-то! Не числится в собственном интернате. А то вдруг – числится. Надо будет как-то аккуратно с ним потолковать, понять, в чем там дело, но именно аккуратно, сразу видно, он какой-то ушибленный паренек, что он тогда говорил о себе, на вечере знакомства?”

Павел напряг память, но ничего путного вспомнить не смог. “Все они друг на дружку похожи!” – вздохнул он про себя и тут прискакал дежурный пионер, сказал, что Павла Ильича зовет к телефону начальник лагеря.

Он чертыхнулся в душе: чего ему надо опять! Хорошо, конечно, поплакаться в жилетку начальству, если ты устал, поделиться сомнениями, испроситься, как у старшего, совета, увы, мы не всегда мудры в одиночку, но если начальство начинает проявлять ответный, к тому же часто преувеличенный интерес или, хуже того, обсуждать сплетни, как это случилось утром, подавать советы, звонить – что еще приспичило ему! – тут уж охота вжать голову в плечи, нырнуть под воду, спрятаться в кусты, чтобы только оставили в покое, вернули все на прежние места, когда ты всего-навсего один из многих. Да, дорого стоит быть обыкновенным, рядовым, обычным, но цену эту по-настоящему понимаешь лишь тогда, когда тебя терзают вниманием.

Начальник лагеря сказал в трубку:

– Метелин, а ты ведь наворожил! В проходной какая-то сумасшедшая мамаша! Явилась навестить сына! Мы, конечно, ее проводим, законы наши сам знаешь, но ты все же сходи! Посмотри, что к чему, раз уж в это дело влез! Потом расскажешь!

– Иду! – сказал Павел и поспешно положил трубку.

Он даже не спросил, чья мать бушует в проходной. Володи Бондаря, разве не ясно? Прав начлагеря, какая-то чертовщина, вчера только узнал Павел о существовании этой женщины “не в себе”, как предупредила суровая директриса из Володино детского дома, и, глядь, суток не прошло, как та заявилась: нате вам!

Пришлось отдать на ребячье рассмотрение драгоценнейшую книгу – лоцию Крымской акватории, пять раз наказать, чтобы обращались с ней как с реликвией, книжица эта была из бриллиантовых фондов местной библиотеки, которую всякий раз, как приезжала новая смена, одалживала по великому дружелюбию лагерная библиотечарша Зоя Степановна, чтобы придать занятиям юных моряков в приморской дружине предельную серьезность. Зоя Степановна была дочерью моряка, женой моряка, матерью моряка и считала, что на морскую тему не может быть никаких забав – или всерьез, или никак! – и всякому новому вожатому в “Морской” дружине внушала эту мысль с первого же часа и давила на сознание до тех пор, пока не видела отчетливого осознания всей важности морского дела.

Павел разобрался в библиотечарше сразу, а когда она принесла лоцию, зачитался сам, в полном восторге от названий, описаний и лоцманских рекомендаций, которые еще со школьных времен, оказывается, были внушены ему книгами Константина Паустовского.

Павел вскользь упомянул это имя в разговоре с Зоей Степановной,

та просияла, и у них установилась прочная дружба, которую вот теперь приходилось испытывать, отдавая лоцию, пусть и ненадолго, в руки ребятам.

– Смотрите, братцы, – еще раз попросил он пацанов, – эта книга дороже всяких денег! – Павел оглядел мальчишек, его взгляд остановился на Володе Бондаре. Как он говорил тогда: "Я больше всего на свете люблю море! Мы выйдем в открытое море?" И вот теперь он, Павел, увидит его мать, господи, сколько же бед у этой ребятни. Что там на самом деле у маленького Володи? Смотрит на Павла ясными, чего-то ждущими глазами, верит, что отец у него плавал на атомной подводной лодке, а в каком-нибудь километре отсюда, в проходной – его реальность, его правда, а он и не подозревает, что эта правда так неподалеку от него ходит.

Павел отвел глаза, увидел Сашу Макарова, его называли в честь русского адмирала, так он хотел по крайней мере, сказал ему:

– Ответственным за лоцию назначаю Сашу!

И пошел к проходной.

Проходная в лагере была устроена по всем правилам, как настоящий КПП – контрольно-пропускной пункт: автоматически открывающиеся металлические ворота, нарядное здание с огромными стеклами на три стороны, приветливые цветочки по стенам, пионерская атрибутика, но приветливость здесь соединяется со строгостью: посторонним вход запрещен и приезд родителей теоретически возможен, но нежелателен, ведь это же самих детей ставит в щекотливое положение при великом лагерном равенстве, и уж, конечно, ребят родителям не дадут, это все-таки не обычный загородный пионерлагерь, куда мамыши тянутся на родительские дни с сумками, набитыми жратвой, будто главная их родительская суть в том прежде всего состоит, чтобы набить брюхо любимых чад до отвала, чтобы малыши шли назад, к лагерю, из близлежащей рощи с животами, перекошенными вперед, с вытарашенными от обжорства глазами, зато ошастливленными любовью, выраженной весьма убедительно – усиленным маменькиным кормлением. Нет, здесь был особый лагерь, и даже самым любвеобильным родителям не приходило в голову являться перед железные ворота с сумой домашних харчей. Вообще родительский приезд – прилет! – был тут чрезвычайным событием и редко связывался с хорошими известиями. И хотя родительское явление не вписывалось в лагерный режим и совершенно не планировалось, в праздничном домике при воротах кроме помещения для вахтеров был еще нарядно обставленный холл, с красивыми, болатного плюша диванами и креслами и голубым ковром в центре комнаты.

Вахтер молча кивнул головой на дверь, ведущую в холл, у старика – здесь обычно работали пенсионеры – заметно тряслись руки, и Павел подумал, что впереди у него нестандартный разговор.

Он вошел в холл. На диване, в его углу, эффектно облокотясь, сидела такая роза не первой свежести.

– Здравствуйте, – сказал Павел.

– Ах, какой пионерчик! – восхитилась дама.

Он попробовал было мысленно реконструировать эту личность. Если бы не первая фраза, ее вполне можно принять за учительницу – на лице импозантная самоуверенность, дамочка, знающая себе цену, и, видать, высокую. Это если рот закрыть и она молчит. Но стоило ей сказать первые три слова, как цены явно снизились. Сверкнул позолоченный мостик во рту, будто блесна, развязная манера произносить слова. Захлопнула рот, и снова – ничего гражданка, и одета со вкусом – всегда модный стальной цвет платья, сшитого у хорошего портного, подогнанного строго по фигуре, высокие – дань времени – плечи, волосы не вполне естественного серого, под глаза, цвета, хитроумно подкрашенные каким-то новейшим способом, черная строгая сумочка, на одной руке золотые часы, на другой – цепочка с пластинкой, где заграничные автомобилисты гравировали группу и резус своей крови на случай аварии, но здесь пластинка девственно чиста – просто украшение, за это стоило бы снизить баллы, если бы, как в гимнастике, за внешность выставлялись оценки. Да еще пять баллов следует скинуть за медальончик – дешевое на вид, хоть и дорогое по деньгам сердечко, какие обычно любят приворовывающие буфетчицы.

– Вы что хотели? – спросил Павел, не садясь. Он не планировал длительного собеседования, в принципе ей вполне достаточно было бы объяснения с вахтером, ясного, как яйцо: "Встречи не рекомендуются!"

Он пришел сюда скорее из любопытства, из его и начлагеря любопытства, ему просто хотелось посмотреть на одну из них.

Женщина мгновенно переменилась. Сняла ногу с ноги, руку убрала со спинки дивана, положила ладони на колени, сразу вся сжалась, сникла, произнесла проникновенно, глядя Павлу в глаза:

– Вы же все тут талантливые, передовые педагоги! Я читала! Вы-то должны меня понять. Вы же не солдафон вроде этого старикашки вахтера!

– Я вас слушаю! – прервал ее Павел, смягчая интонации.

– Сына бы мне повидать! Сашу Макарова!

Чтобы выиграть время, Павел повернулся, подошел к противоположному дивану, снял пилотку и сел. Так. Ясно. Значит, Сашу Макарова. Действительно, она не похожа на женщину не в себе. Эта очень даже в себе.

– Отдыхаю вот здесь неподалеку, – слушал он объяснения, – выяснила, что он здесь, такое счастье, хорошо ведь учится мальчик, я им горжусь!

– Саша Макаров действительно у нас, – сказал Павел, подумав. – Он вполне здоров. Чувствует себя хорошо. Спокоен. И нам дорого его спокойствие.

Он старался выбирать слова поубедительнее, говорить лаконичнее, точнее.

– Мне тоже! – воскликнула женщина очень искренне.

Павел едва сдержался, чтобы не усмехнуться, не выдать своего отношения. В конце концов он сейчас представитель лагеря, парламентар на переговорах с противником, и у него есть свои обязанности. Он не отреагировал на восклицание, продолжил свою мысль.

– Кроме того, – сказал он, – Сашу сюда прислали не вы. . . – Он замялся

и уточнил: – Не родители. А детский дом. Так? В чем же тогда дело?

– Вот мой паспорт, – не услышала она, – а вот Сашина метрика, посмотрите, может быть, вы не верите, я его мать.

Павел лихорадочно копался в памяти, вспоминая, что же сказал Макаров о себе, кроме того, что он дальний родственник знаменитого русского адмирала, и ничего не мог вытащить из себя. Детский дом где-то ближе к югу, кажется, в Ростовской области, совсем рядом, чего же он туда-то не позвонил.

Документы пришлось взять – из простой вежливости, хотя какая тут, к черту, вежливость! Выставить бы поскорее эту красотку!

Павел посмотрел метрику, имя, фамилию, отчество отца были подчеркнуты, машинально полистал паспорт. Все как у людей – фотография, штамп о прописке. И никаких отметок о лишении материнства.

– За что же вас так наказали? – спросил он неожиданно для себя, возвращая паспорт, и захлопнул рот. Это было нарушение парламентарских обязанностей. Он получил за это без всякого промедления.

– А тебе какое дело! – окрысилась женщина, даже лицо у нее стало страшным, с оскалом. Тут же, без всякого перехода, испугалась, сказала, точно оправдываясь: – Мало ли у кого как жизнь поворачивает!

Павел кивнул: что тут спросить? Она будто ухватилась за эту его дурацкую снисходительность, вскочила с дивана, подбежала к нему, схватила его за руку, зашептала:

– Паренек! Давай сговоримся! Я тут пошляюсь, а как стемнеет, ты мне его через забор подсади. Или еще как! Я с тобой рассчитаюсь, не сомневайся. Хочешь, денег дам, я не жадная, может, потому и живу как дура. Или хочешь – так сочтемся, доволен будешь!

– Как – так? – ошарашенно спросил Павел.

– Ну – как? Так! Не понимаешь?

Он рванул назад, по-настоящему испугавшись.

– Вы хоть понимаете!.. – крикнул растерянно.

Дверь распахнулась, на пороге стоял вахтер:

– Да гони ты эту суку, господи меня прости! – закричал он.

Она завизжала в ответ:

– Сволочь! Тюремщики! В тюрьме и то законы лучше! Можно свиданку получить! А вы! Вы!

– Сейчас милицию вызову! – крикнул вахтер.

Мать Макарова хлопнула дверью, истерично всхлипывая, вышла на улицу.

Павел увидел в окно, как к ней откуда-то, лихо тормознув, тотчас подкатила бежевая "Волга", из нее выскочили двое мужчин, один высокий, в светлой навывпуск форсистой рубашке, с рюшечками по груди, другой боксеристого вида. Длинный повел ее к машине, наклоняясь, видно, уговаривал, а второй двинулся на полшага позади, хохотал и вдруг крепко хлопнул дамочку по ягодице. Она мгновенно развернулась, огрела сумкой коренастого, смазала ему точно по щеке, но от второго удара он уклонился коротким, профессиональным движением головы, а женщина все наступала, только быстро бежать ей не позволяли каблуки, боксер же был ловок и увертлив, отступал, поддразнивая женщину, а на словах утешал ее:

– Лидка, не злись! Я же говорил тебе, Лидка! Брось, Лидка! Дружбы не понимаешь! На черта тебе эти выдумки!

А она махала элегантной черной сумочкой справа налево и слева направо, пока, наконец, коренастый не сделал вперед резкого, какого-то бодливого движения.

Он схватил ее, хохоча, замкнул свои красные кулачищи у нее за спиной, оторвал от земли и легко понес к машине. Высокий уже распахнул дверцу, угодливо улыбнулся, и боксер сунул женщину в машину. Уверенно, по-хозяйски, словно вещь.

Она уже не плакала, не махалась сумочкой. "Волга" взбила колесами пыль и резко, будто убегая, метнулась от лагерных ворот.

* * *

Женя с Генкой заявили в отряд смиренные, притихшие, только никто и не заметил, как они пришли, потому что над столом, где сидели мальчишки, стоял ор. С трудом они разобрали, что Сашка Макаров, которому Пим наказал отвечать за какую-то важную книжицу, просто сел на нее и сидит. Вот народ и объяснял ему про его тупость и глупость.

Всякая детская каша заваривается с пустяков, словечко за словечко – и понеслась такая дурь и неразбериха, что размотать и успокоить такую сумятицу будет нелегким, непростым и долгим делом.

Пацаны будто соревновались, обзывая Сашку, выбирая прозвища одно красочнее другого, и в этом живописном реестре слова "пентюх" и "тетеря", "оглоед фигов" и "растебай стоеросовый" были, пожалуй, самыми пристойными и цензурными.

Слова эти будто бы стукались, догоняя друг друга, выбивали искру, а в ребячьем народе необыкновенное веселье всегда нарастает горячим, прижигающим комом, и уж тут плохо кто помнит, что такое мера и милость. Драка и та в один какой-то миг затухает, будто бойцы спохватились, охолонуло их, остудило мыслью, что злость, обида, желание отомстить и те имеют пределы, за которыми они уже сущая бессмыслица, а вот усмеха края нет, не меряя край его, особенно у смеха детского – жестокого, без жестокости задуманной ранее, но оттого не менее легкой и легко переносимой.

Сашка оказался закаленным. Мальчишки пуляли в него бранными словечками, а он сидел, совершенно равнодушный, казалось, к происходящему. Только светлые его глаза побелели.

– Хрен ты моржовый! – вспомнил кто-то.

– Пень трухлявый!

– Плесень амбарная!

– Нетопырь склизкий!

Как ни изголялась пацанва, ничего Сашку не пробирало, пока Пиров, сидевший возле него, не крикнул самое простое, но отчего-то заботое:

– Сукин сын!

И уточнил зачем-то:

– Сучкин сын!

Сашка повернулся к нему, внимательно посмотрел на пра-пра-правнука великого врача, глаза его совсем побелели, как у вареной рыбы сделались, он выхватил из-под себя драгоценную книгу и без всякого к ней уважения опустил на голову Кольки. Пронзозел гулкой звук, можно было подумать, треснула голова, Колька беззлобно обиделся: "Ты чо!" – а Вовка Бондарь крикнул: "Правильно!" – и совершенно ясно было, что ему Колькино выражение не понравилось, и он одобряет Сашку.

А Макаров вдруг выпустил книгу из рук, она грохнулась прямо в пыль, а сам он как-то косо упал головой на стол и весь задергался – короткие судорожные движения всем телом, будто его подключили к проводу высокого напряжения. Полминуты мальчишки, оцепенев, разглядывали его.

Жене было хорошо видно, как посерело лицо Сашки, а на синих губах выступила пена.

– Что же вы! – крикнул он.

– Он эпилептик!

Это громко говорил Генка. Громко и уверенно.

– Вызовите врача! – командовал он. – А Сашку надо держать, чтобы он не упал!

Трое или четверо пацанов обхватили Сашку со всех сторон, а Генка крикнул:

– Палку! Надо палку! Женька! Обломи ветку! Толщиной с большой палец!

Женя лихорадочно рванулся к кусту магнолии, выдрал ветку, кинулся к Саше. Генка принял палку, обломил ее быстро, точными, сильными движениями, велел мальчишкам обернуть Сашку лицом к нему, разжал ему зубы, вставил палку, как собаке, во весь рот, которую Макаров тотчас же прикусил.

Он страшно хрипел, все дергался, и эти его судорожные движения становились все сильнее, уже пятеро с трудом удерживали бедного Сашку.

Откуда-то стайей коршунов налетели взрослые – сперва Аня с девчонками, потом врачиха и медсестра, еще один врач, какие-то люди с носилками, а Сашку все корежило, и никакие уколы ему не помогали. Когда его грузили в машину "Скорой помощи", подбежал Пим, бестолково хватал Сашку за руку, зачем-то звал его:

– Саша! Сашок!

"Скорая" сирену не включила, но синий маяк на крыше заморгал, захолопал опасным, потусторонним светом, и в жуткой тишине, с помаргивающим знаком опасности Сашка исчез с их глаз.

Толпа пионеров с двумя вожатыми онемело постояла еще с минуту, потом все побрели обратно за стол, расселись. Девчонки шушукались, спрашивали мальчишек о подробностях, но те были дружно понуры и не отвечали.

– Что тут случилось-то? – устало спросил Павел, обращаясь ко всем сразу.

– Это я во всем виноват, назвал его сукиным сыном, – поспешно

сказал Колька Пирогов, и Женя удивился легкости, с какой он признался. Случись что-нибудь похожее в их классе, истину вытягивали бы клещами, со слезами и скандалами. Наверное, еще из-за этого он терпеть не мог никаких скандалов, обходил всю свою жизнь острые углы.

– Нэ один ты! – воскликнул возбужденно Джагир. – Мы все его травили! Потому что он на вашу книгу сэл! Слишком атвэтственный!

Пирогов будто не расслышал тирады Джагира, прибавил:

– Даже сучкиным сыном!

Женя увидел, как вздрогнул вожатый, во все глаза уставился на Кольку. А тот вздохнул:

– Дурак я!

– Все мы дураки! – опять воскликнул Джагир, встал с места, прошел несколько шагов, поднял с земли лежавшую под скамейкой книгу.

Павел Ильич оглядывал ребят с каким-то непонятым любопытством, Женя почувствовал его взгляд на себе и удивился: чего это он так уставился? Тут же нахлынула старая тоска: неужели Пим что-нибудь узнал про него? Или просто так понял? Надоело чувствовать себя укрывшим что-то. . . Да тут еще ребят будто прорвало.

– Елки-палки! – заговорил вдруг простодушно Колька Пирогов, – да когда меня обзывают сукиным сыном, я совершенно не обижаюсь! Ха-ха, да все мы сукины дети! У меня вон мамаша такая стерва, пробу ставить некуда!

– Коля! – воскликнул Пим, и Женя увидел, как он дергается – скулы покрылись румянцем, он что-то хочет сделать и не знает что. – Ты же сам говорил, будто у тебя родители в Африке погибли.

– Если бы так! – сказал Пирогов отчаянным каким-то и очень резким голосом. – Я был бы счастлив!

Женя уставился на Кольку. Да что же он говорит! Значит, все-таки он врал раньше, получается. Но если это даже правда, что заставляет его так говорить о родителях? О матери?

Он не успел всерьез поразмышлять о странностях Колькиных речей, его публичных признаний, как тут началось такое. . . Настоящий шабаш!

– Бог ты мой! – сказала Полина, отец у которой был героический монтажник с Саяно-Шушенской ГЭС. – Стоит от этого падать в обморок! Ну и что? У меня тоже маманя – шалава, ее прав материнских лишили. Может быть, мне теперь не жить прикажете?

Полина еще тогда, на вечеру дружбы, поразила Женю своей хлипкостью, худобой. Но в тот раз ему было не до нее, и он, к своему стыду, только теперь хорошенько разглядел ее. Серенькая, веснушчатая, тонкие ножки и ручки, какая-то плоская, удлиненная голова с блеклыми, выцветшими глазами болотного цвета. Вид у Полины был слабый, неуверенный вид, но вот говорила она, словно смелая взрослая женщина.

– Как напьется моя шалава, так нового мужика домой ведет! Я за ситцевой занавесочкой, а они там милоются. . . Жила я как на вокзале или, например, в проходнушке, потом ее засудили, чтобы, значит, она меня отдала. Не отдавала, опять напилась, так меня дядечки-мильтоны увозили.

– А у меня! – кричали вразнобой ребята и девчонки.

– А я!

Но Полина голос уверенный свой повысила, засмеялась:

– Дак я когда в детдоме-то оказалась, да в чистой постельке, да на чистом белье, заревела прямо от радости-то! Провались она пропадом, такая маманя!

Женя снова глянул на Павла Ильича. Ему бы прервать эти откровения, скомандовать, например, построение или еще что придумать, а он, похоже, хоть и взрослый человек, одурел от этих росказней, облокотился о свою книгу, взялся ладонями за голову и глаза опустил, молчит, про Аню же и говорить нечего: закрылась руками, будто ей что-то страшное показывают. Странные люди!

– Что это у нас получается? Вечер честности!

Женя вздрогнул. Знал он, не мог не знать, что Зинка не промолчит, а все равно вздрогнул от ее пронзительного голоса.

– Еще светло! – сказал кто-то. – Какой вечер!

– Значит, утренняя! – обрадовалась Зинка. – Утренняя честности?

– А что страшного? – спросил ее Ленька Сиваков из Смоленска. – Это даже хорошо. Все друг про дружку знать будем. Да и надоело это вранье! Дома-то ведь про нас все знают.

– Все ли? – спросил Пирогов.

– Все не узнаешь, – сказала Полина.

– Вообще в жизни столько непонятного! – сказал, удивляясь, Ленька. – Вот я, например, здесь, в этом лагере, куда одних отличников пускают, а мать моя в тюрьме! Скажи кому потом, когда вырастешь, ведь не поверят! И отец мой сидит!

– За что? – спросила Полина.

– Мать пивом в ларьке торговала. Доторговалась. А отец кого-то в драке крепко пришиб. – Он подумал, засмеялся. – Так что мне одна дорожка!

– Брось трепаться! – усмехнулась Зинка. – Пахана тут из себя строить! Вот вы лучше про меня всю правду послушайте!

Женя почувствовал, как громко, на весь лагерь заколошматилось сердце у него в груди. Что за девочка эта Зинаида? Чего все под ней горит-то! Почему язык у нее, как пропеллер? Жене стало страшно и досадно за Зинку, захотелось вскочить, подбежать к ней, закрутить, если надо, руки за спину, развернуть ее спиной ко всем и, толкая впереди себя, угнать в рощу или на пляж, а там отпустить и сказать такое... такое... Чтобы опомнилась, дурочка, поберегла себя, жизнь же только начинается, и кто знает, как обернется еще эта наивная детская честность.

Он устал, бесконечно устал от собственного вранья. Оказывается, не он один. Великое вранье на вечере знакомства надоело не только ему. Не его одного мучит ложь. Но и такая, как у Зинки, честность. . . Кто ее поймет? Кому она нужна?

– Тоже мне, Наташа Ростова, – буркнул рядом Генка. Он недовольно глядел на Зинку.

А она вдруг сказала совсем для Жени неожиданное:

– У меня никого нет. Ни матери, ни отца, ни родни! Я никого не знаю. Что мне делать?

"Опять двадцать пять, – подумал Женя. – Еще одна история".

Но удивительное дело, дружина притихла.

– Па-аслушай-тэ! – закричал вдруг в тишине Джагир ломающимся, петушиным голосом, и все повернулись к нему. – Эта что выходит! Вы мнэ все завидывать должны? Патаму что маи радитэли савсэм погибли? Подумайтэ, что гаваритэ! Подумайтэ, сумасшедшие дрянные девчонки! – Он чуточку подумал и прибавил: – И мальчишки!

Женя не раз бывал со своей высокой свитой в Москве и однажды катался с настоящих американских гор, есть такой аттракцион в парке имени Горького – вроде ничего особенного, забава как забава, по холодному размышлению никогда и ничего страшного там произойти не может, все обеспечено надежностью техники, но все-таки сильное ощущение! Тебя встряхивают эти почти отвесные падения с крутых гор, кровь прижимается к стенкам сосудов, голова отлетает назад, сердце останавливается. . .

Не так уж долго происходило это извержение честности, но такой горячей была лава, выливающаяся наружу, такой горечью обдавало Женю, что чувствовал он себя точь-в-точь как на американских горках. То обрушивался в бездонную глубину, то его вышвыривало назад, отчего к горлу подкатывался комок, то переворачивало вниз головой и, кажется, вытряхивало, упорно вытряхивало из него что-то, душу, может быть, то, что называется душой – а она не вытряхивалась, была в нем и снова мучила, крушила, раскатывала ее неведомая власть.

"А кто – я?" – спрашивал он себя и ужасался себе, обстоятельствам, из-за которых здесь оказался. Пат? Всемогущий ОБЧ? Да при чем тут они? Ведь и я человек тоже! Так вот он, этот человек, изволил любыми неправдами съездить в замечательный лагерь! Не знал, куда попадет? С кем?

Но кто извинит за это?

Зинка? Геныч? Или Сашка Макаров, трясущийся в припадке страшной болезни?

Как им объяснить?

И кто поймет?

Сказать Джагиру: "Послушай, друг, ради бога, не сердись на меня, у тебя родители погибли в землетрясении, а у меня они живы, и ты приехал в этот лагерь потому, что у тебя их нет, а я потому, что они у меня есть".

Что ответит Джагир? "Уйди, мразь!"

А Генычу, теперь уже дружку – как ему объяснить? "Генка, так вышло, черт побери! Я же не знал, что окажусь с вами!" "Как не знал?" – спросит Генка. "Прости, знал! Просто я решил, что немножко совру, понимаешь? Скажу, что у меня нет ни па, ни Пат, ни бабулени. Пошучу минуточку, только у этой минуты длина в целую смену и в целую жизнь!" "Эх, бедолага, – пожалеет Геныч, добрая, пострадавшая душа, – лучше бы уж у тебя и правда не было родителей!"

Хочешь такой жалости?

Нет!

А Зинка! Эта прекрасная и страшная Зинка! Вруша ужасная – как только зубы не выпадут! – что скажет она? Наташа Ростова, которая сама-то запуталась, никто не разберет, то ли герой у нее отец, то ли бандит с ружьем, то ли – страшной страшного! – насильник, и над кем? – над собственной дочерью, а то и вовсе она одинокая, эта непонятная, измучившаяся, других помучившая Зинка – что вот, интересно, скажет она?

“Так ты не наш? – скажет, например. – Чего тогда ты тут делаешь? Не мог выбрать другую смену, где такие же, как ты, счастливы? А, может, специально пробрался, чтобы посмеяться над нами? Над нашим бездольем? Горем?”

Она толкнет его в грудь, Зинка такая, она может, и ему придется отступить в самый центр круга, и со всех сторон – лица, ставшие теперь знакомыми, и глаза, в которых всегда стоит печаль, даже если человек смеется. И вот Зинка подталкивает и подталкивает его, а он пятится, отступает, пока не оказывается в центре круга, и тогда начинается страшная пытка. Ему надо стоять прямо, смотреть перед собой, а круг начинает медленно двигаться: шаг вбок, еще полшажка, и ты смотришь в глаза человека – пацана или девчонки. Когда народу много, можно отвертеться, не каждому посмотреть в глаза, а эта пытка так придумана мучительно, что круг шевелится нарочно перед тобой. Шевелится и заглядывает тебе глазами в глаза.

Вот глаза Вовки Бондаря. Карие, но не очень густо карие, с позолотой, если солнце светит, они как будто рыжеют, но от этого вовсе не веселей смотрит Вовка. Говорил, что отец служил на атомной лодке, погиб как герой. Врал наверняка, хотя сегодня не признался. Но теперь вопросы задают не ему. А он.

Он смотрит в глаза Жене. Зажмуриться нельзя.

Шаг и полшажка в сторону, на одно деление, на одну судьбу сдвинулся круг. Джагир. Глядит, нахмутив лоб, черными презрительными глазами.

Еще шаг и полшага – Сашка Макаров с белыми от ненависти глазами.

Следующие глаза. Это Полина. Вроде зелененькие, невыразительные у нее глаза, и смотрит она не осуждающе, равнодушно, но от такого взгляда еще тяжелее, горше на душе. Что бы ты ни сказал ей в свое оправдание, она этих слов не услышит, покачает головой – мне все равно, мол, есть ты или нет на этом свете. Лучше бы не было вовсе таких, как ты. . .

Еще один оборот колеса, жернова, который мелет Женину совесть. Степка Ломоносов, предок или хотя бы просто однофамилец великого человека. Смотрит неотрывно, враждебно, если бы разрешали правила, он просто бы избил, расквасил бы как следует нос такому герою, чтоб не было повадно впредь. . .

Поворот – эх, Катя Боровкова, может, хоть ты простишь, помнишь, я заметил, как просвечивают твои ненарядные бедные трусики, заметил твой стыд. . . Может, ты поймешь меня, ведь ты бы хотела иной судьбы, иной жизни, разве же можно так беспощадно судить за ошибку – не злой же это, в конце-то концов, умысел! Но Катя молчит, отворачивает взгляд, а это ничуть не легче, когда тебя разглядывают в упор.

Леня из Смоленска посмотрит, ухмыляясь, многое понимая всерьез в этом вранье, в этой пакости, ведь он может сколько хочешь заниматься в авиамodelьном кружке, стать каким-нибудь чемпионом, только, как ни старайся, выше головы не прыгнуть, после восьмого сдадут, как барашка, в ПТУ, какие тебе крылья, какой институт, который стоит в центре круга.

И снова Геньч глядит в глаза.

Опять пялится Зинка.

— Не прошу, не прошу! — твердят ее жесткие глаза. — Помнишь, как там, на пляже, ты не выдержал моей правды? Как ты предал меня, когда мне нужней всего была твоя помощь? Какая? Всего-то — добрые слова! Ведь добрые слова ничего не стоят! Их можно сказать всегда! Но тебе их стало жалко! Ты испугался! Ты отбежал в сторону, пожалев такого пустяка — собственной жалости! Чего же ты просишь сейчас? На что надеешься?”

Женя встал.

Он уже давно не слышал, что говорят ребята, над чем смеются — то дружно, то не очень, и отчего Аня зажимает уши руками и Пим смотрит себе на ноги.

Точнее, он все слышал, но его сознание жило совсем другим, и он просто многое пропустил.

Потом он встал.

Он поднялся, еще не зная, что будет говорить.

Вставая, он думал, что, может быть, просто потихоньку уйдет. Или отвесит порцию глупости, скажет, что отец и мать у него скончались, когда он был совсем маленьким. . .

Нет, нет, этого он уже не мог произнести. Все вокруг было гораздо серьезнее.

Почему-то стало тихо.

Тихо стало, наверное, потому, что поднялся Женя Егоренков, парень, который вообще немного говорил. Но если говорил, его отчего-то слушали. Наверное, так бывает всегда, если говорит молчаливый человек. Или человек, который многое знает. Или человек с трудной судьбой.

Встал Женя Егоренков, о котором очень мало знал отряд. И сказал:

— А у меня есть отец и мать.

Его никто не прервал. Никто над ним не пошутил. Что ж, кое у кого тут были и отец, и мать.

— Мой отец — директор очень крупного комбината. А мать — директор универмага. Сюда я приехал по блату.

Он пошевелил губами, хотел еще что-то сказать, и тут произошло совершенно неожиданное.

— Я так и знал, — сказал грустно Геньч, — что Женька будет врать до последнего.

— По блату! — проговорил, смеясь, Джагир. — Сказанешь тоже!

— Ха-ха! Придумал! — засмеялась Зинка, опять эта Зинка. — Да если хочешь, у меня папочка академик и Герой труда.

Отряд засмеялся. Захохотал. Подумаетесь, враль! Барон Мюнхгаузен! Здесь утренняя честность, а он опять врет! Вот не ожидали!

Женя рухнул в последний раз с американской горки. Он сказал правду, а ему не поверили!

Через два часа Павлу сообщили из дирекции, что Сашу Макарова увезли в близлежащий город, приступ оказался несильный, и, возможно, еще до конца смены он вернется. Обратное, в отряд, или прямо домой – это предстоит решить, но не теперь, а после. . . Телеграмму в детдом пока не отправили.

Его укололо это трезвое сообщение. В общем-то, действительно. Ну, прилетит директриса – а зачем? Поахает, поохает, разведет руками – и все. Другое дело, были бы родители – они бы примчались сломя голову, носили передачи, если это возможно при такой болезни, ну а коли нельзя – ходили бы вокруг больницы, маялись, а мать бы уж обязательно плакала, и хотя это тоже бессмысленно с точки зрения все того же проклятого здравого смысла, зато необходимо любой болящей душе. . . Ведь даже в абсолютном беспомоществе человеку требуется любовь и страдание других – они будто опора, будто костыль наш в час страданий, когда не держат ноги, когда мы один на один с белым потолком, с белым миром, где счет на часы или даже минуты, и где никого с нами нет – только одиночество, забытье, выкарабкивание из белой, спящей разум ямы в другое пространство, поначалу тоже белое и уж потом обретающее черты живого мира.

Понятно, мы не в одиночку выкарабкиваемся из таинства нездоровья, разве мыслимо спастись без врачей, медицинских сестер – почему так торопливо забыли мы название – и смысл! – более достойный: сестра милосердия? – без нянечек, без тихого шарканья немногословных, великодушных русских старух, подносящих полотенце с тазиком, чтобы умыться, утку, чтобы мог ты опростаться, спасибо вам, милые, – так что хотя мы и не одни выкарабкиваемся обратно на свет божий, но более всего, однако же, помогают нам выбраться из одиночества немощи не лекарства, не больницы – хотя куда же без них! – а одна только мысль, что ты нужен дому своему, матери, которая исстрадалась, иссохла от невозможности отдать тебе хоть сердце свое, хоть всю жизнь, отца, страдающего бесслезно, но это вовсе не означает, что легко, друзьям и товарищам, которые собираются под твоим окном и тихо переговариваются между собой, желая тебе сил.

Дух близких тебе людей держит нас на плаву в дни испытаний, да и просто в жизни, их любовь, их желание добра, так как же горько быть на белом свете совсем одному!

Павел содрогнулся. Только теперь он ощутил, что такое сиротство, каков настоящий вкус его. Ему горько стало за Сашку Макарова – горько до слез, и он обругал себя последними словами: ведь у него же есть мать, и он говорил с ней, а она заклинала дать ей увидеть сына. Педагог чертов! Как она сказала: "Я читала, что здесь работают самые талантливые!" По всем статьям вроде женщина, вызывающая отвращение, но кто, какой вожатый и какой суд может отнять у нее право бродить вокруг

больницы, где лежит ее сын? Как он, Павел, мог не спросить ее адреса – так, на всякий случай? Или он снова городит огород, возводит на себя напраслину? Раз мать оказалась без родительских прав, значит – все. Государство отвечает за остальное, берет на себя тяжесть ответственности.

Но – подождите! – перед кем ответственности? И как выражается ответственность государства? Врачи, сестры, лекарства, бесплатные больничные ши? Но мало ведь, мало этого – и все не то! Душа еще нужна! Пусть хоть и вовсе аморальная, пустая, кругом виноватая, а душа, и лучше всего – душа материнская.

”Как я мог! – Павел глядел перед собой невидящими глазами. – Именно я! Вот пим так пим!”

Он вспомнил себя, госпиталь, где лежал после ранения, свое одиночество и угнетающую тоску – ведь мамы уже не было. Никого не было у него! И он не получал писем, только два или три от командования части, но это были письма по обязанности. Не мамины письма. И девушку он не успел завести себе перед армией. Маму это больше всего угнетало, она хотела, чтобы девушка непременно писала ему, пока он служит, но Павел посмеивался, отшучиваясь – всерьез с мамой на эту тему он говорить не хотел, потому как знал, душой чуял, что страшней всего в армии, если девушка твоя, пока служишь, замуж выйдет – они же все торопыги, им некогда, их время не ждет, будто оно ждет солдат, – и видел, не раз видел, как убиваются мальчишки в солдатской форме, плачут даже – будь же проклята женская неверность, особенно, ежели настагает она солдата не на мирной службе.

Так что писем в госпитале Павел почти не получал, и хотя, выздоравливая, освобождаясь от боли, отдаляясь все дальше и дальше от смерти, цапнувшей все же его железным когтем, он радовался жизни, обманному ее финту, подарившему ему продолжение, чувство одиночества нет-нет, да и сжимало горло, выбивало слезу в жесткую госпитальную подушку, надолго загоняло в молчание. Он хлебнул чувства сиротства – да, это было оно, оно! И все-таки при этом он был уже взрослым человеком. Солдатом, наконец.

А тут – дети. . . Сашка. . . Почему же он, Павел, именно Макарову велел быть ответственным за книгу лаций? Ведь он думал, явилась мамаша Бондаря, и на всякий случай выбрал другого, Сашу. Что же случилось с ним?

Довели ребята? Так утверждают они сами. И в это легче всего поверить. Но Павлу не верилось. Нет, не верилось.

Он вырос в женской семье, а женщины любят говорить о всяких приметах и поверьях, мама и бабушка не были исключением, и Павел не раз слышал о всевозможных странностях и чудесах, каких еще много остается необъясненными на белом свете. Теперь уже и наука не торопилась обозвать невежеством непонятное ей самой, оказалось, что есть биополе, существует телепатия, появилось и получило права гражданства почти волшебное племя экстрасенсов. Жизнь как будто нарочно вышибала из него всякую наивность, хотела доказать, что ничего, кроме реализма, не существует, разве, например, одиночество – не реальность,

и ничего тут не попишешь, милый мой, чудес нет, не ждет тебя за следующим поворотом никакая чистая душа, хоть, может, и сильно твое желание, и не обретешь ты родственников, не узнаешь никогда своего отца, хотя он где-то есть, существует и мог бы помочь тебе в суровые твои годы, когда больше всего хочется понимания, а главное – надежды, опоры. . .

Павел вспомнил, как однажды мама пришла с работы и сказала, что у одной их сотрудницы в больнице умер от рака муж. Не так давно у них родился второй ребенок, ему было три года, этому мальчику, и отец его очень любил. Так вот, в ту минуту, когда отец вздохнул последний раз, мальчик забился в конвульсиях, закричал, яростно заплакал, словом, с ним случилась истерика, хотя за пять минут перед этим тихо играл в кубики.

Что это? К кому обратишься за консультацией, чтобы объяснили связь или, напротив, доказали случайность этих событий? Кто возьмется гарантировать точность своих доказательств?

Мама и бабушка долго обсуждали этот случай, Павлу он просто запомнился, а сейчас всплыл из памяти, и ему показалось, что припадок Саши Макарова тоже не случаен.

Он почувствовал мать.

Доказать невозможно, но что, если он прав?

Павел набрал телефон больницы лагеря, попросил заглянуть в медицинскую карту Саши Макарова. Долго ждать не пришлось, похоже, она была в памяти главврача.

– Эпилепсия, – сказал он Павлу, – в карте не значится, но это ни о чем не говорит. Детский дом мог слухавить.

Павел положил трубку. Слухавить детдом мог. Все-таки путевка в такой лагерь. Он помотал головой. Впрочем, сколько угодно можно обвинять детский дом, но наградить ребенка эпилепсией он не мог. Простудой, любой заразой – да, но эпилепсия – родительский подарок. Вечная отметка.

Говорят, по закону, выходя замуж или женясь, люди должны предупредить друг друга о таких наследственных болезнях, но кто знает про этот закон? Кто его соблюдает?

Павел снова вспомнил мать Саши Макарова. Черт возьми, у него были все основания не чувствовать себя виноватым. Живет в свое удовольствие, забыла материнские обязанности, лишена родительских прав да еще папаненка наградила вечным страданием, распутница!

Но он опять представил серое лицо Саши, посиневшие, набрякшие дурной кровью губы, палку, неободранный кусок ветки, закушенный намертво, представил себе город, больницу, палату с больными, остриженными детьми, тоскливый Сашин взгляд, который медленно и неуверенно перебирается с неба на крышу, на кроны пыльных деревьев, на электрические столбы, железные парковые скамейки и на людей, которые ходят под окнами, говорят между собой, машут руками.

Он смотрит на весь этот мир и никого не ждет.

Павел представил эту картину и стал отвратителен себе. Был он виноват, был!

Что это – жестокость или доброта?

Женя уже не крался, озираясь, он бежал среди кустов, деревьев, пересекал асфальтовые дорожки, и ему было все равно, увидят или нет его взрослые, у которых есть право окликнуть, остановить – он не остановится, кто бы его ни позвал, пошли они к чертям собачьим все эти вожатые, начальники лагерей, родители, все эти сочувствующие, понимающие, знающие толк в жизни люди!

Ему не поверили, хотя он сказал правду, эти пацаны и девчонки, вот что! И он не мог понять, разобраться, что значит это неверие – милосердие или бессердечие? Да, они смеялись над ним, сперва неуверенно, потом дружно, покатывались даже над его, как им казалось, неумелым, а, главное, запоздалым враньем, и никто не захотел подумать, что он говорит правду. Какой-то развязался узелок в мешке с детскими тайнами, и никто из них в этих тайнах не был виновен – виноваты взрослые, матери и отцы, которых не было видно отсюда, из лагеря счастья, но они где-то же существовали – ходили себе, дышали и, может быть, даже смеялись, не подозревая, что где-то на юге ненужные им дети говорят про них, вспоминают их преступления, смеются над ними, и этот совсем не веселый детский смех страшной любого плача, потому что означал он презрение маленьких людей к собственным родителям и еще одному был свидетельством: привычке к взрослой жестокости, невольному согласию с ней, горькой вере, что так оно есть, а, может, и должно быть.

А Женя цеплялся за ложь с их точки зрения. За обман, который всем осточертел в этом лагере, ведь у себя-то в детском доме или интернате некому было врать – вся их поднаготная была известна. Ну, наврали друг дружке, и ладно, чего тут жалеть, что вранье не удалось – потомок великого адмирала Сашка Макаров развязал тесемочку с мешком тайн, ну и нечего жаться по-прежнему, говорил свою правду, и все тут. А он, серьезный вроде человек, в глазах народа вдруг встал и начал лепетать про каких-то там знатных родителей.

Что ж, это можно было бы принять за жестокость, но все дело в том, что он не врал. А правда – его правда! – выглядела враньем. Так же, как никто не усомнился в его вранье на вечере дружбы. Вот ведь что вышло! Перевертыш. Ложь выглядит правдой, а правда ложью. Выходит, ребята пожалели его, не поверив правде. Они считали Женю своим. И думали, он просто не может расстаться с ложью. Смехом своим они вроде как хотели ему помочь. Помочь освободиться, как освободились от лжи они сами. А это нельзя называть жестокостью.

Загнав себя, Женя свалился в траву под кипарисом, перевернулся на спину. Кипарис чернел над ним дикой тучей, но в то же время прикрывал его, был крышей. Он усмехнулся: этот кипарис походил на ма. Если даже сейчас пойдет дождь, хлынет сумасшедший ливень, плотная листва кипариса не даст ему промокнуть. Пат тоже охраняла его от любых ненастий, упреждала всякое его желание, охраняла его от дождей и прочих житейских сложностей. И вот что вышло! Играючи врать не

удается! Врать можно только всерьез. А это почти всегда подлость. Простимо только одно вранье – этих ребят.

Господи, до чего же невинными были их тайны! Разве грешно сказать, что твой отец – знаменитый монтажник на Саяно-Шушенской ГЭС, геройски погиб во время страшного наводнения, или что ты далекий потомок Ломоносова? Каждый человек хочет быть лучше, и потом, разве не убивает, не уничтожает бесконечно повторяющаяся, будто заезженная пластинка, мысль, что отцу у тебя в тюрюге, а мать – горькая, себя забывшая пьяница?

”Будь моя воля, – подумал Женя, – я вообще бы запретил им говорить правду. Утвердил бы такой закон: если мать и отец предали, жили не по-людски, так что детей у них отняли или сами они бросили, ребятам их давать новые фамилии и новые биографии. Может быть, даже попросить лучших писателей: пусть каждому напишут новую судьбу. Гордую, которой бы не приходилось стыдиться!”

Ну хорошо, а он? Что делать ему?

Женя перевернулся на бок, сунул руку в задний карман форменных шортиков, вытащил влажные бумажки, развернул их. Деньги. Двести рз, четыре зелененьких по полста каждая. Он ведь совсем забыл о них здесь. Да и вообще никогда не интересовался деньгами всерьез – дома у него все было, ма давала и на карманные расходы, сама пополняла его запас, подсовывала десятки и четвертные в деревянную резную коробочку, где был его открытый счет.

Шкатулку подарил бабуленция на день рождения, сказав ему, что это настоящая деревенская коробочка, досталась ей от ее матери, Жениной прабабушки, которой он никогда не видел, и раньше там хранили иголки и разноцветные нитки, чтобы вышивать, ну а Женя открыл в этой коробке банк, хранил там бумажки и мелочь, не любя их и вытаскивая мельком, только лишь при нужде, так что деньги могли валяться там сплюснутые вчетверо или вшестеро, как он держал их в кармане, или даже просто бумажным бесформенным комком.

Он перелистал зеленые купюры еще раз и понял, что принял решение: надо уезжать! Бессмысленно, конечно, с точки зрения здравого смысла, на его место уже никого не пришлют, и оно пропадет. Но есть вещи поважнее здравого смысла! Есть еще честность. Пусть запоздалая, ничего! Как тот лягушонок, он должен прыгнуть, хватит красться. Да он уже и прыгнул.

Кто-то окликнул его. Женя насторожился.

– Же-ен-н-нька! – повторил голос, приближаясь, и к кипарису выбежала Зинка. Она оглянулась вокруг, но Женя лежал, прижавшись к земле, а ее взгляд метался гораздо выше, да еще и трава припрыгивала его.

Зинка подошла совсем близко, опять крикнула во весь голос:

– Же-ен-н-нька!

– Ну чего? – спросил он негромко, стараясь быть спокойным.

Стремительно, словно змейка, Зинка даже не обернулась, а как-то перевернулась к нему, уставилась вытаращенными глазами. Будто никак не ожидала видеть его тут.

– Мы тебя ищем, – сказала она, подбегая, и становясь перед ним на

колени. – Генка поскакал вдоль пляжа, а Катька на причал. Что у тебя случилось-то?

Она разглядывала его, освещала своими черными прожекторами, и Женя смущенно отвел взгляд. Умела же эта девчонка врываться в людей без всякого стука и спроса, влезать своими глазищами в самое нутро. Может быть, оттого, что взгляд у нее открытый, откровенный, без капелки тени и недомолвок, такие взгляды бывают у людей, которым нечего скрывать. А она вся изовралась! Женя снова посмотрел на Зинку. Теперь ему было легко. Теперь он снова мог разговаривать с ней, ведь он решил, принял решение.

– Зин! – спросил он. – Что ты за человек?

– А я пока не человек, – ответила она, улыгнувшись. – Всего-навсего полчеловека.

– А, может, наоборот? Два, три, четыре? И все разные? То ты одно говоришь, то другое. И как?

Он заглянул в ее фары. Ну и фонари! Они ведь не только в других проникают, но, как два широких луча, две дорожки, впускают еще в себя, приглашают будто: входите, смелей, вот она я, вся перед вами! Нечего мне скрывать!

– И такая на вид откровенная! – прибавил Женя.

Она никогда не терялась, видать, эта Зинка, отвечала без задержки, ответила и тут:

– Самые откровенные – самые вруши!

– Когда же ты правду говорила? – спросил он.

– Сегодня, разве ты не понял?

Опять она в упор разглядывала Женю, тиранила его своими коричневыми глазами. И снова нижние веки стали карнизами, набралась откуда-то на них вода, стала скатываться с краев.

Снова Зинка заговорила, как тогда, на берегу, быстро-быстро, будто от кого спасаясь:

– Нету у меня никого, Женька, понимаешь? Это самая настоящая правда! Вот я и придумываю сама себя. Не может же быть человек совсем безродным! А я – совсем! Неизвестно, откуда взялась! С неба свалилась. А я не хочу с неба!

Она замолкла надолго, стояла на коленках перед Женькой, будто клялась ему в чем-то, божилась ему, а из широко распахнутых глаз катили слезы. Потом повторила:

– Не хочу!

Женя содрогнулся. Он не понял, как очутился на ногах.

Он стоял перед Зинкой, и его колотило. Что она такое говорит, эта несусветная девчонка. Разве так можно?

Но вот – оказывается, можно.

Можно, бывает и так в этой непонятной, обманчивой жизни!

Женя приблизился к Зинке, встал на колени прямо перед ней, чтобы лучше видеть.

"Зинка, – хотел сказать он, – Зинка, дружище, забудь все это, выкинь из головы, милый ты человек, дураlexa! Наслаждайся летом, морем, успокой свою память, прошу тебя! И не говори таких страшных слов".

Но он ничего не сказал.

Горло пересохло.

Высохли все его умные речи.

Он сделал шагок вперед на коленках, обхватил неумело Зинку за плечи и прикоснулся губами к ее губам.

Она не ответила на его поцелуй, но и не воспротивилась.

Она стояла перед ним на коленях, только тело распрямила и руки опустила по швам, точно так же, как Женя тогда, на берегу. Он целовал ее неумело, и Зинка подставляла ему соленые пухлые губы, не отворачиваясь, а глаза не закрывала, и получалось, что смотрит она через слезы сквозь него, куда-то далеко, где их пока что нет, но куда им придется прийти рано или поздно.

Там, на берегу, понял Женя, она выдумала всю эту историю про себя, чтобы он пожалел ее, поверил ее выдумке, пусть даже такой страшной, и пожалел, а он не понял этого, испугался.

Зинка, Зинка, странное, исстрадавшееся существо, как еще можно помочь тебе?

* * *

Снова шли они, Павел и Аня, вечером, после отбоя, слушали, как стонут цикады, смотрели в сторону моря, которое шевелилось теперь совсем по-другому: днем дул сильный ветер, он расшатал зыбкую массу, и вода накатывалась на берег тугими волнами, гребни которых тяжело сверкали, освещенные оловянным лунным светом, пока не взлетали на песок и не распались в брызги и пену. А луна — она величественно внимала бушующему морю, тайная виновница отливов и приливов, и молчаливостью своего ровного света как бы отгораживалась от происходящего — мол, одно дело приподнять или опустить морское пространство и совсем иное — буря, шторм, к которому она не имеет ровно никакого отношения, тут надо винить ветер, который исчез, утих, и нет ему никакого дела, что вода все бьется, все перемалывает песок и гальку, бьет наотмашь прибрежные скалы.

”Силой и страстью своей, — подумал Павел, — волны, пожалуй, напоминают ребячью откровенность сегодня — ни то, ни другое невозможно остановить, надо просто ждать, набраться терпения и ждать, и ничего тут уже не поделаешь”.

Он видел, как сидела Аня, слушая ребячьи откровения: ей было плохо, она закрыла глаза — содрогалась? судила себя? стыдилась?

Целые сутки между ними была какая-то вата, не то чтобы неприязнь разделила их, но взаимная настороженность, что ли. Пожалуй, так бывает всегда, когда один человек поведает что-то другому, пусть даже самому близкому, а тот не поймет сразу или задумается, поняв, но не сразу разделит чужую заботу, хотя тот, кто исповедовался, в душе рассчитывал на непременно и немедленное участие. Словом, взрослые люди, поделившись своей тайной, чаще всего испытывают не облегчение, а, напротив, ощущение стыда или сожаления о содеянном; бывает,

начинают даже ненавидеть своего исповедника, и только за то, что теперь и он знает тайное: круг посвященных раздвинулся.

И потом эта утренняя сплетня, разговор с Павлом начальника лагеря, а он еще не знает, что говорила Аня его коротышка-заместительница. В общем, вбиты все клинья, какие только есть. При этом надо жить дальше. Делать вид, что между ними ничего не произошло. Два вожатых, два дружных товарища по работе, ха-ха!

– Дождусь конца этой смены, потом уеду, – неожиданно сказала Аня. Он помолчал, потом сказал первое, что пришло в голову:

– Думаешь, так будет лучше?

Аня прошла несколько шагов, прежде чем ответила:

– После всего, что услышала сегодня, мне надо заняться другими делами.

Какими – он не стал уточнять, разве не ясно?

– Но ты не подумай, будто меня ребята проняли. Я и раньше. . .

Она сделала еще три шага.

– Только я матери боюсь. . .

– Не бойся! – ответил он. – Если знаешь, что надо делать, дальше уже не страшно.

“Страшно – не страшно, – укорил себя Павел, – ты-то что в этом смыслешь? Ведь как ни хорохорься, какие советы ни подавай, а ты мужик и никогда не поймешь до конца, что чувствует женщина к своему ребенку. Особенно, если бросает его, если принимает такое решение. Все твои соображения неполноценные, да, да, рассуждения о совести, об обязанностях, дитя, мол, есть дитя и все прочие печали ничтожны, никуда не годятся в сравнении с таким отречением. А ведь ребенок – плод греха двоих. Или любви, как уж хотите. И где же тот, второй, кто не должен позволить женщине отречься от ребенка, напротив, силой своей, уверенностью, одним только присутствием обязанный вдохновить ее на материнство и материнство это охранить? Ведь женщина, девчонка вроде этой Ани, отказываясь от ребенка, еще и обманом обман отвергает. Жестоко, что говорить, – а так! Но все же, так ли? Поймет ли мужик бабу до полной ясности?”

– Завидую я тебе, Павлик! – сказала Аня. – Все-то тебе очевидно. А?

– Неужели я и впрямь – пим? – усмехнулся он.

– Ты всегда невозмутим, даже сегодня.

– Тебе кажется. На самом деле – полный туман.

Она повернула к нему голову.

– С этими ребятами?

– Вообще. В жизни.

– Это верно, я почти ничего не знаю про тебя.

– И предлагаешь выйти за себя замуж? А вдруг я подлец? Негодяй, который тут притаился? Может, я бандит, который под пионерскимгалстуком скрывается от правосудия?

Аня слабо рассмеялась.

– Надо же, ничего не знаю, кроме того, что тебя ранили, а вот уверена, что врать, например, ты не можешь.

– Ну хватит обо мне, – попросил Павел. – Скажи лучше, кто тебе из

твоих девчонок кажется самой. . . ну, непонятной?

– Зина! – отряхнулась Аня. – Наташа Ростова, помнишь?

– Зину я прекрасно знаю. Что-то у них там с Женей Егоренковым.

– Самый непонятный из мальчишек? – спросила Аня.

– Угадала! Смотри-ка, мы с тобой кое в чем сходимся. – Наконец-то они прошибли вату, которая лежала между ними. – Тогда расскажи, что за человек этот мой Женя. Как цыганка, разложи его карты: что есть, что будет, чем сердце успокоится.

– А ты Зину? – улыбнулась Аня.

– Начинай! – велел Павел.

– Характер у него скрытный, не болтун, а это значит, человек он волевой, решительный. Судьба, наверное, какая-то совсем особенная. Не зря, пожалуй, интернат о нем говорить не стал. Очень тяжелая судьба. Знаешь? – остановилась Аня. – Может, у него родители действительно какими-то крупными тузами были? Врала ему без конца. Хотели быть хорошими перед собственным сыном. И вдруг в один прекрасный день выяснилось, что занимались они мутными делами. Их наказали. И так получилось – обоих сразу. Мальчик верил в своих родителей, они казались ему иконами. А потом эти божества рухнули! Ребенок, не знавший ничего, кроме неги и достатка, оказался в интернате. От прошлого у него остались только плавки "Адидас", ты обратил на них внимание?

– В других сменах бывают, но в этой у него одного.

– Вот видишь. Одним словом, очень страдающий мальчик. И очень сильный духом. Но все это испытание оплатится ему добром. Он вырастет неподкупно честным человеком. Став мужчиной, внешне будет угрюмым, малоразговорчивым, а в душе – бесконечно добрым. Когда женится, жене его будет с ним непросто. В обычной жизни он аскет, внешне – даже ограниченный человек. Но это только кажется! Потому что огромная душевная работа идет у него как бы в подземелье. Но идет! У него твердые взгляды, не меняющиеся каждые пять минут. Мнение свое, выношенное, а потому – твердое. Он будет неудобен начальству, если требуются покладистые подчиненные, поэтому лучше, чтобы он сам стал начальником.

– Интересно! – улыбнулся Павел. Спросил Аню: – Правда ведь интересно? Вроде как решаем мы с тобой задачку. И какую! Вот бы лет через двадцать сверить ответ. Что получится? В чем мы окажемся правы? А в чем – нет?

– Подожди! – попросила Аня. – Я еще не все сказала!

– Нравится, значит?

– А с Зиной у них любовь, понимаешь! У нас криво относятся даже к самой этой мысли. Какие там чувства в таком возрасте! Еще вырастут! Еще успеют! А я вот, Павлик, думаю, любовь – это как. . . Как яблоня, например. Сначала из семечка проклюнулась – вылезла на свет божий. Это совсем детская любовь, наши ребята сейчас ее уже забыли, вспомнят, когда взрослыми станут, поседеют. Она лет в восемь, в девять, а у кого и раньше, это зависит от устройства души. Вдруг ни с того ни с сего мальчик тебе начинает нравиться из соседнего класса, из другой

школы или двора. Сначала ты из оравы мальчишек его выделять начинаешь. Чем-то он тебе интересен – как бегают, как смеются, говорит, к другим относится. Тебе хочется, чтобы он на тебя посмотрел, что-нибудь сказал, тоже тобой заинтересовался. Тебе не терпится разузнать о нем побольше, как, например, зовут его собаку, и ты начинаешь таскать в кармане кусок колбасы, чтобы угостить эту псину, погладить ее, почесать у нее за ухом, подружиться, одним словом, а через собаку познакомиться с ее хозяином. Но хозяин вовсе даже не смотрит на тебя. И ты вдруг замечаешь, что ему нравится другая девчонка. Он смотрит в ее сторону, а тебя не замечает. И ты начинаешь ворочаться в постели, хотя раньше засыпала как убитая. И он является в твои сны. С собакой. Или с той девчонкой, твоей соперницей. Ты плачешь, злишься, не спишь. Но в один прекрасный вечер снова засыпаешь как убитая, а просыпаешься совсем другим человеком и чувствуешь, понимаешь, что освободилась от того мальчишки! Что он тебе совершенно безразличен. Детская любовь прошла, как болезнь, как корь, например, и ты снова свободна. Или свободен! С тобой это было?

– Было! – удивленно кивнул Павел.

– Ну вот! Потом пришло время, и у яблони первые листочки развернулись. Это отроческая любовь, как у Зины с Женей. Потом расцветет человек – опять любовь, это уже, как у меня. Самое опасное чувство. Вроде человек совсем взрослый и результаты – куда уж взрослее. . . дети рождаются. А никто не думает, что это все не настоящее. Вот и ломаются люди. . . Сколько драм, слез!

Аня замолчала, и Павел подумал, что она, наверное, права, а ему удалось избежать этого обмана, хорошо, что перед армией не оставил на гражданке никаких надежд – не доверился никому, иначе бы, может, и ему не избежать кораблекрушения вроде Аниного.

– Значит, три любви ты насчитала? – спросил он.

– Три, – вздохнув, ответила она, – но все это как бы попытки, примерки к главной, четвертой. Взрослой, может быть, и горькой, зрелой. Осознанной.

– Трезвой, ты хочешь сказать?

– Может быть, и трезвой. Но не расчетливой. По расчету люди ошибаются, и уже навсегда.

Опять они шли молча, пока Павел не сказал:

– Как далеко мы убрели от Жени Егоренкова.

– Хорошо, – сказала Аня, – давай вернемся к ним. Теперь твоя очередь.

Павел глубоко вздохнул, сосредоточиваясь. Какая же все-таки Зина?

– Мне кажется, она двойственный человек. И это заложено в нее природой. Зина очень открыта, не защищена и именно из-за этого может или сломиться, опуститься, изломать свою судьбу открытостью и не-терпимостью к другим, превратить жизнь в цепь скор, без конца обманываться, привлекать к себе проходимцев и подлецов, которые увидят в ней доверчивую, легкую добычу, или, напротив, утвердить себя в жизни как личность сильная, честная, прямая.

Павел даже остановился – такая отличная мысль пришла ему.

– Послушай! – воскликнул он. – Есть способ помочь ей развиваться, выбрать правильный путь! Такую, как Зина, надо нагрузить – нет, перегрузить! – ответственностью. Ей надо дать общественную работу, причем сразу такого уровня, чтобы ей стало стыдно врать, поставить ее в положение, которое требует абсолютной отдачи. В будущем я вижу ее председателем большого горсовета! Или директором завода!

– Ткацкой фабрики!

– Почему? Какого-нибудь компьютерного, электронного!

– А хватит глубины?

– Глубина – дело наживное. Понимаешь, она по природе лидер. И надо, чтобы ее жизнь не ушла только в личное, там она способна все наперекосяк повернуть. А в общественном деле, да еще под умным присмотром, с доворотами, с углублением в профессиональное, черт возьми. Да таких, как она, депутатами избирать надо.

Аня расхохоталась.

– Ты увлекся, Павлик!

– Просто в них надо верить. Слушай, а что, если им сказать прямо в глаза, именно здесь, в лагере: я верю, что ты будешь генералом, в тебе есть такие-то и такие достоинства. А ты депутатом, директором, предводителем огромной группы людей, судьба которых будет зависеть от твоей справедливости, честности, прямоты, только обуздай эти чувства! Чувства – это же как красивый молодой конь! Их надо непременно обуздывать! Иначе они понесут, и вся жизнь пойдет совсем другой дорогой. Да, чувства надо обуздывать во имя смысла и чести!

– Здравого смысла? – усмехнулась Аня.

– Да, здравого, что плохого в этих словах? Главное, чтобы здравый смысл не превращался в расчетливость, выгоду, карьеризм! Чтобы он служил общему делу. Кстати, знаешь, как по латыни звучит общее дело? Respublica. Республика! Не так уж плохо, а?

– Тебе не кажется, – спросила Аня, поворачиваясь к Павлу, – что мы с тобой похожи на два воздушных шара времен Жюль Верна? И нас занесло так высоко в небо, что уже и земли-то не видно.

– Нет, не кажется! – рассмеялся Павел. – Мы с тобой стоим на твердой земле и правильно делаем, что верим в этих будущих депутатов, генералов, директоров! В хороших людей, которые дрыхнут теперь во всю ивановскую. Сопят в свои сопелки и совершенно не подозревают о блестящем будущем. Что же касается Жюль Верна, то я думаю, он был бы за эти наши фантазии.

– Жаль, что все-таки фантазии, – серьезно проговорила Аня. – И жаль, что, к примеру, на каждого из нас существует история болезни в районной поликлинике, личное дело в институте, на заводе, но нет личной истории каждого человека. Понимаешь, такую книгу надо писать всю жизнь, не только записывая туда, что уже произошло, но и предлагая, что надо сделать. Закончил человек школу – и он сам, и все остальные, с кем он будет иметь дело, должны знать, куда ему плыть, как двигаться, в чем он силен, а в чем слаб! Как ему жить и чего опасаться!

– Конечно! – обрадовался Павел. – Ведь характеристики, которые пишут нам, – ха! – они только внешние факты регистрируют.

– Да и то не все! А главное – сам человек своих оценок не знает. В чем он силен, а в чем нет.

– Этаким прогноз личности на завтра, да?

– Комплексный, доброжелательный план развития личности! Известный ему самому.

– Где вы, Жюль Верн!

Они расхохотались.

– Все это бред! – сказала Аня.

– Сегодня, может, и бред, а завтра – кто знает.

– А давай все-таки начнем! – сказала Аня. – Предскажем Зине и Жене их будущее. Прямо при ребятах. И назначим срок предсказания следующих судеб. И пусть ребята примут участие. Только приготовятся как следует. Подумают друг про дружку.

– Подумать о другом всегда полезно! – согласился Павел. Он вздохнул, переводя дыхание. – Ну что ж, Аня, к концу второго года работы, может быть, мы с тобой и изобретем. . . велосипед?

* * *

Женя думал, что будет действовать уверенно и жестко, как требовала необходимость, но ничего у него не выходило. Математика отказывала, как он ни понукал ее. Требовалось еще искусство, игра. Словом, на свои ноги рассчитывать не приходится, километры, которые отделяли лагерь от городка, где находились аэропорт и вокзал, никак не делились на обыкновенные мальчишеские силы. Автобус тоже не подходил – на конечной остановке всегда дежурит милиция, и ему обязательно зададут вопрос, куда это он поехал. Дети из лагеря жили привилегированно и катались только на своих автобусах. Все остальное было подозрительным, и Женя это учитывал.

Да и вообще! Он должен исчезнуть так, чтобы его никто не видел. Точнее, видело минимальное число людей. Сейчас вступал в силу фактор времени. Ему требовалось вернуться домой как можно быстрее. Допустим, день его поищут. На второй день объявят розыск, станут звонить домой. Вернее в интернат, где он числился по бумагам. На это уйдут еще сутки. За три дня он должен вернуться.

Конечно, мало. Если бы самолетом – раз, и там. Но самолетом он летел из дома, в сопровождении потливой тетки. Обратного на самолете не полетишь – нет документов. Не очень-то солидно получалось, но что делать? Он решил уехать и надо ехать.

Больше оставаться тут не позволяет совесть. Нельзя ему здесь. Нельзя. Надо уходить. А это не так просто.

Кроме расчета, требовалось еще что-то. Какая-то изюминка. К вечеру отпустило. Он придумал.

Поднялся в корпус, покрутился на площадке, где болтались дежурные, и когда они, болтаясь от безделья, вышли на крыльцо, открыл тумбочку. Там хранились нарукавные красные повязки. Одну Женя аккуратно сложил и сунул в карман.

Потом он отправился в комнату для тихих занятий, отрезал половину ватманского листа, склеил – не очень аккуратно, правда, – большой белый пакет. Подумав, написал на нем красным карандашом печатными буквами: "ДОСТАВИТЬ В ПУНКТ Х. СРОЧНО".

Под ником мог подразумеваться любой город или поселок. Очень удобно для возможных объяснений.

В комнате никого не было, перед сном обычно народ болтался на площадке возле корпуса – не хотелось расходиться, пели дружинные песни, встав в кружок, раскачиваясь в такт словам. Женя недолюбливал эти предсонные спевки, но сейчас его неудержимо тянуло вниз. Он взял квадратик бумаги, оставшийся от большого куска, и написал на нем:

"ИСКУПЛЕНИЕ".

Потом сунул квадрат в конверт, заклеил его, сбежал в спальню и аккуратно положил конверт под матрац.

Он оглядел спальню, которую почему-то называли по-больничному: палатой. Одинаковые железные койки с железными сетками и одинаковыми одеялами. И подушки абсолютно конгруэнтны, то есть подобны. Так ему казалось совсем еще недавно. И все пацаны были похожи. А теперь ему показалось, что даже у подушек свои характеры. Вот Генки Соколова – с подбитой щекой, сиваковская – толстушка; вытянутая, будто тянется куда-то – Вовки Бондаря. Одна подушка Саши Макарова – как белоснежная пирамида Хеопса – каждое утро и каждый вечер ее подправляет, приглаживает Пим. Хороший все-таки он мужик.

Женя задумался. Надо будет написать ему. Потом, когда все кончится. Сесть на вечерок за письменный стол и откровенно объяснить, пусть поймет. К тому же ему ведь достанется больше всех. Может, даже его выгонят отсюда, мало ли что хороший мужик – сколько вожатых, небось, в этот лагерь мечтает попасть: море, фрукты, красота вокруг.

Он испугался этой мысли. А что, если и правда его выгонят? Надо дать тогда телеграмму дирекции. Срочную. Как только прилетит, так и отобьет.

Он сбежал вниз, хлопнул по плечу Кольку Пирогова, тот покосился, разомкнул круг, положил руку на загривок Жене. С другой стороны была Катя. Каждый стоял, пошире расставив ноги, обхватив руками плечи товарищей, стоявших справа и слева, и все потихоньку качались в такт песне. А вечер скатывался с неба в море и на берег, но как он падает в море – было видно особенно хорошо: воздух над головой стал темным-синим, а над водой, у горизонта, еще светло, хотя солнце уже зашло – пространство там мерцает бирюзой, и полоска эта все уже, уже, пока не захлопнется окончательно дверь минувшего дня и щель не исчезнет. . .

Лампы в фонарях только включенные помаргивают, разгораясь, а возле них уже вьется туча мошкеры и ночных бабочек. Неверный свет этих ламп делает все лица одинаковыми, только те, кто загорел сильнее, кажутся негритятами, и Женя рад, что он – как все, к тому же ему повезло, он стоит спиной к фонарю и лицом к морю.

Эх, пацаны и девчонки! Что же происходит на белом свете? Почему, когда одним хорошо, другим обязательно плохо? Почему правильные поступки тянут за собой столько тоски и печали? Но ведь и оставаться здесь нельзя, невысказано!

Женя качался вместе с друзьями, перед глазами, по ту сторону круга, раскачивались лица Геныча и Зинки – она все улыбалась ему, улыбалась, ничего не подозревая, славные люди, Геныч, Зинка, Катька Боровкова, Ленька Сиваков, Вовка Бондарь, белозубый Джагир, Полина – ее лицо бескровным кажется, совсем зеленым при химическом свете фонарей. Что-то произошло в отряде после того правдивого утренника, да, да. Женя чувствовал это, явственно чувствовал. Будто какая-то пелена спала с каждого. И все успокоились. Точнее, стали спокойнее. Всех как будто что-то соединило. Всех, кроме Жени. Они верили, что он – как все. И он соглашался с ними, делал вид, что так оно и есть. Что он мог поделать, если его правде отказались верить. Они почему-то уверены были, что Женя такой же, как все. Откуда такая уверенность?

Так вот – они успокоились, выяснив, что похожи друг на друга. Стали ближе. Этот круг, который поет, – излучает дружелюбие и любовь. Пусть ненадолго, на остаток этой смены, но они стали родственниками, вот что!

Женя жадно вглядывался в лица. Знали бы они, что он решил! Но не в этом дело!

Женя вглядывался в лица ребят, запомнить бы их покрепче. Дурак, надо взять их адреса, чтобы потом написать каждому. Нет! Нельзя. Что он напишет? Что общего у них, кому он будет интересен, когда они поймут, что Женя соврал? Удивятся: ну и ну! Заругаются: какая сволочь, как прикидывался!

Эх, натворил же он дел. Всю жизнь теперь, до самой седой старости стыдиться ему, что согласился на подлог; за море, за удовольствие – говорить, что ты сирота, какая уж тут игра, какое притворство? Допустим, он не знал, чем может кончиться его рискованный психологический опыт. Пат не знала, ОБЧ не предполагал. Все так. Но что это меняет?

Вот он стоит в кругу ребят, о существовании которых совсем недавно еще не подозревал, и готов разреваться, как малыш, от любви к ним и от собственного стыда. Он попал в мышеловку. Эту опасность можно было допустить. Он думал, есть угроза попасть в мышеловку рукой или ногой. А прищемило душу.

Прощайте, ребята! Судите меня, думайте обо мне самое плохое! Как ни странно, но это поможет мне жить. Прыгать, а не красться, если уж я лягушонок.

Затрубил горн. Отбой.

Женя снова и снова жадно вглядывался в ребячьи лица. Потом по-рывисто шагнул к Генке, сказал ему горячо:

- Спокойной ночи, Генка! Не горюй!
- Ты чо? – уставился тот. Потом усмехнулся, так ничего и не поняв:
- Спокойной ночи, Жека!
- Спокойной ночи, – сказал Женя Зинке, и она улыбнулась ему в ответ.

– Приятных сновидений! – запоздало встревожилась. – Что с тобой?

– Ничего! – засмеялся Женя. – Просто так.

Он взял за локоть Катю Боровкову, легонько пожал его, сказал опять:

– Спокойной ночи.

Потом подошел к Ане, повторил прощание, а Пиму протянул руку:

– Спокойной ночи!

Тот ответил рукопожатием крепким, мужицким, и вдруг обнял Женю за плечо, повел его к палате. Опять перехватило горло.

На ступеньках, ведущих в корпус, вожатый шепнул:

– Все будет хорошо! Вот увидишь!

Они шли рядом слишком тесно, обнявшись, и Пиму не было видно лицо Жени. Хорошо, что не видно.

Вожатый проводил их до конца: ждал, когда умоются, вычистят зубы, разденутся и лягут. Сказал, прощаясь:

– Пусть вам всем приснится что-нибудь очень хорошее!

– Спасибо! Спасибо! – закричали мальчишки, а когда они затихли, Женя громко и серьезно, на всю палату сказал:

– Спокойной ночи, пацаны!

– Чо ты сегодня? – пробурчал Генка.

Это уж было лишнее, Женя ругнул себя, натянул одеяло до подбородка и замер.

Ждать пришлось недолго, пацаны, набегавшись, наплававшись, находившись, будто провалились в пустоту: раздался храп, стон, кто-то быстро и бессвязно забормотал. Подождав еще с полчаса, Женя встал, оделся, аккуратно заправил постель. Из-под матраца достал белый пакет. Нашупал в кармане деньги.

Теперь надо было прошмыгнуть площадку, где находились дежурные. Впрочем, строгостей не существовало, Женя знал это по себе, и ему приходилось провести ночь на раскладушке подле телефона: тревог не объявляли, ничего чрезвычайного в корпусе не случалось, и единственная обязанность у дежурных была в том, чтобы лечь позже всех и встать чуточку пораньше. Да закрыть на задвижку входную дверь.

Женя выглянул на площадку, дежурная пара, как и следовало ожидать, дрыхла, теперь весь вопрос был в том – как крепко. Потому что задвижка, да и входная дверь могли скрипнуть.

Они и скрипнули, но не так уж громко, все было устроено очень хорошо в детской здравнице, и дежурные спали нормальным, здоровым сном, который гарантировали режим и лагерная медицина, так что Женя вышел в темноту спокойно, без всяких осложнений.

Дверь легонько вякнула еще раз – он плотно притворил ее за собой, сбежал по ступенькам вниз, отпрянул в тень, и только здесь занялся собой: поправил пилотку, нацепил на рукав красную повязку, прижал к груди пакет.

Уверенным и спокойным, но быстрым шагом Женя двинулся к стадиону. Еще днем он присмотрел там не очень больших размеров – но в то же время вовсе не маленький – красный флажок, врытый в землю. Теперь он нажал ногой на древко, оно охотно затрещало у самого комля, флажок лег на бок. Женя быстро свернул его и двинулся знакомой до-

рожкой к дальнему забору, который брал уже приступом вместе с Зинкой, Катей и Генкой, тогда, в самом начале, когда ему еще и в голову не могло прийти то, что совершалось сейчас.

Если не считать стрекота цикад – говорят, они похожи на сверчков – было тихо. И очень странно, что в такой тишине и безветрии с берега доносились тупые удары воды. Женя поглядывал в сторону берега: пляж захлестывали тяжелые волны. В абсолютном покое волновалось только одно море, странно.

Впереди послышалось бормотанье, шарканье подошв – Женя отступил с дорожки в тень, зашел за куст и замер. Под фонарем появилась чуть сторбленная фигура старухи, и он тихонько рассмеялся – это ведь она же попалась им тогда по дороге к забору. Испугалась еще их приветствия, что-то сочувственное говорила вслед.

Теперь старуха тоже говорила, но только сама себе.

– Какая моя вина? – быстро говорила старуха. – Разве я виноватая? Да не виноватая я! Нисколечки! Да вот вы у Мани спросите, она скажет! И начальник тоже. . . Нет, нет, не виноватая я. . . Какая вина!

Она прошла мимо, растворилась во мраке и в густых тенях кипариса, а голос еще слышался:

– Нет! Не виновата!

Женя вышел из-за куста и, улыбаясь себе, думая о смешной старухиной вине, двинулся дальше. В чем она-то, интересно, провинилась? Ведь, наверное, на кухне работает. Или, может, уборщицей в доме вожатых. Стекло сломала в дверях – так что за беда! Стопку тарелок выронила? Идет, печалится, говорит сама с собой, жалко ведь, хотя, может, немножечко и смешно. Самую чуточку.

Опять совсем неожиданно сжало сердце, и снова Женя ощутил уже знакомое чувство жалости. Теперь он пожалел незнакомую старуху. Так и не узнает он никогда, что у нее случилось. От этой мысли стало тоскливо.

В кустах замелькал белый бетонный забор, асфальтовая дорожка шла теперь параллельно ему. Знакомое место он отыскал уверенно, но оно теперь не годилось: для одного – слишком высоко. Пришлось вернуться назад и поискать дерево, примыкающее к забору. Это сильно задержало Женю: по кипарису не полезешь, а другие деревья близко не росли. Он начинал нервничать и ругать себя: уж вот это-то он обязан был разведать днем. Попробовал допрыгнуть до края забора, но только ободрал ладони. Наконец удобное дерево нашлось.

Женя перекинул флажок, сунул пакет за пояс. Взобрался на дерево, а с него на забор. Оттуда оглянулся.

Лагерь был тих, темен корпус, впрочем, отсюда далеко, сплошная черная стена кипарисов и бледные фонари. Доносится стук жестких крыльев ночных мотыльков. Ну, что ж! – он вздохнул с облегчением: теперь вперед. Он стал спускаться по другую сторону забора, повис на руках, шлепнулся неумело на каменную землю. Даже по заборам он лазить толком не умел – не было у него в его прежней, домашней жизни такой нужды.

Он пересек пляж, где больше парни измывались над Зинкой, – теперь

тут было пусто и жутковато: полная луна отбрасывала густые тени, и он подумал, что в этих тенях удобно прятаться всякой шпане, вроде тех хулиганов.

Еще он подумал про грубую штопку на Зинкином лифчике – ведь это здесь первый раз ему стало жалко ее. Он подумал тогда, что она дурочка, выпендривается, расстегнула пуговики, как взрослая женщина, правда, у нее все почти как у взрослой, а оказалось, она просто выдумывала себя. Хотела быть бывалой, хотела ведь закурить на спасательной вышке, глупо врала, как сидорова коза. Эх, Зинка, Зинка, что с тобой будет дальше?

За пляжем был пустырь, потом обрыв, а выше проползала дорога. Женя выбрался на нее, привел себя в полный боевой.

Поправил повязку на рукаве, развернул флажок.

Теперь начиналось соревнование со временем. За удачу. Такой назначен приз – удача, везуха.

Очень скоро тишину разорвал автобусный рык, и из-за поворота выскочил "Икарус". Женя отступил в тень, машина, обдав выхлопами солярки, прокатилась мимо – нет, такой транспорт не для него, во-первых, автобус интуристовский, катит в какой-нибудь международный санаторий, а во-вторых, слишком много свидетелей.

Снова нависла тишина.

Горы, освещенные луной, казались опасно черными, грозными, хотя мирное пиликанье цикад тут сливалось, загустев, в один пульсирующий беспечный звук: казалось, здешние леса полны маленьких волшебных гномов.

Сначала Женя скованно вслушивался в этот усилившийся скрип, потом звуки расслабили его, сняли напряжение. Благодать разливалась над этой теплой землей, над морем, мерцающим внизу, все тут, казалось, существует для одного лишь удовольствия и покоя.

Он опять заволновался. Время шло, утекало сквозь звуки, будто сквозь пальцы, а дорога была пуста. Соревнование со временем оказывалось не таким-то легким делом. И что будет, если все сорвется, – не хочется даже думать.

Он ходил вдоль дороги – сто шагов в одну сторону, сто в другую. И пусто! Тихо! Если не считать цикад.

Наконец-то!

Сердце забилося, он мысленно повторил все, что затеял. Из-за горы вырвались сперва два луча, а потом ярко засияли фары. По дороге неслась белая машина – не ехала, а неслась. Женя сразу понял, что становиться у нее на пути очень опасно, но отступать уже было невозможно. Время уходило, время.

Он стоял на дороге, на самой ее середине, и махал красным флажком. Машина затормозила резко, ее повело юзом, вытащило на обочину. Поднялась пыль.

Женя думал, на него закричат, но в машине было тихо. Тогда он смело подошел к водительской дверце и сказал приветливо:

– Здравствуйте, товарищи!

– Здравствуйте, – испуганно ответил мужской, с акцентом, голос.



– Пионерский лагерь проводит военизированную игру. Вы куда направляетесь?

– Фу ты, черт! – проговорил хрипло человек. – Я ужэ пэрэпугался! В город едэм!

Женя глубоко вздохнул и почти официально, звонким голосом проговорил:

– В мою обязанность входит доставить эту депешу, – он протянул пакет. – Захватите меня с собой!

Из теплого нутра машины до Жени доносило малоприятными запахами перегара. Но отступить было поздно.

– Что там? – проговорил сонный женский голос. – Опять милиция?

– Мальчик! – ответил шофер. – Просит довести!

– Какой еще мальчик? – угрюмо проговорила женщина.

– Пионэр! Из лагеря! – И кивнул Жене: – Садись скорей, чиво стоишь!

Женя разглядел, что место рядом с водителем свободно, и сел туда под женское причитание.

– Ох! Из лагеря! Пионер! Ну-ка, дай я тебя разгляжу!

Женя сразу понял, что женщина, сидевшая сзади, не очень трезва, слова, которые она говорила, будто покачивались, их перевешивало то вперед, то назад торопливым или вдруг замедлявшимся выговором, но что делать. Он повернулся вполоборота назад и деланно улыбнулся.

Ничего он, конечно, не увидел, и пьяная тетка не могла его разглядеть в такой тьме, а она все не унималась:

– Счастливчики! Живут себе! У моря! Разве я могла в их годы! А, Ларик!

– Я в их годы работал на поле! – сказал грузин. – Ел мамалыгу! И запивал сырой водой!

– Зато теперь! – хихикнула тетка и громко икнула.

Шофера передернуло, и Женя мысленно согласился с ним. Похоже, это был замечательный мастер. Длинный, голова почти упирается в потолок машины и нос, как у грифа, – только нос и можно разглядеть при свете маленьких лампочек приборного щитка, а несется он, как настоящий ас. К тому же ночь, машин на дороге нет, колеса посвистывают, и сердце сладко замирает, когда машина вписывается в полукруг дороги, вплотную прижимаюсь к краю отвесного обрыва, – хорошо еще, что темно, и опасность лишь угадывается, когда лучи фар отрываются от земли, от побелевших листьев деревьев вдруг проваливаются в нечто неопределенное, означающее пустоту. . . Это была опасная, зато быстрая езда, и этот носатый Ларик сразу понравился Жене, потому что он, ничего не зная, помогал ему, а тетка – та мешала. Молола какую-то чепуху, и шофера это раздражало.

Вдруг женщина спросила:

– Мальчик! А ты случайно Макарова не знаешь? Сашу? Такой белобрысенький?

– Опять за свое!

Жене показалось, он ослышался: шофер сказал это не своим голосом, сильным каким-то. Наконец он догадался, обернулся назад и увидел силуэт мужской головы, лежавшей на плече у женщины. За все это время он не произнес ни звука.

– Чего я такое сказала? – обиженно спросила женщина.

Ей не отвечали. И Женя не знал, что делать.

Неужели влип? – думал он. Откуда эта пьяная тетка знает Макарова? Может, все эти люди работают в лагере, мало ли, бывает, возвращаются из гостей. Но тогда бы они знали, что никакой военизированной игры нет. И детям не полагается возить депеши на чужих машинах. Нет, тут было что-то другое.

– Я его мама, понимаешь! – сказала тетка. – Просила повидаться, не пускают. А ведь не имеют права!

Она цепко ухватила Женю за плечо.

– Не трогай мальчика! – грубо сказал ее сосед. – Там, понимаешь, тысячи детей! Откуда ему знать каждого?

Тетка отцепилась, откинулась назад так, что звякнули пружины.

– Сволочи! – проговорила она, всхлипнув, и воскликнула: – Ларик! Илларион! Что же такое творится! Я его родила! В муках! А они!

Шофер ничего не ответил, только слегка пригнулся над рулем. Машина, казалось, играючи совершает опасные пируэты над темной пустотой. Словно этот Ларик, этот Илларион, вовсе и не шофер даже, а пилот, командир быстроходного самолета, и он переключает свою машину с крыла на крыло, уходит от врага какого-то, от преследователя, который целит в него, в его хвост, а точнее, целит в эту пьяную тетку, но что делать, она сидит тут, и надо уходить, петлять, совершать пируэты, норовя вмазаться в землю, уходить изо всех самолетных сил.

Женя все понял. Чего тут было не понять?

Мать, говорит, она? А чего ей врать? Только вот какая мать?

Это и было-то – когда? – каких-то несколько часов назад.

Сашка повалился навзничь, и серая пена страшно взбилась у краешков губ, но Женю больше всего поразило не это, а опытность Генки Соколова, который вдруг стал разжимать Сашке Макарову зубы и вставлять палку, как собаке, надо же – разве могло это не поразить? Женя все хотел спросить Генку, узнать, зачем эта палка, а ведь так и не спросил – захлестнуло его, что-то непростое случилось с ними со всеми, даже с Пимом – он ведь сидел, обхватив голову руками, спрятав глаза, а народ, растревоженный припадком – надо же, припадком! – Сашки Макарова, нес невесть какую правду!

”Сказать ей про Сашку? – подумал Женя. – Сказать ей всю правду?”

И что с ней будет? Заревет? Грош цена этим пьяным слезам! Заскандалит, побежит в лагерь. А ведь Сашка сказал, будто он потомок адмирала Макарова, чудак-человек. Не случись, конечно, припадка, может, и про мать бы рассказал, а тогда, в тот вечер великого вранья, ухватился за свою фамилию, она ему помогла, всего-то.

Женя опять припомнил носилки, бледное, совершенно невыразительное лицо Сашки с закушенной палкой, и вдруг ярость и обида накатила на него. Ведь эта тетка, эта мать, черт бы ее добрал, виноватая, что Сашка такой, она, видите ли, пьяная в машинах разезжает, а Макарыч где-то в больнице.

Еще не зная, что он скажет, Женя резко обернулся назад. Но ничего

он не разглядел. Снова увидел два силуэта: женская голова и мужская – на плече у женщины.

– А вы знаете, – спросил Женя, не скрывая злобы, – что за смена сейчас в лагере?

– Знает она, – сказал мужчина рядом с ней.

И вдруг с Женей что-то случилось. Его прорвало. Он даже не слышал сам, что говорил. В нем не слова бурлили, а обида кипела. За Сашку, сына этой пьяной бабы. За Генку, Зинку, пацанов и девчонок, которые съехались сюда на одну счастливую смену.

На одну! Всего на одну!

А что с ними будет дальше, кто-нибудь подумал об этом, хотелось бы узнать? Вот эта тетка, например, так называемая мать.

– Да, – говорил Женя, будто декламировал. – Представьте себе, я знаю Сашу Макарова. Отличный парень! У нас вообще все хорошие ребята. Но он – номер один. Он у нас знаменосец. Вы, конечно, понимаете, что знаменосцами выбирают самых лучших?

– Знаю, знаю! – прошептала тетка.

– Ну так вот, – вдохновенно врал Женька. – А еще он у нас председатель совета дружины, отлично владеет горном и барабаном. Занял первое место в лагере по плаванию, получил золотую медаль и грамоту.

– Надо же! – воскликнула тетка.

– Слушай, Лидка, – сказал Илларион, – а ты и не знала, что у тебя такой хороший сын?

– Заткнись! – рявкнула тетка, и весь этот разговор точно подхлестнул Женю.

– А еще он отлично играет на скрипке, стал лауреатом лагеря, еще одну медаль заработал.

– Надо же! – ахнула тетка. – А раньше слуха не было.

– То раньше, то теперь! – нравоучительно произнес Женя. – Может, он раньше и учился плохо?

– Аха! – выдохнула тетка.

– Ну так теперь он победил на математической олимпиаде. Мы даже сами все удивляемся. Он за десятый класс задачки свободно решает. На эту олимпиаду к нам профессор приезжал. Ершов фамилия. Не слышали? Так он сказал, что Сашку в МГУ без экзаменов примут. А там ему и аспирантура обеспечена. Наверняка профессором станет. Да только вот он мне говорит, не решил пока окончательно, может, на математику, а, может, в консерваторию по классу скрипки. Тоже поступит. Я уверен. Эх, как играет, знаете? Запросто народным артистом станет. Лауреатом!

Машина шла теперь по городской окраине. Лихой Ларик приубавил скорость: хоть и ночь, а здесь могла дежурить милиция.

Женщина за спиной громко всхлипывала, теперь можно не сомневаться, что она Сашкина мать. Знала бы правду, эх, елки-палки. Может, сказать? Ведь Сашка где-то здесь, в этом городе. Больниц тут наверняка не очень-то много. при желании да еще с машиной можно быстро разыскать.

Но Женя колебался только мгновение. Нет! Нельзя ему предавать

Сашку. Пусть знает эта мать, что Сашка Макаров – человек, не чета ей.
– Э, мальчик, – произнес мужской голос из-за спины. – А ты нам не заливаешь?

Женя на мгновение замер. Потом снова кинулся в бой.

– А вы что? – спросил он. – Газет не читаете?

В машине повисла пауза, и Женя чуть не рассмеялся. Этот наивный вопрос оказался вроде как удар в самую диафрагму. Уж чего-чего, а такие компании действительно газет не читают, можно быть в этом совершенно уверенным.

– Ну-у! – протянул он с заметной долей превосходства и даже нагменности. – Да ведь портрет Сашки Макарова напечатан в "Пионерской правде". С неделю назад примерно! Про его успехи даже "Правда" писала! Как же!

Женя помолчал, подумав, и посоветовал:

– Да в библиотеку зайдите!

Мастер быстрого вождения Илларион несколько раз глянул в сторону Жени. Даже в темноте можно было понять, что смотрит он на него с повышенным уважением.

Взрослые на заднем сиденье вообще притихли.

– Надо же! – проговорила после паузы Сашкина мать. И повторила два раза: – Надо же! Надо же!

– Так что лет через семь, – сказал Женя, заканчивая свое ночное путешествие, – ну, через десять будет Саша знаменитым человеком!

– Надо же! – как заведенная, повторила тетка.

– Тебя, мальчик, куда подвезти? – сказал Илларион с нескрываемым уважением.

– К горкому партии, – спокойно ответил Женя.

В машине стало совсем тихо. А когда она стала притормаживать у высокого дома, возле которого под фонарем стоял милиционер, Женя мастерски вздохнул:

– Так что у Сашки есть серьезная проблема.

– Какая? – трепыхнулась тетка.

– Куда податься? В математику или в музыку!

– Надо же! – сказала она в последний раз.

– А вы что думали? – жестко сказал Женя. – Мы без вас людьми не вырастем? Очень даже вырастем! И вовсе вы нам не нужны, такие мамаша! Лучше бы вы уж совсем куда-нибудь сгнули!

– Маладэц, пацан! – тихо сказал Ларик.

– Родить, знаете ли, ума не надо! – придумал Женя убийственную фразу. Впрочем, он где-то все-таки слышал ее раньше.

Его трясло. Мстил он, мстил этой пьяной забулдыге. За всех за них.

Машина стояла. Милиционер медленно двигался ей навстречу.

Женя уверенно прс тянул руку Иллариону, пожал ее и сказал:

– Спасибо, товарищ!

Он выскочил из машины в предрассветную ночь, хлопнул дверцей и смело пошел вперед, прямо к милиционеру.

На груди – галстук, на рукаве – повязка, в одной руке свернутый флажок, а в другой белый пакет. Сразу видно, что это вам не какой-то

пацан шляется по ночам, а пионер выполняет важное, может, даже секретное поручение.

Шага за три перед милиционером Женя бодро вскинул руку и отдал салют представителю власти.

* * *

Растревоженный игрой, не столько забавной, сколько опасной, Пим долго не мог уснуть, хотя обыкновенно выключался, едва укрывшись простыней.

Опасной? Еще бы! Без году неделя знает он эту ребятню, да и знает ли, ведь знакомство с таким народом отнюдь не означает знание, это скорей предположение, никак не более, узнать людей малого возраста, изломанных подлостью и бедой, дай бог, через год — если не отходя, весь год, хлебать из одного котелка, жить вместе, думать вместе — только тогда к ним приблизишься, хотя это не означает — поймешь.

Нет, не скорое дело — узнать их и понять, все до доньшка — если и не выведать, то почувствовать, и разве же не опасное занятие вот так-то запросто, едва отличив одного от другого, строить предположения, развивать догадки, планировать их возможную будущность?

Сколько еще непредугаданного у них впереди? Даже в детстве, в детском доме?

Эх, да разве одним только рождением своим, одним лишь фактом появления на свет, родительским умыслом прибавить к многомиллионному миру собственное дитя — разве нет в этом замысле заведомой обреченности на радость и счастье? Беды, конечно же, в мире через край, никто еще не взвесил, чего более даровано человечеству — радостей или лишений, никто не знает, что чего перевешивает, но жить одной лишь болью едва не с самого рождения — как согласиться с таким распоряжением судьбы? И как этому воспротивиться, да не взрослому, сознательному человеку, а ребенку, и не малому ребенку, который многое понять не в силах, несмышленишу, но человеку, начинающему соображать, чувствовать, длинноногому жеребенку, нескладному еще пока, скакать умеющему, а все же без табуна, без материнского теплого бока, беспокойному, даже погибающему.

Погибающий ребенок! Господи, да разве же не погибают они? Физически живы, это да, детский дом поит, кормит, учит, и самые сильные спасаются, вырастают достойно, и многое, наверное, в состоянии сделать по-настоящему, став взрослыми, самостоятельными людьми, способны к поступкам обнаженной честности, не боятся самых трудных глубин правды, преодолению страданий, которые они познали той порой, когда другие лишь нежатся в розовых неправдах затянувшегося детства, эти люди не убоятся лишений и во взрослости, и потому из них больше граждан самоотверженных, героев, да, да, героев, ведь подлинный героизм обнажается не в благополучии, а именно в лишениях, в скором выборе решения, способном спасти других, оказавшихся под угрозой, в необходимости выступить вперед раньше иных, пусть на какое-то мгновение, но раньше, и повести за собой.

Но это те, кто выбьется, выдюжит, прорвется сквозь нещадную суровость одинокого отрочества, юности без поддержки и ласкового слова матери и отца. Остальные-то? Что с ними? Есть ли статистика, не подобранные под стать желаемому чувству, а научно твердые, пусть и жестокие цифры, по которым стало бы понятно, что творится с одиноким детством? Кто как устроился в этой жестокой жизни? Что закончил – ПТУ или институт? Встретил ли мать свою и отца и как сложилась эта встреча? Ведь одно дело – человек, попавший в несчастье, пусть и по своей вине, в тюрьму, скажем, но все же вышедший из нее и жизнь свою остальную искупающий перед детьми вину за краткое – или долгое? – отсутствие вблизи малого своего дитяти. А если встреча эта горька, полна утверждения осознанности предательства? А если ее вовсе нет, как будто и не было никогда родителей, помышлявших о тебе? И всю жизнь, как шелк хлыста над головой, преследует такая простая и уничтожающая правда: ты родился случайно, ты никому и никогда не был нужен, ты всего лишь забава двух людей, побаловавшихся друг с другом и оставшихся самими собой, а твоя жизнь – лишь царапающая их память подробность, торопливо забытая, впрочем, глупость, как бы заросшая беспамятностью, эгоистическое нежелание оборачиваться назад, на собственные свои следы, нижайшая ступень эгоизма.

Легко ли одолеть эту преследующую и без конца унижающую мысль? До старости, до седых волос преследующую?

Или, может, он преувеличивает? И все гораздо проще на самом деле? Ведь человеческая память – такое сложное, избирательное устройство, что оно способно стереть неприятные подробности, опустить истину куда-то вниз, скрыв ее неправдой или искренней детской выдумкой. Не зря же кто-то из этих теток, с которыми он говорил по телефону, откровенно сказал: они любят врать, они выдумывают. Да что там, он ведь и сам в этом убедился: ну-ка, вспомни вечер знакомства, вечер такого искреннего вранья, когда он развесил уши, точно последний сопляк, поверил всему, что они там плели, восхитился поразительными судьбами детей и таким недетским мужеством. Поверь им – и перед тобой героическая повседневность страны: гибель героев, стойкость защитников, самоотверженность работников, не жалеющих себя, и хоть было горько слушать детские рассказы, а все же вдруг прихлынула странная гордость за эту мозаику вселенских несчастий, причиной которым были честь и порядочность.

Правда же оказалась иной. Истина оказалась подлой и не вызвала даже простого понимания, не говоря уж о чувствах более высоких.

Тюрьма, жизнь за колючей проволокой и таким образом все-таки временное отсутствие родителя, хотя бы одного, было самым понимаемым и самым, увы, простимым из всего, что знал Павел о детских бедах.

Тюрьма – самое объяснимое, надо же!

Ту же Аню хотя бы – как объяснить? Матерью, ее характером? Не слишком ли просто?

Он не собирался ни в чем попрекать Аню, про себя без конца по-

вторял дурацкую мысль, что не имеет на то никакого права. Но какие такие права надо иметь, чтобы судить другого?

Верно, судить – не его дело, впрочем, это вообще совершенно неподходящий глагол в данном случае. Судить, осуждать – противноватые слова, к тому же она сама взрослый человек и, кроме того, она вовсе не отвратительна Павлу, точнее, что-то такое витает между ними, нечто неизъяснимое и не вполне почувствованное. Все, что подразумевается под именем Аня, – внешняя совершенность, абсолютные душевные потемки, это ее признание, история, похожая на бред, цепь обманов, неизвестно для кого приобретенных и камуфлированных под идеал в голубой курточке с пионерским галстуком на груди, открытой улыбке – все это если и может иметь форму в сознании Павла, то это форма ежа.

Колючий, он ворочается в нем без конца и никак не может улечься, без конца колет, и очень, между прочим, больно.

Хорошо. Если избрать бесконечное благородство и принять за данность, что он отрекается от права судить, приговаривать и тэ дэ и тэ пэ, то имеет ли он право быть спокойным и совершенно уравновешенным, имея дело с ребятами из нынешней смены, и тут же, только лишь обернувшись, бестревожно разговаривать с Аней, помня о ее признании?

Как тут-то быть?

Терпеть? Быть спокойным? Считать, что ничего не происходит?

Но ведь он же человек, черт возьми? А человеку может быть свойственно очень многое, совершенно подлое даже или просто никчемное, но только одно нельзя признать естественным – ежеминутное, ежечасное, ежедневное душевное качание. Состояние маятника.

Короче – он должен быть или с Аней, и это достаточно ясно, или с ребятами, что тоже вполне очевидно. Но с ребятами быть, ощущая присутствие Ани, почти что невыносимо.

А если даже и мыслимо, то подло. По отношению к пацанке и этим девчонкам. Что бы они сказали, узнав правду про Аню?

Что бы такое выдала, любопытно, какой такой перл произнесла бы, к примеру, Зина – несбывшаяся Наташа Ростова?

Представить трудно.

А что, если это выльется в бунт? Образцовый лагерь, всесоюзная здравница, город будущего, народная гордость, и – на тебе, бунт! Красивую женщину Аню просто жалко – в нее швыряют помидоры, но это ничего не меняет, потому что помидоры очень большие и спелые, они брызжут красными внутренностями, заливая голубую форму вожатой, а галстук от помидорной жижи, шелковый красный галстук делается черным. Дети озверели всерьез. В них будто поселился один-единственный зверь. Одинаково жестокий. Они не кричат, не ругаются. Они просто швыряют в Аню всяческую ерунду – банки из-под консервов, палки, помидоры и яйца, сваренные всмятку: на завтрак часто дают эти яйца всмятку – поэтому, наверное, их и швыряют, ведь яйца иногда остаются несъеденными, может, дети их приберегли, припрятали где-то в тайном уголке, в кустах, они же откуда-то знали о том, что будет бунт.

Аню жалко, она некрасиво плачет, что-то такое пробует объяснить в свое оправдание, но ей не дают говорить, больно лупят помидорами, яйцами всмятку и пустыми жестяными банками. Никто не кричит, не смеется, не плачет. Бунт бессловесный, а оттого жестокий и по-настоящему опасный. А он, Павел, ничего не может сделать. Он сидит тут же, на лавочке, сбоку и чуточку вверх, на зеленом пригорке, но он как будто сразу после операции. Его похлопывают по щекам, говорят, чтобы он сказал что-нибудь, а он не может разжать губы, хотя и слышит все отлично и все прекрасно видит.

– Ну, ну! – говорит ему его же собственный голос. – Соберись! Надо что-то сделать! Иначе быть беде!

И только тогда он с трудом поднимается.

Павел сидит на кровати. Он не понял, как поднялся. Он все еще во сне. С трудом, прерывисто вздыхает, освобождается от наваждения,

Аню избили во сне. Но мысль о бунте не выходила из головы. Что-то должно было произойти.

Павел второпях совершил обряд утренних надобностей и побежал к своему отряду.

Предчувствие не подвело: в утренней сутолоке подъема перед ним предстал Генка Соколов. Он был спокоен внешне, а рукой указывал на одну заправленную кровать. Это была койка Жени Егоренкова.

– Что ты хочешь сказать? – спросил, неожиданно заволновавшись, Павел.

– Сбёг! – кратко изрек Генка.

– Почему ты решил? – сказал Павел, не желая соглашаться с Генкой и в то же время необъяснимо понимая его правоту.

– Я еще вчера понял, – сказал Генка. – Он со мной попрощался.

– И со мной!

– Со всеми!

Нет, утренняя суэта не остановила своего разбега, только, может, слегка укоротила шаг. Ребята лишь ненадолго замедлили свои движения, чтобы подтвердить Генкино – не сообщение даже, а простое наблюдение. "Сбёг!" – и все. Они жили дальше. Как будто совсем не удивились этому. Но ведь если Женя убежал из лагеря – такое называется ЧП – чрезвычайное происшествие. Побегов этот лагерь еще не знал. Разве что когда-нибудь по какому-то недоразумению такое могло произойти, да и то общая память лагеря не хранила подобного прецедента.

– Так! – хлопнул в ладоши Павел. – Всем – внимание! – Палата замерла. – Почему вы все! Единогласно! Решили! Что Егоренков сбегал!

Теперь он волновался не на шутку. Он просто не знал, что делают в таких случаях. Ясное дело, надо явиться к начлагеря, это элементарно, но потом? Он думал и ничего не мог выдумать про потом. Какой-то умственный паралич.

– Кровать заправлена раньше всех? – продолжал разбираться Павел. – Но это еще не доказательство! попрощался, вы говорите? Как попрощался?

– Сказал: "Спокойной ночи, пацаны!" – объяснил Володя Бондарь. Ничего себе объяснение.

– Пожал мне руку! – проговорил Генка. И успокоил: – Да нет, вы не сомневайтесь, Павел Ильич, он точно сбег!

* * *

Женя понимал, что его станут искать и этот поиск будет вестись всерьез, без всяких поддавок, тут тебе не шашки, лагерь включит все милийские рычажки и кнопки, и ему придется нелегко, убегая от всеобщего поиска. Что-то такое следовало придумать, изобрести свою хитрость и обмануть взрослых, особенно в самом начале дороги.

Какую надо было изобрести хитрость и как обмануть – он не представлял себе точно и полагался на свое бывшее хладнокровие, на свой, как говаривал ОБЧ, рационализм.

Вообще-то, подкатив к горкому партии посреди ночи, он играл в жмурки с опасностью, милиционер не мог не запомнить его, и это лихое салютование и бодря походка у властителя порядка, по-настоящему бдительного, непременно вызвали бы вопрос: что это вдруг за пионер с пакетом? Но есть положения, сбивающие людей с толку. Первое и самое верное – неожиданность. Разве это не неожиданность – пионер с пакетом? Но, во-первых, он вылезает из машины, которая аккуратно тормозит у здания горкома, и эта машина не может не смутить милиционера. Значит, приехал пацан неспроста. Этот же самый авторитетный адрес сбивает с толку и тех, из автомобиля, но у них толку не больно-то много, с него сбить несложно.

Свернув за угол, Женя не побежал, не заторопился, а пошел все той же спокойно-уверенной походкой. Уже светало, макушки гор позади окрасила густым желтым цветом новая заря, но здесь, на дне городских колодез, было еще сумеречно и знобко.

Через квартал-другой Женя увидел дворника со шлангом в руке. Старик задирал высоко вверх струю, она достигала середины асфальтированной дороги и разбрызгивала пыль, смывала ее. Даже издали было видно, что работа старику доставляет удовольствие, он, кажется, забылся, играет, как пацан, водой, выписывает струей всякие там кренделя, улыбается сам себе.

– Доброе утро! – вежливо поздоровался Женя, но старик не ответил. Блаженно улыбался себе, крутил носиком шланга. Может, он глуховат, подумал Женя и повторил свое приветствие совсем громко. Но старик опять не ответил. Женя был совсем рядом от дворника, у него за плечом, и тогда он отмерил вперед несколько шагов, попал в поле зрения дворника. Тот удивленно уставился на пионера с пакетом, Женя поприветствовал его в третий раз, выкрикнул свои слова. Старик замычал, часто кивая головой. "Глухонемой?" – запоздало догадался Женя. Он хотел разузнать, как пройти к вокзалу, и хотя теперь это казалось бессмысленным, все-таки спросил, пошире открывая рот и почетче выговаривая слова. Странное дело, дворник понял его и показал, что идти следует совсем в противоположную сторону, чем двигался Женя.

– Пуф-пуф, – раздувая щеки, Женя попытался изобразить паровоз, подвигал локтями и, хотя, ясное дело, по земле давно ходили электровазы, но старик засмеялся, открыв беззубый рот: видно, такое объяс-

нение ему оказалось по душе. Он опять показал за спину, значит, сразу правильно понял Женю и его вопрос.

– До свидания! – сказал ему Женя. – Хорошая у вас работа!

Старик опять распахнул шербатый рот, снова беззвучно рассмеялся и все поглядывал вслед Жене, пока тот не свернул за угол. Теперь он обошел горком стороной, играть с огнем было просто глупо, обогнул знакомое место за целый квартал и быстро добрался до вокзала.

Народу заметно прибавилось, но вертеться на вокзале все равно опасно, теперь требовались действия быстрые и точные.

Ему повезло: пришла пригородная электричка; пока народ выбирался из нее и люди шагали по вокзалу, он разобрался в расписании: поезда на Москву шли вечером, да и не один, а сразу несколько с перерывом примерно через час, а самый ранний уходил в обед, и в расписании было означено, что этот первый – просто пассажирский, в то время как все вечерние – скорые.

В раздумье и чтобы не бросаться в глаза, Женя не спеша пошел к выходу. Впереди он уже разглядел форменную милицейскую фуражку с малиновым рантом и кокардой, но ему опять повезло. Рядом с ним топала бабка с двумя корзинами в руках. Одна была набита зеленью, другая – помидорами, и та, с помидорами, сильно корежила бабку набок. Она пыхтела и должна была скоро остановиться, чтобы передохнуть. Тут-то и пришел ей на выручку Женя.

– Тяжело ведь, бабушка? – спросил он ее, не очень-то навязываясь, чтобы не спугнуть, не разбудить ненужную старушечью подозрительность.

– Да как не тяжело! – охотно откликнулась она.

– Так давайте подсоблю!

Это словечко – подсоблю – было не из Жениного словаря, так говорила иногда бабуленция дома, и вот теперь оно помогло, вызвало у торговки доверие, что ли. Мол, не вражина какой этот паренек, свойский, с электрички, да еще вон и весь такой пионерский, в галстук.

– А и подсоби! – согласилась она. – Вот хоть эту корзинку подтащи до автобуса.

Помидоры она поволокла сама, Жене досталась другая корзинка, хоть и полегче, с зеленью, но тоже будь здоров.

– Ты не с нашего поселку будешь? – спросила бабка.

Они как раз миновали милиционера, который даже не взглянул на бабку с внуком, волокущих корзины, ясное дело, к утреннему рынку.

– А вы сами-то откуда? – вывернулся Женя.

Бабка назвала незнакомое местечко.

– А электричка до какого места идет? – спросил он.

Бабка проговорила еще одно название.

– Город или поселок? – допытывался он.

– Городок махонький.

– А поезда на Москву через него идут?

– Ясное дело!

– И останавливаются?

– А как же! – удивилась бабка. – Только мы все отсюда ездим. Купейный возьмешь – как царца!

Автобус был по-утреннему полупустой, Женя затащил в него сначала одну корзину, потом другую, и бабка попыталась всучить ему рублевку. Он отскочил, как ужаленный:

– Да вы что!

– То-то, я гляжу, видать, ты из лагеря. Самого вашего главного. Молодец какой! Ну, внучок, спасибо. Уважил!

Он рассмеялся: а ведь уважила-то ты, бабушка. Все, что надо, рассказала!

Женя вернулся на вокзал деловым шагом, взял в кассе билет на электричку до самой дальней станции, пробежал мимо милиционера – так-то надежнее, – сел в зеленый вагон, и, точно по невидимой команде, электричка зашипела дверями, ринулась вперед.

Городок, где он высадился, оказался сонным и пыльным. Казалось, белая пыль, покрывавшая асфальт и крыши домов, – это сонный порошок, насыпанный кем-то сверху. Улицы были пусты, пару раз на Женю брехнули собаки, но и то лениво, спросонья.

Еще в электричке он порвал на мелкие кусочки свой липовый конверт, снял с головы голубую пилотку, развязал галстук, нарочно взъерошил волосы. Жаль, в пригородных электричках не бывает туалетов с зеркалами, а то бы он непременно поглядел на себя: как он теперь выглядит и что бы еще можно сделать, чтобы как можно меньше походить на пионера из образцового лагеря.

Когда поезд добрался до конечной станции, Женя вышел вместе с немногими пассажирами, скрылся в неприятном пристанционном туалете, а когда дышать там стало неважно, вышел и, придумывая на ходу слова, какие скажет кассирше, приблизился к узкому оконцу, почти амбразуре, за которым можно было разглядеть только обильную грудь и пухлые женские руки.

– Тетенька, на сегодняшний поезд можно взять один взрослый билет, бабка велел, ему ехать срочно надо, тетка померла, – проговорил он не медленно и не быстро, без робости, но и не нахально, стараясь скрыть естественное волнение, и все-таки не скрывая его до конца, потому что все это вместе взятое можно было бы принять за почтение, за уважительность к толстой и весьма значительной по своему месторасположению и службе тетке, от которой виднелись только руки и грудь.

– Телеграмма есть? – проговорила тетка.

– Телеграмма? – Женя испугался уже всерьез.

– По такой надобности детей посылают, это надо же! – воскликнула тетка. – Будто не знают, как летом с билетами.

Женя закулил:

– Те-еть, помогите! А, теть!

– Центральная! Тут по телеграмме. Одно место. Да какое ни какое! А он скрестил большой и указательный пальцы, молил: пусть пове-
зет! Ну пусть!

Тетка, наконец, сказала:

– Говори спасибо, паренек! На дополнительный поезд купейное дали! Везет твоему бате.

Она засмеялась. Видать, порадовалась сама себе. Женя подхихикнул, стараясь камуфлироваться под местного, опять заторопился:

– Ой, тетечка, спасибочки вам, ой, спасибо!

Тетка назвала сумму, щелкнула чем-то железным, приняла от Жени полусотенную бумажку, выкинула взамен маленькую картонку с розовым надрезанным листком впридачу. Потом она захотела увидеть Женю, снизошла, чтобы оглядеть покупателя, чей, мол, это сын и чья это тетка у кого померла, – тут, пожалуй, все друг дружку знали – но Женя был готов к этому, он чуть сдвинулся в сторону, оставив лишь глаз, да щеку в поле зрения толстой кассирши, взял сдачу и, уже скрывшись из окна, проговорил, едва сдерживаясь от смеха:

– Спасибочки, тетенька, вот батяка-то обрадуется!

Потом он побрел по городку, осыпанному сонным порошком. Хорошо, что Пат сунула ему в дорогу целых две сотни. Хорошо, что он вспомнил про них в бане, когда все сдавали свою одежду. Плохо, что этот городок такой пустой и сонливый. Всякий новый человек тут бросается в глаза.

Ему повезло еще раз. В похрапывающем универмаге что-то такое давали – то ли стиральный порошок, то ли туалетную бумагу, негромко жужжала старушечья очередь, пробуждая интерес продавщиц из других отделов, поэтому, когда Женя попросил дать ему померять серые брюки и коричневую спортивную куртку, две мордастые тетки, похоже, проводящие всю свою сознательную жизнь в полусне, ленивых сплетнях и наслаждении семечками, выложили Жене все, что он просил, а сами не вполне любезно, зато удобно для него повернулись к нему толстенными задами, расставили икрастые ноги на ширину плеч и принялись обсуждать шмелиный рой старушек в канун счастливых покупок, продавщиц из соседнего отдела, которым, наконец-то, приходится шевелить кое-чем, имеющим, конечно, и литературные синонимы, но все же называемым своими подлинными именами.

У этих монументальных дам помимо всего прочего, многогранного, были еще непропорционально маленькие головки, прямо-таки как у вымерших ихтиозавров, только лишь украшенные шестимесячными, совершенно одинаковыми завивками, этакими венчиками схожей масти. Все было недвижно в них сзади, застыло, окаменело, только венчики поворачивались друг к другу, из-под которых вылетали отдельные слова и междометия, поражавшие непритязательностью и бесцензурностью.

Хихикая про себя и вовсе не торопясь, Женя примерил брюки и куртку, высмотрел цену неброской серой рубашечки, обогнул теток, уплатил деньги в кассу, вручил одной ихтиозаврине чек, показав ей куртку и штаны, а рубаху она ленивой рукой, почти не глядя, протянула Жене с полки.

Он удалился, пропустив в дверях пару старушек с мотками туалетной бумаги, натянутыми через плечо, как патронташи партизанок, хихикнул: наверное, третьей мировой войны? – с коробками стирального порошка – оказывается, выкинули и то и другое, зашел тут же за универмаг и, оглянувшись, переоделся в сонных, покрытых пылью кустах. Такие люди, как эти две ихтиозаврины, похоже, даже были не способны заме-

тить его, в лучшем случае они могли опознать свой товар – штаны и куртку, но Женя не зря выбирал одежду невзрачных тонов производства местных швейных фабрик, хотя в универмаге, несмотря на дефицит предметов более простых, но, видимо, и более ходких, свободно продавались джинсы с американскими нашивками и яркие спортивные курточки тоже ненашинских качеств. Так что покупатель из Женя получался неценный, не могущий привлечь серьезного внимания знающих свое дело и понимающих толк в людях продавец.

Итак он переоделся, аккуратно свернул голубую форму приморской дружины в свиток, прижал его ветками, хотя жалко было этих коротких штанов, куртки, пилотки. Галстук он сунул в карман. Неизвестно почему и для чего. Просто сунул, и все.

Ни у кого ничего не спрашивая, Женя принялся ходить по городку, стремясь туда, где было побольше народу. Так он обнаружил небольшой базарчик, на котором продавались овощи и который огражден был дощатыми, разноцветно окрашенными ларьками самого разнообразного предназначения – от галантерейного до колбасного, в котором почему-то не было народу и висело несколько сортов разнообразной колбасы. Отоварившись пластиковой сумкой в галантерейной лавке, в колбасной Женя попросил свесить ему целый батон любимой сырокопченой, и сильно удивился, когда продавец, сделав свое дело, назвал ему жуткую цену.

– Что так дорого? – удивился Женя, протягивая деньги.

– А ты что, только родился? – неприветливо хмыкнул мордастый мужик. – У нас – кооперация.

И кооперация тут мордастая, подумал Женя, но спорить не стал. В самом деле, что он знал о рынках, о магазинах? Все всегда подносилось ему, Пат бы только ахала, да причитала, увидев его теперь, тут, в таком виде, за таким занятием. Не торгуясь, набирая в сумку помидоров, репы, покупая в еще одной лавчонке лимонад, бутылки которого липко приставали к ладоням, Женя подумал о себе, что похож, пожалуй, на ящерицу, которая сменила кожу, сбросила ее в кустах. Он слинял, как типичный представитель отряда пресмыкающихся, уползает из опасного места, вот так-то!

А так ли? Вполне ли точен он, оценивая сам себя?

Да, прошел процесс линьки – в прямом и переносном смысле слова. Сменил одежду, слинял из лагеря. Но черт побери, это же не просто так! Он и сам изменился! Маменькин сынок, хвост ярко-рыжей лисы Пат – всегда им любуются, всегда его холят, но ведь еще он всегда позади, он всегда следует за лисой – так вот теперь с ним что-то произошло.

Ему стыдно жить, как раньше. Жить на всем готовеньком. Ему стыдно за свое всегдашнее соглашательство и за свой прагматизм – ну и словечко же пришел ему ОБЧ! Удовольствие, считал он в старые свои времена, можно и нужно достигать любым способом, независимо ни от каких трудностей. Захотел – возьми. Пожелал – получи.

И вот, получив, он устыдился. Не мог он больше глядеть в глаза Генки Соколова, или Зинки, или Катьки Боровковой, или Сашки Макарова, врожденного эпилептика, прямодушного человека Джагира.

Он не знал другого способа восстановить равновесие в своей душе. Взял и ушел. Освободил чье-то чужое место. И хотя с точки зрения здравого смысла это полная глупость, хотя бы уже потому, что на освободившееся место не сможет приехать тот, кому оно принадлежало, не все теперь покорялось этому здравому смыслу. Трезвые соображения отступали перед совестью. Перед справедливостью. Перед нежеланием жить, как раньше.

Вот он и жил по-другому.

Сменил шкуру – это правда. Но ему легче дышалось сейчас, в этих серых деревенских штанцах, в этой куртении, коричневой, такой простой и даже, кажется, честной. Оказывается, честными могут быть не только люди, но и их вещи – брюки, куртка, простая, но такая уютная и мягкая рубашка, на которую он раньше, в те свои старые времена даже бы не поглядел, потому как такие шмотки шьются для кого угодно, только не для него. А теперь он был как все. Он походил на мальчишек, которые встречались ему тут, в сонном городке. Одни смотрели задиристо, не признавая в нем своего. Другие – доброжелательно, своего признавая. Третьи, казалось, вовсе не замечали его, и это было, может, самым замечательным, потому что означало, что он обыкновенный пацан, ничем не примечательный и ничем из остальных не выделяющийся: человек как человек.

Он никогда не испытывал такого сладостно-шемящего чувства: быть как все, как остальные. Быть одним из многих. Может быть, даже частью этого сонного городка, его принадлежностью, мальчишкой этого простого, хоть и не всегда приятного народа.

И вот он шевелился. Впервые в жизни покупал помидоры, огурцы, репу, платил за колбасу и ужасался, до чего же она дорогая, елки-палки! Как он проживет на свои деньги, ведь впереди не такая короткая дорога, пересадка в Москве, там еще придется купить билет до дому и есть, пить. Надо же! Как вообще живет народ? Сколько надо зарабатывать, чтобы есть досыта эту дорогущую колбасу, сколько надо получать, чтобы съесть граммов двести зараз, как любил он делать дома?

Эти вопросы Женя задавал себе первый раз в жизни, и ему нравились, казались неожиданно интересными, важными задачки, которые он не мог пока решить всерьез. Многого предстояло узнать. Расспросить отца, Пат. Нет, лучше всего бабуленицу, она сумеет сказать все, как надо, и толком, она же человек из народа!

Он перекусил в столовой, приткнувшейся к рынку. Взял еду на засаленный железный поднос в таких же железных мисках, с удовольствием выхлебал невкусные щи, испытывая волчий аппетит и странную радость, съел котлету и теплый компот из сухофруктов, потом пошел к вокзалу.

Приближалось время поезда.

Сначала начальник лагеря позвонил в областное управление милиции. Там советовали горячку не пороть, попросить дать словесный

портрет Евгения Егоренкова, посоветовали тщательно прочесать территорию лагеря, объяснили, что за аэропорт, железнодорожную станцию и морской порт можно не беспокоиться: останвят любого ребенка от двенадцати до четырнадцати лет, едущего самостоятельно, что, надо заметить, не так уж часто случается. А вот автотранспорт, особенно легковой, проконтролировать нелегко, ведь не будешь останавливать всякую машину, идущую с юга. Но автоинспекция получит соответствующие директивы.

С местной милицией лагерь состоял если не в ближайшем родстве, то, по крайней мере, в крепчайшей дружбе: каждую смену каждую автоколонну, которой перевозились дети на экскурсию, к поездам, самолетам и обратно, отечески сопровождали юркие желтые автомобили с синими мигалками, а высшие офицеры не раз выступали на встречах с ребятами, так что начлагеря говорил уверенно и действовал спокойно, споткнувшись лишь в самом конце разговора: не пора ли, мол, выйти за пределы полномочий старых друзей. Его не поняли.

– Позвонить домой, конечно, надо, – пояснили ему.

– У нас детдомовская смена, в том-то все и дело! – опечалился он.

– Тогда в детский дом позвоните. Поставьте в известность. Надо бы, кстати, узнать, где его родители, если они существуют, может, к ним поехал, тогда бы мы точнее определили направление.

Начлагеря неопределенно помычал. Нет, Павел не завидовал ему. Сотни ребят в лагере, а вот когда случилось ЧП, вся ответственность за Женю переместилась персонально на плечи этого человека.

Всесоюзный розыск мальчика до вечера решено было не объявлять. Пока не улетит последний самолет, не уйдет последний поезд, не отчалил последний теплоход. Из Жениного личного дела изъяли его фотографию и отправили в лабораторию лагеря, чтобы изготовить увеличенный портрет и негатив. На всякий случай.

– Ну давайте еще побредим, – предложил начальник лагеря. – Что мы не учли?

В кабинете собрались замы, помы, несколько вожатых из самых опытных, эти годились в качестве методистов и помогали здесь крепко, особенно новичкам, новому призыву, молоденьким девочкам-вожатым, которые еще сами-то недавно из пионерского возраста вышли, натаскивали их, как кутят, подталкивали, помогали.

На Павла никто зверем не глядел, напротив, его жалели, потому что хорошо понимали: каждый мог оказаться в его положении. Дети, как и взрослые, народ разный, только, пожалуй, еще "разнее", понять их не всегда просто, нынешняя же смена и вовсе ни на что не похожа. Любый пацан, любая девчонка двенадцати-тринадцати-четырнадцати лет могут взять руки в ноги и податься, куда глаза глядят, если, конечно, деньги есть или сообразительность. Никакие замки и заборы не помогут.

– Деньги у него могли быть? – спросил, наморщась, начальник лагеря.

– Были, – вздохнул Павел. И уточнил: – Оказывается, были. Немалые.

Про эти деньги рассказал ему Генка Соколов. Пояснил: "Четыре зелененьких". Две сотни.

Белесые глаза у Генки были выпучены, и эти две сотни казались ему последним аргументом в да-авнем уже его предположении, что Женька Егоренков самый загадочный парень в отряде и что он скоро сбежит.

Павел сослался на рассуждения Генки Соколова, однако самый последний довод его привести не решился, боясь, что обсмеют. Подумав, позвали на совет Генку.

– Только уговор, – сказал начлагеря, – на пацана не давить и отнестись к нему на самом большом серьезе.

Ха, попробовал бы кто отнестись к Генке несерьезно!

Он возник на пороге кабинета с выпученными шариками и не воскликнул, а выдохнул:

– Ну, поймали их?!

– Кого – их? – начальника лагеря даже, кажется, бросило в пот.

– Как кого? Банду!

– Садись-ка, садись!

Генку усадили на председательское место за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Начлагеря пересел на боковой стул. А Генка плел свою версию. Такую версию, что и слушать страшно.

– И-иех! Его же от них спасать надо!

Торопясь, перебивая самого себя, Генка Соколов рассказал, как дружили они с Женей Егоренковым и все было хорошо, как однажды пошли дежурить на спасательную станцию и потом, по предложению Зинки, двинули за забор, на дикий пляж, и вот там-то Женьке дала знать о себе его банда – пять или, может быть, даже семь здоровых парней: они отняли у Зинки лифчик, а потом, когда Женька крикнул им что-то из моря, отдали его обратно.

– Какой лифчик! – ужасался начальник лагеря, а его боевой совет вторил ему:

– Какие бандиты!

– Что крикнул?

Генка попробовал взять себя в руки, говорить толково, не путаясь.

– Откуда у него такие деньги? Четыре зеленых! И все н-но-венькие!

Ответом было молчание. Действительно, откуда? Кто знал?

– Это ему его банда дала. Вообще Женька – человек из банды.

– И кем же он мог быть в этой банде? – осторожно спросил Павел.

– Н-ну, – Генка пожал плечами, – наводчиком, например. Как я.

– Как ты?

Генка ухмыльнулся.

– Целых три года в кабале был. Еле вырвался. Меня даже в другой детский дом перевели. В другой город.

– Расскажи поподробней, – дружелюбно попросила вожатая Агаша.

Она тут работала не то пятый, не то шестой год.

– Ничего интересного нет, – махнул рукой Генка, – противно только.

– Он помолчал, вздохнул по-взрослому. – Да вы не думайте, что я такой гад, они стращали, что сеструху испортят. У меня еще сеструха маленькая есть. Вот я и боялся.

Павел вздрогнул, взрослые как-то притихли, осели. Перед ними

сидел мальчишка, ребенок в пионерском галстуке, а они привыкли относиться к людям такого возраста в соответствии с ним. Но этот небольшой человек, этот, можно подумать, ребенок говорил с ними совсем не о детских вещах. Однако по-детски откровенно. И поэтому получалось – жестоко.

– Ну, в общем, им нужен был такой, как я, пескарь называется. Если вы рыбачили когда-нибудь, наверное, знаете, что на крючок сажают пескаря. А на живца идет большая рыба. Хороший пескарь – половина дела. Ну вот. Они откуда-то узнали, что у меня есть Марусяка. Ей тогда семь лет было. Сначала они меня по-хоршему пескарем звали. Я отказывался. Тогда они вежливо так зовут меня на пустырь. Думал, бить будут. А они мне Марусяку показывают, поймали ее, держат, она ревет, И подоил ей задирают. Смотри, говорят. А она без трусов. "Если, – говорят, – соглашаешься, мы все до единого ее охранять будем, а если нет, то сам понимаешь". Я говорю: "Вас ведь посадят!" Они говорят: "Мы несовершеннолетние. Да еще на тебя самого покажем". Я согласился.

Генка передернул плечами, его и сейчас еще знобило. Начальник лагеря подошел к шкафу, достал свой пиджак, накинул мальчишке на плечи.

Павел подумал со стыдом, что они, взрослые, когда были тут наедине, вели себя возбужденно, чрезмерно возбужденно, наперебой выдумывали всевозможные варианты, среди которых было немало несерьезных, глуповатых для их возраста, строили предположения навряд ли тех, что они с Аней однажды вечером позволили себе, рассуждая о характерах и привычках ребят. И вот пришел мальчишка, и вдруг оказалось, что он взрослее взрослых. Что он говорит о серьезной, жестокой и даже жутковатой жизни, которая им, считающим себя опытными и бывалыми, известна лишь только из книжек, да еще и далеко не всяких. Может, даже неизвестна вообще.

Они притихли, опытные вожатые, мастера воспитания. Неизвестно как остальным, а Павлу стало совестно. От них требуется не экзальтация, не перебивание друг друга в невероятных догадках, а серьезная суровость, даже жестокость в оценке положения и принятие таких решений, которые бы не разжигали чувства, не давали возможности ощущать себя страстными педагогами, а приносили практическую пользу.

Вошел мальчишка и словно бы сказал им, умелым: "Хватит соплей, пусть даже очень ответственных! Делайте, что-нибудь делайте!"

В кабинете было тихо, как не бывало тут никогда, если не считать полного отсутствия в нем людей. И эта тишина дорогого стоила.

"Почаще бы нам такой тишины", – подумал Павел.

– Прости нас, Гена, – сказал начальник лагеря, – что мы, – он с трудом подобрал слово, – растревожили тебя.

– Ничего, – проговорил Генка. Он грелся в широком пиджаке начальника, глаза его бойко поблескивали. Он продолжил рассказ, чувствуя, что произвел впечатление и его слушают доброжелательно и

горько. — Возле завода в день полочки работает, скажем, пивнушка. Сперва, конечно, банда смотрит, нет ли милиции, потом я лезу в карман к какому-нибудь дядьке. Просто так лезу! На шармачка! Мне от него ничего не надо! Лезу, чтобы он почувствовал, увидел. Он начинает ма-тюгаться, бежать за мной. Я за угол, за другой, за дровяники, но только так, чтобы он сильно не отставал. А за сарайками его мои паханы ждут. Всем шалманом навалятся, и зарплаты — тью-тью, нету! Или наводил я на какую квартиру, где дверь послабее. Ходишь по домам, спрашиваешь, к примеру, какого-нибудь Хомутова, звонишь в разные двери. Особенно хорошо на последнем этаже и чтобы лифт был. Или если прямо с лестницы выход на крышу.

— Не попадался? — спросила Агаша.

— Еще как! Били, будто последнюю собаку. Сапогами. У меня ведь одна почка отрезана. Ну да ничего! Еще одна есть!

Павел снова сжал кулаки. Что-то знакомое садануло его, давнее воспоминание, тот мальчишка. В грязном халате и с опасной, совсем взрослой штуковиной, плюющей свинцом. И он, Павел, стоит перед ним — вооруженный и беззащитный.

Что-то щелкнуло, соединилось, замкнулось в нем. Не смог бы он бить сапогами пусть виноватого, а мальчишку. Как не смог — тогда! — убить.

Сколько, сколько, сколько раз возвращал он свою память к тому мгновению, и никогда никому не смог рассказать о том, что было с ним. Друзей его убили в том бою, и убитые бы не поняли, сочли такое поведение трусостью, если не предательством, он трепетал, представляя, какие они могли бы выбрать для него слова, но стыдился, сгорая от этих несказанных слов, он не раз и не два, мысленно прокручивая происшедшее, твердо признавался себе, а, значит, и всем прочим, что, повторись все снова, он опять не стал бы стрелять в ребенка. Даже ценой собственной жизни.

Даже такой ценой.

— Командир, — сказал он резко, забывшись, и тут же поправился, назвав начлагеря по имени-отчеству. — Давайте отпустим Гену.

— Нет! — воскликнул Генка умоляюще. — Я хочу посидеть с вами! Узнать про Женьку!

— Мы еще не скоро узнаем, — начал было Павел, но начлагеря кивнул большой головой:

— Посиди.

Он подошел к телефону, позвонил в милицию. Новости отсутствовали.

— Откуда же были эти бандиты? — спросил он Генку, опустив трубку.

— Женькины?

— Нет, твой.

— Из нашего детдома. Его потом рас... расформировали. Как мне почку отрезали, так сразу банду — в колонию, а взрослых — кого куда. Ну и нас.

— И ты решил, — негромко сказал Павел, — что Женю тоже разыскивает банда?

– Откуда же у него такие деньги?

Генка снова задал вопрос, на который не было ответа.

– А я припоминаю, – сказал вдруг один из замов, – мне наша кастелянша, тетя Варя, говорила ведь, что видила у мальчонки большие деньги, когда они мойку проходили. Ну, подумал, какие большие? Четвертной, от силы – полусотенная. Да и забыл.

Все вздохнули. Что корить сейчас себя?

Каждый, кто сидел в этой комнате, мог твердо признаться в том, что забыл, когда нельзя было забывать, не сказал, когда требовалось сказать, не подумал, хотя не мог, не имел права не подумать, ежели имеешь дело с такими детьми.

* * *

Женя сел в поезд без особых осложнений.

Проводница посмотрела билет на солнце, разглядела цифры, пробитые дырочками, поезд тут же тронулся, и тетка провела Женю на свободное место. Была она толстой, рыхлой, едва не задевала рукавами за стенки вагонного коридора, и Женя подумал про себя: сколько же толстых людей развелось! Отчего это?

В купе уже было трое пассажиров и двое из них опять толстухи! Жене они казались старухами, но те протянули, знакомясь, одинаково вялые ладони и назвались так, точно они молоденькие девушки:

– Зоя.

– Фая.

Он смутился, ему стало неловко за теток, которые даже с ним, мальчишкой, хотя бы вроде как ровней, и его будто услышал третий пассажир, сухонький белоснежный старичок, словно гном из сказки, Степан Ильич.

Едва толстухи представились Жене, а он назвал свое имя, одуванчик сказал:

– Я, извиняюсь, по профессии ветеринар, а потому привык изъясняться просто.

Толстухи захихикали.

– Вот я и спрашиваю вас, Зоя и Фая, хотя дам об этом не спрашивают вроде. Но я же врач!

Они опять дружно и одинаково захихикали.

– По сколько же вам годков-то будет?

– Вы, дедушка, старенькие, а хитренькие, – ответила одна из них, кажется, Фая. – Вон как умело подъезжаете!

– Хе! – засмеялся старик. – Да я свое отъездил!

– А возраст наш, – сказала Зоя, – очень даже секретный. Где-то между тридцатью и тридцатью одним.

Они опять захихикали. Были они одеты во все фирмовое, легкие курточки свободного кроя, которые, впрочем, на них сидели внатяжку, джинсы, подчеркивающие необъятные размеры окорочных частей, но что-то все же их выдавало. Может, вульгарно яркая помада, которой они красили губы? Или слишком уж эффектный цвет волос? Фая была во-

пиюще рыжей – хна, а Зоя – пушистой, до ледяных цветов, блондинкой – перекись водорода.

– Отчего же тогда, – спросил их въедливый ветеринар. – не Зоя Петровна, не Фаина Ивановна?

– Ой, и не говорите, – сказала рыжая, – работа у нас такая, привыкли, самим противно.

– Кто же вы такие?

– Да мы, это, – сказала прозрачная блондинка, – инженеры по технике безопасности. На почтовом ящике.

– Ну ладно уж, Зой! – махнула рукой Фая. – Домой едем, чо там! Поварихи мы! В детском комбинате! Взрослые все Фасей да Зоей кличут, а малым ребятишкам отчество не надо: все тетенька да тетенька!

– Ясно, – крикнул старик.

Теперь дошла очередь до Жени.

Он поставил свой пакет на вторую полку, сам же угнездился в углу и притих, думая о том, что самое трудное в этой поездке будут разговоры с попутчиками. Народ все, похоже, общительный, болтливый, придется отвечать, как бы не брякнуть лишнего.

– Ну, а ты, мальчик, куда едешь? – принялся за него старик.

– В Москву, – ответил Женя.

– Случилось чего? – не отставал дотошливый одуванчик. – Один почему-то? Никто не провожает?

– Мать в больнице лежит, – брякнул неожиданно для себя Женя. – Ну и отец там. Вызвали.

Крашенные феклы дружно вздохнули.

– Видать, всерьез! – постановил ветеринар.

Жене стало не по себе, непривычно сжалось сердце, он кивнул, коря себя за всю эту глупую болтовню, за это бесконечное вранье, которое, оказывается, совсем не безобидно, раз ему стало неловко.

Но что может случиться с ма – лучезарной, неунывающей, вечной победительницей жизни? Весь мир лежит у ее ног, она все может, даже то, чего не в состоянии очень большой человек! Всеобщая любимица, популярная в городе личность, жена всемогущего директора главного комбината?

Да и вообще! Женя встряхнулся, попробовал улыбнуться, но, похоже, у него это не очень-то вышло, потому что старик сказал:

– Полезай-ка на второй этаж, да вздремни, паренек! В Москве-то еще намаешься!

Это оказался недурной выход. Женя лежал наверху, подложив под голову руки, прислушивался к разговору внизу: неплохо послушать, что говорят другие, как они думают – порой забавно, иногда чудно, во всяком случае совсем непохоже на тебя, – а самому при этом молчать, оставляя за собой лишь право соглашаться или не соглашаться с говорящими.

Разговор внизу тек шутливо, с усмешками, похихикивали по очереди и старик, и тетки, а Жене казалось, что его разыгрывают, что все, о чем они говорят, вовсе не смешно и давно бы, кажется, надо перестать похихикивать, но у людей откуда-то неистощимые запасы юмора, и они

уже не могут не смеяться, их заклинило. Однажды в книжных шкафах отца, еще маленьким, он разыскал альбом какого-то странного художника и с тех пор разглядывал его чуть не каждый день класса так до второго примерно. На картинах было много всякого нарисовано, но то, что у других художников – море и все, лицо человека – и только, фрукты лежат на блюде – вот и любуйся. А у этого всякие чудовища вылушляются из огромных яиц, летают драконы с человеческими головами, ходят по земле птицы с перепончатыми лапами и пожирают людей, а эти люди вместо того, чтобы плакать, – смеются. Таких чудовищ, объясняла ему Пат, нет на земле, их придумал художник для того, чтобы посмеяться над человеческими безобразиями и даже над некоторыми чувствами, например, страхом перед муками ада. Про ад и рай он уже знал, Пат всегда смеялась над этими выдумками и всегда поощряла интерес Жени к альбому художника, сложное имя которого он знал, еще не выучившись азбуке: Иероним Босх.

Бабуленция фыркала на эту книгу, крестилась в ее сторону, отнимала ее у Жени, называя гадостью этих страшных тварей на цветных картинках, па тоже не очень одобрял этой Жениной привязанности, говоря, что ребенку могут присниться дурные сны, и только Пат, смеясь, объясняла: книжку отнимать глупо, она вырабатывает иммунитет к библейским рассказам, освобождает от страха и глупых мыслей о муках загробного царства.

– Она учит смеяться! – говорила Пат и сама смеялась грудным, успокаивающим смехом. Бабуленция умолкала, па отступался, а Женя со странным любопытством снова и снова разглядывал ужасные сцены, но что-то ему не было смешно.

Как и теперь.

– Так что же, девчата, – говорил внизу белый одуванчик, – выходит, хи-хи, вы на юге-то себя за инженерш выдаете?

– Тю, дедушка! – отвечала Фая. – А какой же уважающий себя мужчина пригласит в ресторан повариху? Приходится уж подвирать!

– И не горите? А то вдруг на инженеров нарветесь!

– Мы секретностью закрываемся. Мол, тайна, да и все.

– Да им все равно, – сказала Зоя. – Не больно-то допытываются. Лишь бы полалаться. И все такое. Мужик, дедушка, нынче одинаковый пошел! Как, например, рыбка сайра.

– А вы-то, селедушки, больно ли разные? – спросил старик.

– Да тоже не больно-то! – самокритично согласилась Фая. – Много ли человеку надо, вот ответьте! Мы вон с Зоей, чего греха таить, зарплатёшку свою на жратву не тратим, всегда при еде. Одежонку не хуже других нажили. Телики, "грюндик" тоже приобрели. Мужиков заводить – и накладе будешь, обе пробовали. Муж ведь ныне не только зарплату до дому не доносит, а еще и за стол без бутылки не садится: это сколько ж можно, надорвёсся вся!

– Мужика ведь можно, – пояснила, хихикая, Зоя. – напрокат взять. Вроде велосипеда. Любой марки, вплоть до профессора, веришь ли, дедушка? Покаталась, сдай обратно, да надолго-то они на что?

– Выходит, – усмехнулся старик. – вы теперь вроде едете с выпасу.

– Ну можно и так, – опять согласилась Фая, – а можно по-другому. Две, допустим, эмансипированные современные женщины едут с заслуженного трудового отдыха.

Все трое похихикали.

– Ну, а почему в детском-то саду кашеварите? Не в ресторане, скажем? Квалификация не та? – дознавался дед.

– Не обижай, старичок, – сказала Фая, похоже, она заглавной все же была в этом дуэте, – мы повара высшего разряда и рестораны проутожили, как собственное белье. Но ведь там шум-гам, всякие проверки. Кому охота срок разматывать?

– Да нам и хватает, мы не жадные, – пояснила Зоя.

– Ну! – подтвердила рыжая. – Тут же ребятишки. Не спорят, не орут. Да и много ли им надо? Ну и мы не акулы какие хищные. Совесть все же имеем!

– В меру, значит? – уточнил дед.

– Без меры у нас воспитательницы! – сказала Зоя.

– Не все, конечно, но с пяток наберется, – хихикнула Фая. – Поверишь ли, дедуля, чо делают? Ни в век не догадаешься! Устраивают в группе сквозники. Глядишь, наутро другой-третий с температурой, дома сидят. А эти твари нам врут, что комплект полный, давай, мол, им еду на всех. Вот и воюй!

– Неужто такие крохоборки? – усмехнулся одуванчик.

– Не только! – объяснила, фыркнув, Зоя. – Группа сокращается, работы меньше.

– А я-то, старый, думал, в сады эти идут, кто малышей любит!

– Да что ты, дедуля, – умилилась Фая. – Кто их теперь любит? Я бы своего Петьку вот этими руками задушила!

– И свой есть? – крикнул дед.

– А куда же без их-то? Десять лет, такой оболтус, еле в следующий класс переволокла, хорошо, учительница жалостливая, да ведь их тоже за двойки-то жучат! Куда они денутся! Бабкам вот на месяц подкинули с Зоей. Пожить-то ведь и самим охота. Что же теперь, детишкам дологим и жизнь посвящать прикажете?

– Прошла эта мода! – хохотнула Зоя. – Сами выпростаются. Если захотят.

– В общем, – засмеялся дед, – как щенков – в омут. Кто выплывает – тот жилец!

– Эх, дедушка, – не согласилась Фаина, – какие-то ветеринарные у вас сравнения!

Неожиданно Женя подумал, что эта Фая и его Пат одинаково рыжие. Вся разница только в оттенке. У этой волосы – как медная проволока, а оттого и вся она кажется вульгарной, а у ма рыжина какого-то благородного, притушенного цвета.

“Что за дикое сравнение?” – одернул он себя, но – нет, никуда не девалась, не исчезала эту дурацкая мысль.

Женя поднялся, спрыгнул с полки, выскочил из купе.

– Что это с ним? – спросила рыжая вслед, но он захлопнул дверь, ушел юнец в конец коридора.

Минут через пять вышел ветеринар. Достал мундштук, вставил в него сигаретку, подошел к Жене.

– Ну что, малец, – спросил он, прокашлявшись, – тошно тебе слушать бабью брехню?

Женя пожал плечами.

– Да нет, – ответил. Помолчав, прибавил: – Они хоть не врут. Честные.

Дед хмыкнул, подвигал бровями, чиркнул спичкой, затаился. Времени подумать достаточно. Сказал:

– Я уж и сам так подумал. Да только больно дрянная эта их честность. – Помотал головой. – До чего женщины дошли! Пусть не все! Пусть их мало! А все равно – много!

Они молчали. Мимо пронеслись белые камни, неровная, ненарядная земля, не прикрытая зеленью и цветами, совсем как не прибранная красивыми словами настоящая правда.

Стало смеркаться.

Женя перевел взгляд на стену вагонного коридора и заметил расписание поезда. Поздно вечером они прибудут на станцию, где простоят целых полчаса. Неожиданно он подумал, что может совершенно спокойно освободиться от самой серьезной погони. Надо только дать ясную и выразительную телеграмму, вот и все. В лагерь и домой.

Он повеселел, приняв мудрое решение.

* * *

С вокзала ушел последний поезд, от пирса отчалил последний паром, и хотя еще три рейса должны были подняться в воздух с аэродрома, в списках пассажиров фамилия Жени не значилась.

Да он и не мог улететь самолетом – слишком большой риск.

– Ну, что будем делать? – спросил начальник лагеря. – Объявляем всесоюзный розыск?

Школа-интернат, где по бумагам числился Женя, разговаривала голосом завуч Шевелевой довольно строптиво, с вызовом, а когда начлагеря сказал, что вынужден будет звонить в тамошний горком партии, ответила:

– Вот-вот, позвоните туда. Там вам подробней ответят, кто такой Евгений Егоренков и чей он сын.

– Сын? – почти взвыл начальник. – Но здесь же черным по белому указано, что родителей у него нет. И что он ваш ученик.

– Я ничего не знаю, – сказала завуч Шевелева деревянным голосом, довольно громко, на весь кабинет: слышимость была отменная, – я ничего не знаю, кроме одного: у нас такого ученика нет и никогда не было.

Они молчали с полчаса. Это был коллективный шок. Первой очнулась ветеранка Агаша:

– Банда тут ни при чем.

И хотя всем сразу стало не по себе, все-таки решили ждать сообщения местной милиции.

Лагерь спал, спал Генка Соколов вместе с остальной оравой в несколько сотен детей, ничем не отличимых от остального детского мира и все же так не похожих на обыкновенных детей, спала завуч Швелева, – может быть, даже очень крепко спала, честно выполнив свой долг, как следует отчитав этого нахального начальника лагеря, который, видите ли, окопался на теплом берегу моря да еще и разыскал ее домашний телефон как-то, через милицию, надо же, нахал, дай ей бог ответить за своих учеников, а тут еще эта известная фамилия и явно грязная подтасовка, нет уж, увольте, нет ничего важнее чистоплотности на белом свете, главной заповеди учителя, спал даже беглец Егоренков, освободивший телеграммами свою душу, отправились спать замы и помы начальника лагеря, отправился восвояси вожатский совет – опытные и бывалые, не спали и не готовились ко сну только, пожалуй, двое – начальник лагеря и Павел.

– Ну, что будем делать? – повторил начальник. – Сейчас позвонит милиция, скажет, пора объявлять розыск, а мы с тобой что ответим им? Затрезвонил телефон. Павел вскинулся.

– Срочная телеграмма, – сказал начлагеря, хотя лучше бы он помолчал: и так все слышно. – Твое имя. Метелину Павлу Ильичу. Так. Семейным обстоятельствам вынужден выехать домой прошу не беспокоиться сразу прибытии извещу телеграммой. Евгений Егоренков. Место отправление какое, девушка? – заорал он в трубку. – Ага. Понятно. Время? Час назад. Спасибо. Утром доставьте нам, договорились?

Они помолчали. Знаменитая голубая лампа освещала кабинет приятным светом. Говорят, голубое успокаивает. Беседы у начлагеря под такой лампой должны были успокаивать, умиротворять. На этот раз не получилось.

– Что ж, – улыбнулся начлагеря, – парень оказался разумным. Я предлагаю – давай-ка, дунь завтра самолетом в город, откуда он прибыл. Разберись, что к чему. Если подставка, вместо сироты прислали чьего-нибудь сына, вкатим по первое число. Через партийные органы, вплоть до ЦК, черт побери! Как?

Павел вяло кивнул.

Ехать так ехать, хотя теперь концы почти сходились. Истину можно обнаружить с помощью телефонных звонков. Командировка, что ни говори, не из приятных. Вроде как хватать жуликов за рукав. Да и Женя! Неплохой ведь парень, Павел даже успел к нему привязаться, казалось – вот немногословный, мужественный мальчишка суровой судьбы, а он... Впрочем, что – он? Какими знаниями располагает Павел о Жене Егоренкове? Пока только предположения. Что он знал, например, о Генке Соколове? И что Генка тут выложил!

Начальник лагеря позвонил дежурному по Управлению милиции, рассказал о телеграмме, тот согласился, что выехать на место неплохо и что, хотя беспокойство за мальчика не снимается, рискнуть можно – с поезда его не снимать, хотя ясно, что это пассажирский, дополнительный, и положиться на его благоразумие.

При этом ответственный дежурный подчеркнул, что официально он лишь консультирует, а не советует, что вся полнота ответственности

лежит на начальнике лагеря, и если тот примет решение, мальчишку тут же снимут с поезда и доставят по назначению, но вот вопрос – куда? Домой? В лагерь?

– Хорошо, – вздохнул начлагеря, и взгляд его потускнел, – пусть едет.

– Сделаем тогда так, – предложил Павел, – я лечу не напрямую, а в Москву. Номер поезда известен. Вагон как-нибудь уж найду. Дам вам телеграмму. А сам с Женей полечу к нему домой.

Начлагеря заулыбался, нет, что ни говори, а тяжела ты, шапка Мономаха! Тут же сам нашлепал на машинке командировочное удостоверение, оттюкал справку, чтобы продали билет на самолет для Жени, позвонил в аэропорт, забронировал два места из Москвы до сибирского города, где жил Женя, на тот день, когда приходит пассажирский поезд, все у него получалось, все его знали, все уже слышали про маленького беглеца.

– Можно, конечно, теперь и вагон установить, – усмехнулся он. – Да боюсь, спугнут.

– Не надо, – попросил Павел.

Рано утром лагерным службам надлежало – начлагеря дал команду дежурным – вызвать кассира, чтобы снабдить Павла деньгами и выделить легковую машину, чтобы доставить его к самолету.

Все было сделано. Все утрясено. Ничего не забыто.

– Ну, посидим еще пять минут! – предложил хозяин кабинета.

Что ж, подумал Павел, все правильно, теперь можно и продрать меня. С песочком.

– Все хочу тебя спросить, да некогда, торопимся. бегим, некогда потолковать, – сказал он негромко. – Так вот, хочу узнать, Павел, чего ты к нам-то пошел? Знаю, ты не из тех, кого привлекают море и фрукты, да у нас и захочешь, так о них забудешь, не та жизнь, но все-таки? Это же не навсегда. Особенно для мужчины.

Павел усмехнулся, посмотрел в глаза своему начальнику. Приходил ведь он сюда, и не раз, приходил на беседу под голубой лампой, вот и с Аней тогда приходил, а разговоров все так и не выходило, больше по верхам, по делам, по фактам. Что же сейчас-то? Или приспичило? Испугался? А, может, думает, после этой истории как бы не сбежал Павел Ильич Метелин из этой благодати, из лазурного лагеря, где нет ни секунды покоя и возможности вспомнить себя.

Или это просто тот миг, те минуты, когда всякий человек, уставший от гонки, в разговоре с другим старается объяснить себя прежде всего, свои поступки, сравнить их с поступками другого и как бы самого себя утешить: оказывается, и этот другой живет ничуть не лучше тебя, тоже неправильно и тоже ничего не успевает – забыл себя, вертится, как белка. Да так, пожалуй, и есть. Человек соглашается с откровенностью другого потому, что это как бы отраженная, зеркальная форма его собственной откровенности. Только говоришь не ты, а твой собеседник. Исповедуешься его словами.

Павел сказал, помолчал:

– А я и сам не знаю. Сперва мне надо было забыться. Требовалась... анестезия. И такая работа очень помогает забыться.

Он подумал и сказал неожиданное для самого себя.

– А сегодня, – сказал он, – мне показалось, что я начинаю просыпаться. Начинаю снова все ощущать. Видеть жизнь. Что-то в ней понимать.

Павел усмехнулся, разглядывая остановившееся, замершее лицо начальника лагеря, спросил:

– Я, кажется, неясно...

– В том-то и дело, – качнул тот большой головой, – что ясно... Предельно ясно.

Он встряхнулся, отогнал какие-то свои неприветливые мысли, сказал, улыбаясь, Павлу, взглядывая в него доброжелательно, с пониманием:

– Ты счастливый человек, Паша. Ты можешь прожить жизнь со смыслом.

Они попросались. Павел пошел к вожатскому дому по аллее, круто сбегающей вниз. Слепяще-белые лампы шарообразно выхватывали из тьмы листву, окружавшую их, и казалось, что над аллеей в ночной черноте повисли зеленые шары, наполненные трепыханием крыльев поужному громадных мотыльков. Пели, заливались цикады, их стрекот сливался в протяжный, непрерываемый звон, в одну-единственную ноту, постоянный, неизменяющийся звук, точно это тонкая проволока, которой пронизана во всех направлениях черная прибрежная тьма. Ночь походила на неосязаемую массу, которая держалась множеством тончайших проволочек, протянутых от дерева к дереву, от угла к углу этой долины, прижавшейся к горам.

Неожиданно Павел повернул к зданию дружины. Дежурные сегодня не спали, после происшествий вроде сегодняшнего нельзя не быть настороже, Павлу открыли дверь, доложили, что дружина отдыхает, на посту полный порядок. Дежурили Катя Боровкова и Джагир. Они ничего не спросили больше Павла, но глядели на него напряженно. Он взял себя в руки, сделал бодрое лицо, подмигнул, ответил на незаданный вопрос:

– Егоренков прислал телеграмму. Все в порядке.

Катя и Джагир заулыбались, Боровкова стала даже подпрыгивать, широко разевавая рот: "Ура! Ура!" Нет, до "ура!" было еще далеко, они и сами это понимали, тут же снова притихли, деликатно отошли к столу с телефоном. Павел осторожно отворил дверь мальчишечьей спальни.

В кроссовках его шаги были неслышны, он пересек комнату, присел на подоконник.

Павел любил смотреть, как по-разному спят мальчишки, хотя бы раз в смену заходил сюда увидеть это такое странное и в то же время простое зрелище. Даже детский сон, казалось ему, может многое, очень много объяснить взрослому, каким-то неведомым образом связан он с характером и даже способен уточнить, как прошел мальчишечий день. Один вертится, он еще в борьбе, в беге, в споре, другой уткнулся лицом в подушку, прячется от кого-то или от чего-то, будто страусенок.

Вон Генка Соколов лежит навзничь, раскинул в стороны обе руки, будто сражен в тяжелом бою. И правда, разве не сражен? Внешне это в глаза не бросается, его откровенность можно принять по ошибке как раз за душевное здоровье, но сколько же сил надо положить на то, чтобы он выскоблил в себе черноту еще такого невеликого, но горького про-



шлого! Сколько еще снов ему предстоит, где он не победитель, а побежденный, где он вспоминает унижения, страх, боль. А главное – есть ли гарантия взрослой участливости и любви, которая способна помочь ему освободиться от прошлого?

Коля Пирогов свернулся калачиком между подушкой и спинкой кровати, одеяло сползло, ему холодно во сне, может быть, снится, как какой-нибудь взрослый взял его за шкуру и трясет, приговаривает: "Сукин ты сын! Что натворил, сукин сын!" – и он только сжимается, согласный, не возражающий против этой позорной клички, которую другие понимают лишь как обычное ругательство, а он – совсем по-другому.

Леня Сиваков из Смоленска лежит на боку в позе бегуна – руки прижаты к груди, одна нога откинута назад, другая согнута в колене, голову наклонил: финиширует. Куда только он прибежал? К матери своей? Так она у него в тюрьме. Чуть не каждый день Леня пишет ей письма, а ответы, не больше, кажется, двух, получит уже в детдоме. Он объяснил Павлу: туда можно писать хоть десять писем в день, а оттуда – только два за целый месяц. Вот он и пишет, пишет, хотя тогда кричал: "Мне одна дорожка!" Единственную только подробность и знает Павел про Леню Сивакова из Смоленска – об этих письмах. Пытался он прорваться в Леню дальше – не пускает. Может, и о Соколове ничего толком бы не узнал, не случись побега Егоренкова.

Что они знают, вожатые, про них? Что вообще знают взрослые люди о малом народе? Некоторые кичатся, кричат, что детских таинств не существует. Что хороший, умелый педагог знает душу ребенка, как свои пять пальцев, и душа эта похожа на носок: ее можно вывернуть, можно постирать или выхлопать, можно заштопать, если дырка.

Как просто! Душа – носок! Правда, теперь такое откровение – редкость. Больше говорят о сложности, но поступают так, будто душа – носок. Слово стало неподлинным, оно трещит, как сухой хворост, и прогорает в одно мгновение, никого не согревая теплом. Да и хранит ли оно в себе возможное тепло?

"А что я? – подумал о себе Павел. – Кто я этим детям? Зачем я здесь? Ведь быть с ними целую жизнь – невозможно. Да я и не собирался в учителя, в педагоги, ничего такого не думал, мало ли какие отрезки бывают в судьбе человека? Служил солдатом, потом оказался вожатым, затем можно стать инженером, конструктором, например, разве плохо конструировать что-нибудь вполне увлекательное, допустим, новую машину?"

"Да уж, – ответил он сам себе, – новую душу не сконструируешь, тут другое требуется, это труднее и, главное, неблагодарнее".

Он оборвал себя. Хватит рассусоливать неизвестно что!

Подошел к Лёне, укрыл его простыней, озябшему Коле подоткнул одеяло, Генке поправил руки, осторожно положил их на кровать.

У двери обернулся.

Мать честная, эта ребятня спит совсем по-другому, чем дети из обычных смен, отличники, отборное, образцовое поколение. У тех руки под щекой, лежат обыкновенно на правом боку, по всем правилам, и во

сне улыбаются. Один-другой разве что разбросается во сне, это, как правило, самые яркие, внутренние бунтари, их Павел примечал и в бодрствовании, обычно неумном, нестандартном, непослушном. Таких он любил больше, чем типовых каких-то, всегда послушных отличников, которые быстро пугались, усердно стремились к повиновению и отсутствию хоть малого замечания. Образцово-стандартные любили приблизиться к вожатому, исполнить любое его желание и даже произнесенную просьбу. Придираться к ним было невозможно, да Павел никогда и не стремился к этому, как не позволял он себе подчеркнутого дружелюбия к тем, кто ему нравился своей неординарностью и разбросанностью. Тайной любовью он любил тех, кто спал не по правилам.

В этой же смене, так получалось по логике, он должен был любить всех, хотя их неправильные позы во сне имели совсем другое происхождение.

Он стоял и у двери оглядывал спальню, своих мальчишек и пытался внушить самому себе: никакого отношения к любви все это не имеет. И хватит об этом. Он здесь с единственной целью – забыться. И пере-вести дыхание.

* * *

Женя все мотал головой, все восхищался Пимом, поглядывал на него со смешанным чувством удивления и – как ни странно – жалости.

Его поезд уже был почти у цели, следующая станция – конечная, Москва, а перед этим поезд сделал последнюю остановку, каких-то десять минут, и когда в окне замелькали столичные пригороды, вдруг совсем неожиданно распахивается дверь купе и является его величество Павел Ильич, с ума сойти!

Женя не испытал ни стыда, ни страха – один только дикий восторг! Кинулся Пиму на шею прямо со второй полки.

– Эк тебя встречают, – заверещала Фая.

– Брат, что ли? – допытывалась Зоя.

– Брат, брат, – петушился Женя, – разве не видите, как похож?

И все-таки Пим не был похож на себя прежнего. Пиджак, цивильные брюки, рубашенция с несурзным, так не шедшим ему галстуком, увы, уже не пионерским, а штатским, с какими-то аляповатыми цветочками, делали его неуклюжим и провинциальным. Это Женя сразу уловил, почувствовал. Павел Ильич и потом вел себя как закоренелый провинциал: уступал всем дорогу, становился в очереди, повел Женю в столовку, и тот едва уговорил его зайти в ресторан, потом хотел в аэропорт ехать автобусом, и Жене пришлось чуть не силой затолкать его в такси. А как он расплачивался – смотреть тошно. Впрочем, Женя и не смотрел. Он опять стал самим собой, домашним, и заплатил в ресторане и таксисту сам, поднимался, не ожидая сдачи, и в душе жалел Пима, который вел себя как настоящий валенок.

Время от времени Женя ловил себя на мысли, что он поступает непоследовательно. Полтора дня назад его радовала собственная обыкновенность, ему нравилось быть своим среди мальчишек малень-

кого сонного городка, он укорял себя своей прошлой беззаботной жизнью, но теперь, встретившись с вожатым и обличив его затрапезность, он снова стал самим собой, и хотя Жене по-прежнему нравились его непритязательная рубашка, куртка и штаны, честно говоря, он предпочел бы оказаться в привычной джинсе, вообще во всем привычном, что окружало его с малых лет, и жить так, как жил прежде – не оглядываясь, легко, не вникая в подробности окружающей жизни, не запинаясь о мелочи чужих судеб, не вступая в споры, которые, как не раз доказывала ему его прошлая жизнь, легче обойти, обогнуть стороной. не тревожа ни сердца, ни чувств, не тратя себя и своих нервных клеток, которые, как он знал с детства, не восстанавливаются или восстанавливаются с большим трудом при помощи избранных сортов вина типа "Каберне", доступного лишь космонавтам и некоторым директорам крупных комбинатов.

Одним словом, посмеиваясь, вернувшись в себя, он увлекал за собой Пима, который, несмотря на провинциальность, все же не уставал поражать своей хваткой и точной, какой-то умелой расчетливостью, объяснял причины и следствия очень спокойно, даже небрежно, что так не соответствовало его внешнему облику.

– Как вы смогли вычислить меня? Неужели по телеграмме?

– Да, спасибо, ты помог нам.

– Но зачем вы меня догоняли? Я же успокоил вас! Подтвердил, что вы ни при чем.

– Ну, до Москвы ты доехал, а дальше? Тоже поездом? Почти трое суток. Для нас такая неопределенность неудобна, – даже чуточку отвернувшись, иронично отвечал вожатый, – а вдвоем мы полетим самолетом. И поскорее закончим эту историю. – Он, чуточку помолчав, прибавил: – Ведь меня ждут.

Он посмотрел сверху и сбоку на Женю, несколько вызывающе посмотрел, как бы укорил: подумай, сколько с одним тобой возни, когда целый отряд остался без вожатого. И каких ребят!

Женя отвернулся, даже отдернулся: его обдал чем-то горячим этот укор, даже самый мягкий. Он прижался лбом к иллюминатору, посмотрел вниз – там простиралась белая, освещенная со спины уходящим солнцем облачная пустыня, над которой с бешеной скоростью девятьсот километров в час еле полз их самолет. Вот что совершенно равнодушно к нему, к Пиму, к их самолету и всему человечеству – так это пространство, эта пустыня, по которой невозможно ходить, подумал Женя. И эти его перескоки – то радости, то обиды, то укору совести, то желание плыть, как прежде, по течению жизни, приготовленной для него – что значат эти страсти в сравнении с безбрежностью молчания и пустоты, несущихся внизу, а уж тем более сверху, над ними, где нет ни края, ни конца, и лишь только усилием оснащенного знанием ума можно предположить бесконечность молчаливого покоя, столь снисходительно терпеливого к самому существованию человечества – не очень большой массе шевелящихся частиц в пространстве мироздания.

Жене стало страшно на миг, он откинулся в кресло, закрыл глаза, попробовал вернуть сознание из мира пространств в мир людей. При-

открыв щелочки век, посмотрел на Метелина и отчетливо представил, как они в аэропорту подходят к окошечку, куда их послал дежурный, велел идти без очереди, потому что скоро уже разбронировать билеты, предназначенные для них. Пим смущенно пробирается мимо людей, и тогда какой-то пожилой, но все-таки мордастый дядька орет Метелину, чтоб тот постыдился, что все тут торопятся, а без очереди имеют право только участники войны и инвалиды.

Женя видит, как на мгновение Пим останавливается, еще немного – и он отступит, но тут он оборачивается на Женю и вдруг говорит шутливо:

– А я и есть – участник войны. Инвалид!

Тут начинает колыхаться вся очередь, и Жене делается совестно за вожатого: мог бы что-нибудь и другое выдумать, теперь-то у них ничего не выгорит – вон как разгулялась, заходила толпа:

– Совесть бы поимел! Мальчишка!

– Сопляк, ты еще на свет не уродился, когда война-то была!

Женя видел, как покраснел Павел Ильич, полез зачем-то во внутренний карман поджака, и руки у него затряслись, будто у старика, совсем уж стыдно он вытащил какие-то зеленые картонки, сунул тому мордастому дядьке, сказал: "Ну смотрите, если интересно!" – а сам побился-таки к окошку, приблизил к нему голову, стал говорить что-то, кивать, вынимать деньги.

А мордастый, привиредливо разглядывая зеленые картонки, вертел их так и сяк, багровел и пунцовел, наконец, громко проговорил, справедливо:

– Пропустите его! Он – действительно!

Женя слышал, не мог не услышать, как переговаривались женщины:

– Какой же войны?

Потом спохватывались:

– А-а!

Женя шагнул к мордастому – прямо-таки преследовали его толстяки, наваждение какое-то, – протянул ему руку, забрал документы Пима. Тот отдал их охотно, переминался, юлил, чувствовал себя явно неловко, сообщал подробности соседям, вертя головой:

– Еще и орденоносец! Смотри-ка ты, а?

Когда Пим отошел от кассы, мордастый даже сказал, сняв соломенную шляпу:

– Извини, паренек, прости великодушно.

И хмыкал, кряхтел.

Вот такой он, Пим, валенок, так сказать.

Женя почувствовал, как к горлу подкатывает тепло, прокашлялся. Вожатый вопросительно посмотрел на него.

– Павел Ильич, – спросил он, – а чего вы нам никогда не рассказывали?

Тот поморщился.

– Чего тут говорить?

– Может, хоть мне? – попробовал подлизаться Женя.

– Нет, мальчик. – неохотно ответил вожатый, – это все не забава. Они помолчали.

– Павел Ильич, а зачем вы со мной летите? – спросил Женя. – Посадили бы в самолет, а сами – обратно. Разбираться будете?

– Надо выяснить, – вздохнул тот.

– Моих-то не очень жучьте, – попросил, улыбнувшись, Женя, а сам подумал: "Да кто позволит их жучить?" Он представил Пима рядом с Пат, за одним столом. Вот он сидит на почетном месте, Павел Ильич Метелин, в своем затрапезном костюмчике, между поднарядившейся Пат и па, которому не нужны никакие наряды, ма, конечно же, выпендрилась, сервировала стол, как по случаю приезда иностранной делегации – четыре ножа слева, шесть вилок справа, ложечки впереди тарелки, тоже не одна, все в серебре, в хрустале, в нарядных тарелках, красная, как кровь, салфетка поставлена кулем, не знаешь, как развернуть, до того накрахмалена, и Пиму предлагают отведать то, или другое, или третье. Да еще отцов приятель сидит, секретарь горкома, чтобы по-домашнему все уладить, не в кабинетах, не на митингах и собраниях – куда он денется, бедный Пим?

Жене опять стало его жалко. "Лучше бы уж он не ехал, – подумал он. И вдруг решил: – Я не хочу, чтобы его воспринимали у нас дома. Не хочу, чтобы он видел, как мы живем".

– Павел Ильич, – сказал Женя, – не надо, не ходите к нам. Лучше я сам расскажу правду.

Вожатый развернулся к нему всем корпусом, кивнул:

– Расскажи. Я хочу, чтобы это сделал ты сам.

Женя не отвел глаза, начал:

– Мой отец – директор комбината. Понимаете, он все может. Но он не виноват. В лагерь захотел я. А я не знал, что сейчас такая смена.

– Ясно, – покивал Пим, – все довольно просто.

– Это я виноват, понимаете, я! – настаивал Женя. – Они только выполняли мое желание.

– Какой ты, оказывается, всемогущий, – иронично усмехнулся Павел и опять откинулся на сиденье, прикрыл глаза.

– А знаете, – сказал ему неожиданно Женя, – чем бы это ни кончилось, я не жалею. Таких ребят увидал! Я не знал...

Он хотел бы добавить, что не знал, какие несчастья бывают в жизни – с детьми и взрослыми, какой стороной поворачивается судьба к человеку в малые годы, какого одиночества полна Зинка и что случилось с родителями Генки Соколова, но он не сказал этого, потому что, пожалуй, бы не смог, не все может человек сделать словом, особенно когда он все-таки не так уж велик летами, но почувствовать, и понять, и совершить из этих чувств и пониманий поступки он может, независимо от возраста способов.

Он опять содрогнулся, отвернулся от Пима, вожатый больше не интересовал его. Никто его не интересовал. И Пат с отцом тоже. Пропали они все пропадом, он должен любить родных, и не стыдиться ведь нельзя, запутался он, оттого его и шатает то туда, то обратно, вот

вспомнил ребят, тот утренник откровений, и тошен сделался сам себе. Как он мог? Согласиться! Чтобы в его бумагах! Было написано! Родителей – нет! Родителей! Нет! И это ему подсунули они сами!

– Женя, Женя! – тронул его за плечо Пим.

Женя стяхнул чужую руку, припал к иллюминатору. Опять пустыня, опять ползет маленький самолет в этом бесконечном пространстве, так мгновенно и сказочно меняющем масштабы людей и их печалей.

– Женя! – снова позвал его вожатый. Прагматик со стажем и опытом шевельнулся в Жене, все эти взбрыкивания – сплошное детство, он прикрыл глаза, взял себя в руки, повернулся к Пиму с невозмутимой ясностью во взоре:

– Да!

– А Генка-то Соколов – он решил, что ты из банды.

Женя искренне расхохотался.

– Похож, что ли?

– Увидел у тебя большие деньги. И потом была у вас какая-то история на диком пляже, какие-то хулиганы к вам пристали, ты им что-то крикнул, и они ушли. – Женя даже обмер.

– Во дела! Да это же Генка нас спас! – сказал он восхищенно. – Схватил камень и попер на тех парней. Ну и ну!

– Видишь, – улыбнулся Павел Ильич, – как два человека – всего лишь два! – могут по-разному смотреть на одно и то же событие?

– А вроде все одинаковые, – задумчиво ответил Женя, – одной породы.

– Ты тоже так думаешь? – удивленно спросил вожатый.

Женя не заметил в вопросе подвоха.

– Конечно! – кивнул он.

– А я думал, – проговорил Пим, – ты считаешь себя особенным человеком.

Женя посмотрел в глаза вожатому, спросил:

– Особной породы?

Тот кивнул. Женя опустил взгляд. Вздохнул. И вдруг вскинулся, спросил:

– А как мне быть? Как походить на всех, на ребят из нашей дружины, если я совсем другой? Я виноват?

Он вдруг вспомнил одну любимую фразу па, которую тот повторял, когда на него наваливалось дурное настроение или еще что-то, пока непонятное Жене, но ясно, что очень взрослое, может, какие-то небольшие неприятности там, за пределами Жениной видимости, и па было нелегко, он глубоко и горько вздыхал, словно от чего-то отступался, чему-то изменял, вынужден был соглашаться, хотя ему вовсе этого не хотелось. И вот, навздыхавшись, он повторял эту фразу, которую, подумав, сказал и Женя, всматриваясь в своего вожатого:

– Разве вы не знаете? Бытие определяет сознание!

* * *

Нехорошо было на душе у Павла, муторно, а когда самолет ткнулся

колесами в бетон, его как будто встряхнуло, и он по-новому понял, что ему предстоит. Хочешь не хочешь, а должен стать как бы врагом Жени. Обвинителем. Отвратное занятие — ходить по кабинетам, выяснять, каким образом оказалось возможным такое безобразие, такое отвратительное постыдство, и ему будут врать, примутся вилить, кивая на высокопоставленного отца, но не станут говорить открыто, а начнут намекать, подталкивать его к дверям высоких кабинетов, хорош тоже начальник лагеря, нашел следователя!

Он представил, как его с ходу возьмут в оборот родители Жени, ведь он сказал, что дал телеграмму не только в лагерь, но и домой, встретят в аэропорту, да еще на служебной "Волге", вранье начнется с первых же слов, и у него не хватит духу оборвать разговор, стать жестким искателем истины хотя бы потому, что вежливость еще существует на белом свете, а кроме того, чем он располагает — одними намеками, подозрениями, и глупо бросаться на людей, едва сойдя с самолета.

Женя был оживлен, часто оборачивался, пока они шли через коридор к залу ожидания, сверкал глазами, крутил головой, поднимался на цыпочки, даже подпрыгивал, чтобы увидеть встречающих — вот он снова в родной стихии, и нет, вовсе не спокойно за него сердце Павла, ничуть не спокойнее, чем за тех, что остались в лагере, этому мальчику еще труднее, пожалуй, как это ни странно звучит, хотя ни он, ни его безумные благодетели этого не сознают в полной мере.

И все-таки он слишком скор на суд и тороплив, в Жене что-то произошло, ведь он из лагеря убежал не по прихоти. Да чего говорить, он, случайный, можно сказать, человек, стал свидетелем, как на глазах у него в ребенке взбунтовала совесть! И теперь он же должен вроде как доказать, что лучше бы этого бунта не было! Лучше, если бы все осталось шито-крыто, какой бред!

Павел прибавил шагу, обнял за плечо Женю, улыбнулся ему. Нет, он не имеет права быть букой, он еще здесь и затем, чтобы поддержать мальчишку, его честность, и вот от этой истины он будет плясать, все остальное делая второстепенным. Нельзя, никак нельзя допустить, чтобы в Жене, который и так-то идет к правде, то и дело ступаясь, беря себя, то возвращаясь к прежним своим правилам, то стыдясь их, оборачивая сознание к новым чувствам, обретенным в лагере, и которому впереди еще много искусов одолеть надо, — так вот никак нельзя допустить, чтобы он сломался, разочаровался в совести и честности, на то он существует, Павел Метелин, хоть и случайный, а все-таки вожатый, затем он и идет рядом с пацаном, который испытывает порой чувство детского превосходства, а в сущности такой беззащитный человек! И так ему нужна опора!

Они вышли в зал ожидания, влились в суетливую толкотню, в приветствия и возгласы, и Павел увидел, как отразилось на лице Жени сначала недоумение, потом обида, как набухли совсем по-детски слезами глаза, и он старательно отворачивался от Павла, отворачивался, чтобы тот не заметил этой стыдной слабости.

Павел нарочно отстал на пару шагов, искусственно озирался, будто мог узнать встречающих, и приблизился к Жене лишь тогда, когда тот

повернулся к гостю, придя в себя, взяв себя в руки.

– Наверное, телеграмма где-то застряла, – помог ему Павел, – мало ли!

– Аха, – поспешно согласился Женя, – мы сейчас на такси – и в дамки!

Он засмеялся, детство сильно все-таки своей надеждой!

Такси и правда донесло их к дому Жени в считанные минуты, которые были отданы глупой борьбе взрослого и мальчишки, заключавшейся в вопросе, так, впрочем, и не разрешенном – сначала в гостиницу, чтобы выбросить Павла, или сразу к Жене домой? Споря, Павел понимал, что напрасно тратит слова, первый долг его заключался в том, чтобы сдать ребенка с рук на руки, и в то же время до тоски, до стога не хотелось ему видеть сейчас этих всемогущих родителей.

Долг превозмог остальное, Женя небрежно расплатился с водителем – откуда у него такая свобода, такая раскрепощенность, когда подают купюру гораздо больше положенной и даже не думают о сдаче, в этих жестах Павлу чудилась смутная взрослая барственность, беспечность, не подкрепленная личным усилием для получения этих купюр, недетское бесстыдство, занятая у кого-то привычка, – они поднялись на второй этаж, Женя – бегом, обогнав Павла. Мальчик нажал кнопку звонка. Признаков жизни за дверью не обнаружилось.

Тогда Женя принялся тарабанить в дверь. Потом позвонил протяжно, долго не отрывал палец от кнопки.

В наставшей тишине что-то мерно зашаркало, дверь распахнулась, и Павел увидел полного, большого, похожего на медведя мужчину с округлым лицом, половину которого составляли внушительные роговые очки, сильно увеличивавшие глаза за стеклами. Огромные глаза человека бессмысленно смотрели на Женю и Павла, казалось, даже смотрели не на них, а сквозь, очень отсутствующий был взгляд, отвлеченный, и ничего не выражали: ни радости, ни огорчения, ни удивления.

Одет был мужчина крайне небрежно: незастегнутые в нужном месте брюки держались на облохмаченных не новых подтяжках, грудь облегал несвежая, закапанная спереди чем-то красным майка, причем одна лямка съехала с плеча.

”И это всемогущий, очень большой человек?” – подумал удивленно Павел.

– А! Вот и ты! – сказал человек Жене, казалось, совсем не замечая Павла, и повернулся, не обняв сына.

– Па! – воскликнул Женя, бросаясь к отцу. – Что случилось?

– Что случилось, что случилось, – пробормотал тот, механически, как-то неосознанно беря мальчика за плечо. – Да знаешь ли, мама попала в больницу.

Не дождавшись приглашения Павел переступил порог, притворил за собой дверь. Появилось еще одно действующее лицо. Негромко всхлипывая, в гостиную вошла старушка, увидев Женю, тоненько заплакала, это был плач.

Павел увидел смятенность Жени. Мальчик кинулся к старушке, и кричал:

– Ба, где она? Что у вас тут случилось?

Потом бросился к отцу:

– Па, вызови машину, я поеду к маме! Где она лежит?

Мужчина устало ответил:

– Это невозможно. К ней не пускают.

Павла не оставляло чувство нереальности происходящего. Этот дом... Все сверкало здесь – небывалой красоты старинная многоэтажная люстра венецианского стекла полыхала, сплавляя свет обыкновенных электрических лампочек в многоцветный солнечный праздник, невысокие шкафы редкостной работы сияли неприкрытой роскошью музейной посуды, бликующего серебра и хрустальных ценностей. Такие же невысокие, пузатенькие книжные шкафы глубокомысленно посверкивали золотом старинных корешков, на стенах, оборудованные специальными осветителями, в позолоченных рамках покоилась добротная живопись, по всему похоже, предыдущих веков. На полу серебрился необыкновенной работы огромный ковер, сотканный, казалось, из шелка – такие, помнится, Павел видывал не то в Павловске, не то в Петергофе, но все же на стенах, не на полах. Интерьер завершал стол, накрытый ослепительно красной скатертью, и скатерть эта завораживала, заставляла тревожиться.

Павел подумал вдруг, что стол похож на операционный, больного только что увезли, а простыня еще лежит, ну и бред!

Но все остальное и правда походило на бред. По музейному залу бродил странный мужчина в подтяжках, подвывала, беспомощно свесив руки, старушечья в бедненьком ситцевом халатце и метался мальчишка, одетый не под стать, как и все остальные, музею.

Мужчина сделал несколько бессмысленных шагов, бросил сыну, не оборачиваясь:

– Пригласи своего товарища. Пусть проходит.

– Это не товарищ! – крикнул Женя. – Это вожатый! Объясните сейчас же толком, что случилось?

– Что делать, мама? – глухо воскликнул мужчина и, наконец, обернулся. Старушка заплакала еще громче, просто завывала.

Мужчина подошел к Жене, встал перед ним, сунул руки в карманы, совсем как школьник, опустил голову и сказал:

– Евгений, мужайся! Наша мать находится в следственном изоляторе. Иначе говоря, в тюрьме. Ее обвиняют в воровстве, взятках, черт знает в чем!

Павел содрогнулся: мужчина заплакал, а мальчик захохотал.

– И ты – веришь! – заливался он. – И ты здесь сидишь! – Смех без перехода превратился в злой крик: – И ты ее не спасаешь?

– Не верил, – крикнул сквозь слезы отец. – Теперь верю. Мне показали!

Он метался по комнате, тыкался, словно слепой, о стулья, о стол, о шкафы – в них раздавался тонкий звон: вздрагивала (дребезжало стекло) редкостная посуда, изредка он некрасиво, судорожно всхлипывал, потом выскочил в какую-то дверь.

Стало тихо. Павел сделал лишь два-три шага с тех пор, как они вошли, и все стоял там, у входа, пока происходило откровение, свидетелем которого он стал. Все обрушилось так неожиданно и грубо! Впрочем, подумал он, неожиданности всегда бывают прямыми и грубыми. Если что-то рушится, то всегда без подготовки, без предупреждения об опасности.

И еще – что мог и должен был сделать он? Чем помочь мальчику, старухе, этому несуразному мужчине, о котором у него было совсем другое представление по Жениным фразам? Как необходимо вести себя ему?

Его никто ни о чем не просил. Ничего не предлагал. Но и без того было ясно, что оставлять их одних нельзя. Хотя ведь у этого дома, наверное, немало испытанных друзей. Где они? Почему он, можно сказать, случайный прохожий, только один и оказался тут в то время, когда люди так ждут утешения. Или сочувствия.

Впрочем, должен ли он погружаться так глубоко?

А может, будет деликатней удалиться? Он выполнил свое дело, доставил Женю, кстати, надо бы отбить телеграмму в лагерь, шапка Мономаха давит темечко начальнику, ничего не поделаешь, таковы обязанности. Подойти к Жене, сказать несколько утешительных слов, попроситься к бабушкой и податься в гостиницу, а утром – обратно... И все-таки что-то удерживало его. Он переступил с ноги на ногу, подошел к мальчику.

Женя порывисто ткнулся ему лицом в живот. Павел прижал к себе светлую макушку, положил руки на плечи мальчишки. Эх, пацаненок, ну и свалилось же на тебя! А помнишь, еще совсем недавно, в самолете, фраза, в устах ребенка способная утереть нос любому взрослому: "Бытие определяет сознание". Что происходит с твоим сознанием в эти тягучие, молчаливые мгновения? Какие рушатся храмы, какие разверзаются пучины, какие страшные лики возникают, какие дебри ненависти вырастают? Что за таинства вершатся сейчас за маской веснушчатого детского лица, час назад такого беспечного, а сейчас – сейчас это действительно только маска, прячущая человеческую бесконечность. И нет никакого отличия у этой бездны от глубин взрослого человека, Жениной бабушки или его отца, мысли другие, другие тяготы, страхи, а кто сказал, что другого вкуса слезы или же мельче печаль?

Скрипнула дверь, и Павел не узнал человека, который стоял на пороге. Седовласый, представительный, в черном двубортном костюме, скрывавшем недостатки комплекции, в белоснежной, кажется, даже хрустнувшей, рубашке, с галстуком, который один способен дать понять окружающим меру достоинства и высочайший класс вкуса, которым отличается его владелец. Женин отец сменил и очки – эти тоже были в роговой оправе, но дымчатые стекла скрывали обнаженность взгляда, делали человека как бы замкнутее, а оттого значительнее и строже. Казалось, он успокоился – властная, значительная фигура, спокойная, тяжелые шаги. Он подошел к старухе, обнял ее за плечи, похлопал по спине, успокаивая, утешая. Потом повернулся к Павлу:

– У вас хорошее лицо, – сказал он ни с того ни с сего. – Простите, такое дело... Ночуйте здесь, прошу вас. – Прибавил, на секунду задумавшись: – Помогите Жене. Ему будет нелегко.

Сказал так, как будто Женя не стоял рядом. Подошел к сыну, тяжело прознес:

– Вот видишь, не все в жизни праздник. Держись.

– Ты куда, папа? – спросил Женя. Попросил. – Не уходи!

– Дела, сын. Чуть попозже уйду на работу. Там, наверное, заночую. Вы не ждите. Мама, постели в моем кабинете. – Посмотрел вопросительно на Павла.

– Павел Ильич, – подсказал тот.

– ... Павлу Ильичу.

Они задвигались. Бабушка шуршала тапками по паркету, перетаскивая одеяло и подушки, молча, одной головой лишь отвергнув попытку Павла помочь, Женя повел его показывать свою комнату, включил "Шарп" с веселой, совсем не подходящей настроению музыкой, стал переодеваться в домашнее, его отец, потоптавшись, пригласил Павла в свой кабинет.

Вдоль стен кабинета стояли книжные шкафы, набитые томами, посредине разместилось несколько кресел и диван, образуя круг, стол с удобной, огромных размеров лампой стоял у окна, за которым сгустились синие летние сумерки.

Они уселись в креслах, друг против друга, два в сущности совершенно незнакомых человека, ведь отец Жени даже не назвал себя. Но до того ли ему!

Взял себя в руки, а руки его и выдавали – дрожали, тряслись, бессмысленно крутили сигарету, крошили табаком. Время от времени он проводил ладонью по лицу, точно отирал с себя невидимую паутину, уверенность терялась, плечи сгибались, но тотчас расправлялись вновь, и Павел видел, что делается это не специально, а совершенно непроизвольно, по давно устоявшейся привычке являть на людях твердость духа и силу уверенности.

Голос подводил, слова, потерявшие уверенность. Впрочем, отец Жени ничего не говорил. Это были отдельные, не очень связанные в мысль реплики:

– Здесь не помешают... Телефон в прихожей... Такие дела.

Павлу показалось, с ним хотят заговорить о чем-то очень серьезном, и не решаются.

Осторожно, очень робко брякнул звонок: кто-то пришел.

– Это ко мне, – бесцветно сказал Женин отец, но не шевельнулся, не заторопился открывать. И вдруг сказал без всякой связи: – Но еще существует честь. Такое вымершее понятие.

Павел ничего не ответил, уж очень неожиданными были эти слова, и, главное, они вовсе не приглашали к обсуждению, спору.

Дверь отворилась, в легком светлом пыльнике быстро вошел небольшой сморщенный человек, спросил с ходу, не обращая внимания на Павла:



– Ну как ты, Илья?

"Илья" – поразился Павел. Так зовут неизвестного мне отца. Где-то он? Как живет? Знает ли о нем, Павел?

– В готовности, – ответил Женин отец, даже не поглядев на вошедшего. Потом кивнул Павлу: – Знакомьтесь, секретарь горкома! – Быстро, энергично поднялся, сказал: – Иду, иду!

Пожал Павлу руку, на секунду задержав ладонь в своей мощной пятерне. Сказал, переходя на "ты":

– Поживи несколько дней. Помогите Женьке!

Шаги громко прогрохотали по прихожей, Павел не успел проводить заторопившихся мужчин и когда подошел к двери, их уже не было. Из своей комнаты вышла бабушка. Перекрестила дверь, за которой скрылся взрослый сын, сказала:

– Всегда так, всю жизнь! Бегом! Без оглядки!

* * *

Ночью Женя не мог уснуть. Явилась к нему первая в жизни бессонница.

Он без конца думал о матери, представлял ее летучую походку, всегда покладистый нрав, бесконечную доброту, в которой, как в пухе, купался всегда, сколько помнил себя. За всю свою жизнь он ни разу не назвал ее мамой, мамкой, мамочкой. Всегда ровное, почти ничего не означающее ма, и она ни разу не сказала ему ни полсловечка укора. Выходит, ей нравилось. Может быть. Но теперь эта холодная половинка слова, будто из жадности не договоренная до конца, была отвратительна Жене. Он казался каким-то скупердяем себе, жадным, жестоким, холодным человеком.

Да, да, именно так все и было.

Маленький эгоист, себялюбец, принимающий как должное подношения любящей матери, человек, укутанный гагачьим пухом, чтобы, не дай бог, не ушибиться хоть маленько об углы, зажавшийся потребитель, единственное, что умеющий – открывать рот: так и быть уж, давайте проглочу, что вы там мне подсовываете!

Из памяти выбралась Зинка, странная чудачка, как она врала, просила ее поцеловать, и снова врала, и старалась выглядеть опытной, старше, а всего-то и надо ей было, чтобы ее заметили, с ней поговорили, подружились, согрели теплом в стылом ее одиночестве.

Женя содрогнулся, слезы щеkotно заскользили по виску, тупой человек, он сперва смеялся над Зинкой, потом страшился, потом жалел и с каждым этим шагом отдалялся от нее, а только теперь вдруг понял, что не гнать от себя Зинку надо было ему, а набраться терпения, разве уж так долго таилась она, ничего в ней не держалось, никаких тайн, и ему стоило лишь потерпеть, перейти мертвую полосу знакомства, которую Зинка же и выдумала, боясь, что ею побрезгуют, и тогда все стало бы просто, а ей ничего и не надо, кроме такого простого, ясного, но отвергнутого им, Женей, – нужности.

Нужность, необходимость других и для других – не так уж это, оказы-

вається, мало. Вот сейчас ему не хватает мамы, Патрикеевны, лисы, да явись она сейчас сюда трижды осужденной, на весь мир осрамленной, он кинется ей на шею, отбросив в сторону все свое хладнокровие, хваленый этот прагматизм, вцепится в ее плечи, в ее волосы и никуда не отпустит, ни в какие тюрьмы, пусть тащат вместе, вдвоем, и не может, не может она совершить никаких преступлений, воровство какое-то, чушь, враки, отцовская слабость!

Женя сел на кровать, включил свет, вернулся из обманов темноты в правду.

Он никогда не думал, откуда у него в комнате "Шарп" и "Грюндик". Он захотел – и ма привезла на отцовской машине. В доме вообще было мало обсуждений – что, как, откуда берется, сколько зарабатывают отец или Пат и сколько стоит новая картина, которую привозит из Ленинграда ма, слетав туда с попутным рейсом отцовского самолета. Во всяком случае этих разговоров не слышал он, Женя.

Он подумал об удовольствии, с которым он переделался в том далеком сонном городке, шел, как и все мальчишки, одетый в серую курточку и штаны, а потом ел пустяковую, но такую замечательную еду в прибазарной столовке. Женя чувствовал, что там он был свой, и это чувство он тоже испытал впервые. Вся предыдущая жизнь показалась ему тогда неверной, не такой, какой бы должна быть, он и сейчас испытал это чувство.

Хладнокровный, как лягушка, у них, говорят, холодная кровь, независимый ни от кого, все, напротив, зависели от него в его прошлом ребячьем мире, ничего особенно не желающий, потому что все его желания удовлетворяла мама еще до того, как в нем выспевало всякое желание, эгоист, не знающий ни слез, ни радости – вот он кто был такой. Был! А что – изменился?

Женя встал, подошел к столу, порылся в стопке книг, которая лежала там, поискал заветный альбом, наверное, так и не убранный в отцовский шкаф. Раскрыл Босха.

Ма говорила, этот художник избавляет от страха, высмеивает муки ада и обман рая.

"Все совершается на земле!" – смеясь, говорила она. "И только браки – на небесах?" – спрашивал отец. "Браки, дорогой, уж тем паче регистрируются на земле!" – смеялась она еще громче, и Женя опять уходил в себя, каким-то внутренним чутьем он всегда с математической точностью определял черту, за которой разговоры взрослых не касаются его интересов, сознания, дел.

И все же что она натворила? Неужели ее будут вот так же клевать эти чудовищные птицы с горбатыми, больше головы, клювами? Может быть, в ней, в ее груди теперь такие же муки? Муки можно нарисовать, как Иероним Босх, а можно просто испытывать, не думая о том, как они могут или должны выглядеть!

Женя содрогнулся. Как она выглядит в этом самом следственном изоляторе, почти тюрьме? Ее переодели в грубую казенную одежду? Она сникла, пышные ее волосы опали и свалились, а лицо посерело и

похудело? Конечно, она уже не может покрасить губы, она осунулась и погрубела – как это ужасно!

И неужели она правда что-то натворила? Или творила долго, упорно? Знала, что делает? Или небрежничала, как всегда и во всем, чувствуя себя в безопасности за спиной отца?

А отец? Что он знает о нем?

Женя вспомнил, в каком виде предстал перед ними с Пимом отец – откуда он взял эти брюки, подтяжки, майку? Или это все было у него, только мама следила за ним, а Женя не замечал?

Она вообще строго держала отца. И Женя знал о нем только одно – он все может, особенно если легонько поднажмет мама. Почему, например, отец namного старше Пат? Почему он немногословен, даже с бабуленцией? Неужели все слова, отпущенные человеку, он выговаривает у себя на работе?

Неожиданно Женя подумал, что в их доме не одна и даже не две, а несколько жизней. То что сверху, раньше казалось ему единственно верным. Но теперь выясняется, у мамы была другая жизнь. Еще одна существует у отца. И у них двоих, между матерью и отцом, есть еще одна жизнь, не такая фальшивая, как между матерью, отцом, бабуленцией и Женей.

Фальшивая. Это слово потрясло его.

Выходит, все вокруг – неправда? И он ухитрился целых тринадцать лет жить такой неправдой? Наслаждаться враньем? Дышать им? Пить его? Жрать?

И уж не чужие ли они друг дружке, если подумать совсем откровенно? Птицы ведь тоже могут жить в одном гнезде, но каждое утро срываются из-под стрехи, с трубы, с высокого дерева, слетают с края гнезда и весь день пропадают бог знает где. Ведь редкие птицы летают парами, чаще всего одна совсем не знает, куда устремилась другая, лишь вечером они собираются вместе или, когда у них растут птенцы, птицы сообща добывают корм, но вот выросли дети, встали на крыло, и уже сын не узнает мать, как и мать не узнает сына. Инстинкты сделали свое дело, теперь они могут вздремнуть. Лебеди, конечно, исключение, но ведь лебеди – птичья аристократия, царские создания. У них в доме аристократизм лишь демонстрировался, на самом деле все вели себя как горстка самых примитивных созданий. Ну, выкормили птенца, его, Женьку, а дальше-то что было бы с отцом, с Пат, особенно когда умрет бабуленция?

Женя навзрыд заплакал: домик рассыпался, их замок был построен из песка, точно детский, на пляже. И, может быть, именно он, Женька, был всему причиной.

Ведь вся жизнь в этом доме посвящалась ему, мерзкому эгоисту! Дряни! Подлецу!

Разве же не для него старалась мама, доставая эту проклятую путевку в лагерь? Разве не содрогнулась она сама, когда согласилась, чтобы ни отца, ни ее, такой живой, очевидной, не числилось в живых, пусть просто на бумаге?

Он не стал, а соизволил стать солнцем, вокруг которого крутились

три луны – бабуленция, отец и мать, причем мама вращалась быстрее всех остальных, только чтобы оградить от неприятностей, предупредить малейшее желание, исключить любое затмение любимого светила.

Все, все, все на белом свете делалось для него! Это он понял! Осмыслил, наконец, сейчас, глубокой ночью, когда его маму увезли, спрятали за решетку.

”Но если это правда, – подумал Женя, – и она воровала – воровала для меня, ради меня, во имя меня? Занималась еще какими-то грязными и тайными делами – для меня?”

Его опалила эта мысль.

Он вскочил с кровати, откинул альбом Иеронима Босха, прошептал: – Но я не хочу!

Потом сник. Опять опустился на кровать.

Ты – не хочешь! Но это сделано! Для тебя! И тебе не по силам что-нибудь изменить.

В прихожей коротко, неуверенно тренькнул звонок.

Женя бросился в постель, потом вскочил снова, выключил свет, опять кинулся под одеяло, накрылся им с головой.

Наверное, это отец. Увидев свет, он обязательно заглянет.

А Женя не хотел видеть его.

Никого он не хотел видеть, и больше всего Пат.

Интересно: как они встретятся?

Где?

* * *

Павел не спал, листал чудесные альбомы по искусству, которых было во множестве на книжных полках уютного кабинета, и вздрогнул от неожиданного и резкого, как удар, звонка. Он вскочил, отчего-то напрягшись всем телом, кинулся к двери, боясь, что повторный звонок разбудит Женю или бабушку.

Кто мог быть? Хозяин дома? Но он сказал, что заночует на работе, да у него, наверное, и ключ есть, наверняка не стал бы будить.

А если его жена? – пришла вдруг в голову глупая мысль. Может, ее отпустили? Как он узнает и что скажет?

Павел открыл дверь. На площадке стоял сморщенный человек – секретарь горкома.

– Выйди сюда, – сказал он просительным, усталым тоном, вовсе не заботясь о том, что они, по существу, не знакомы. Попросил: – Прикрой дверь.

В майке и спортивных брюках Павел стоял перед пожилым, усталым человеком, и сердце его помаленьку раскачивалось.

– Хорошо, что открыл ты, – сказал секретарь. – Илья сказал о тебе. Не знаю, что делать... Сначала у нас было бюро, потом он уехал.

А дальше не сказал – ударил:

– Час назад в своем служебном кабинете он умер от инфаркта.

Павел опустил голову, ладони оледенели. Опять судьба выбирала его. Выходит, ему придется сказать об этом Жене.

Секретарь горкома протянул сигареты.

Павел затаился, дым ворвался в легкие, он захлебнулся этой гадостью, бухнул несколько раз, прикрывая ладонью рот, на глазах выступили слезы.

"Вот ты и увидел своими глазами, – сказал Павел самому себе, – как наступает сиротство".

* * *

Все остальные дни в сибирском городе слились для него как бы в один, напоминая стремительно мчащийся поезд, вагоны которого просакаивают мимо, смазываясь, сливаясь в зеленую массу, если ты стоишь под насыпью.

Одну сцену не забыть.

Кладбище, кортеж автобусов и легковых машин еще втягивается, вползает в старую липовую рощу, под деревьями которой видны звездочки и разнобой оградок, желто-синяя милицейская "Волга" обходит колонну, автобус, где возле гроба близкие, тормозит.

Павел видит, как Женин взгляд, устремленный на отца, переходит за окно, как он поворачивается всем телом к милицейской машине. Дверца распаивается, из нее выбирается сержант, помогает выйти женщине в черном вуалевом шарфе.

Автобус тормозит, не дожидаясь, когда выгрузят гроб, неприлично торопливо для такого момента Женя соскакивает вниз и бежит к женщине. Он бросается ей на шею, женщина склоняется к мальчику, они порывисто обнимаются, мать лихорадочно, точно боясь опоздать, целует сына.

Первую и, пожалуй, единственную фразу она сказала, когда Павел приблизился к ним и поклонился.

– Кто это? – спросила она Женю.

– Наш вожатый! Он приехал со мной! – ответил он, и тогда она вдруг сказала:

– Никому никогда не верь, сынок! Никогда! Никому!

Разве можно судить женщину в такой момент, в таком положении? И все же Павел без конца возвращался к этим словам, сказанным в аффекте, в отчаянии; к желтой милицейской "Волге" и фигуре милиционера, скорбно склонившейся к женщине в черной накидке.

Никому, никогда, сказала она, вроде как завещала свое мрачное наследство.

Кому сказала? Сыну. Которому всегда желала добра.

Но этого ли надо было пожелать ему?

* * *

Павел был неотлучно возле Жени с тех пор, как сообщил ему горькое известие.

Женя плакал, но позже и как-то не по-детски устало, а вначале его

глаза были сухи – он не понимал, о чем говорил вожатый. Понимание приходило с трудом, даже неохотно.

Они вместе ели, вместе ходили по улицам большого города, молча сидели на скамейках в скверах. Бабуленции было совсем худо, ее хотели увезти в больницу, но она наотрез отказалась, и возле ее постели круглые сутки по просьбе секретаря дежурили медсестры, которые, едва она просыпалась, кормили ее и сразу делали новый укол, от которого она опять засыпала.

Делать дома было нечего. Полированные поверхности шкафов и столов в домашнем музее покрывались пылью, а Женя с Павлом бродили по городу, точнее по его окраинам.

В центре к Жене раз или два подходили дети его примерно возраста, какая-то очень видная девочка и два пацана, одетых в неброские, но все же заметно отличные наряды, которые выделяли их среди остальной ребятни в шумной городской толпе, говорили утешительные слова, которые Женя, согласно кивая, слушал, и тут же торопливо исчезали, и на лицах этих уходящих Жениных сверстников Павел видел следы явного удовольствия собой, исполненными обязательствами. А потом к Жене прильнула дородная шумливая дама, очень яркая на вид, нажимая на чувства, принялась плакать, приговаривая: "Бедный мальчик! Бедный мальчик!" – после чего они пошли в сторону тихих улочек, водозаборных чугунных колонок, в сторону женщин, полошущих белье прямо на зеленой траве, возле серых, морозами прожженных заборов, и тут Женю никто не узнавал, никто не припадал, чтобы выразить свое сочувствие.

Павел тоже не находил слов. Вернее, он их не искал.

Он просто жил рядом с Женей и лишь однажды предложил:

– Давай вернемся в лагерь. Я договорюсь с нашим начальником, ты побудешь еще одну смену.

– Как кто? – спросил равнодушно Женя.

– Как сверхплановый пионер, – нашелся Павел.

– А! – коротко произнес Женя, и было в этом одном-единственном звуке столько иронии, что Павел стушевался, вспотел. Поправился:

– Как мой брат!

– Спасибо, Пим, – ответил серьезно Женя, беря Павла за руку. Впервые он так назвал вожатого, но очень хорошо сказал, необходимо, как младший брат, в самом деле.

– Спасибо, великодушный человек! – проговорил Женя. И спросил: – А как же бабуленция?

Они прошли еще несколько шагов, мальчик остановился.

Он повернулся к Павлу и посмотрел ему в глаза. Очень взрослым получился этот взгляд.

– До сих пор, – сказал Женя, – я жил у них за спиной. Теперь я должен подумать о бабушке.

Он отвел взгляд куда-то в сторону, зажмурился, будто от яркого света, прибавил:

– И о маме.

Они двинулись дальше, и чуть погода Павел сказал:

– Если будет трудно, Женя, напиши. Я прилечу.
И Женя ответил. Хотя мать советовала ему другое.
Женя ответил:
– Я тебе всегда верю, Пим.
Они обнялись.

* * *

И еще раз обнялись. Перед отлетом.
В аэропорту, перед чертой, за которую вход провожающим запрещен, они обнялись снова, и Павел неожиданно для себя сломался. Плечи его дрогнули, и он крепко прижал Женю, чтобы тот не увидел слабости старшего.
И тогда Женя, обнявший его где-то возле пояса, сказал погрубевшим голосом:

– Держись! – И добавил: – Передай привет всем нашим!

* * *

”Всем нашим!”

Павел не мог забыть этих слов. ”Всем нашим!”

* * *

В самолете он накрепко забылся – пять дней и пять почти бессонных ночей пролетели, промчались после короткого, как удар, звонка в дверь. И теперь Павел выключился, едва коснулся спинки авиационного кресла.

Тот будто ждал его!

Выскочил из-за камня, в почерневшем, но когда-то, видно, нарядном халате, с автоматом в руках и дал ту бесконечно длинную, последнюю очередь.

Свинец цвиркал справа и слева, сейчас, через мгновение, он врежется в человеческое мясо – в грудь и в живот...

Павел проснулся, дернувшись от ударов.

”Неужели, – подумал, просыпаясь, – он так и будет стрелять в меня всю жизнь?”

* * *

Сойдя с самолета в Москве, он пошел к почте и, набрав пригоршню пятнашек, позвонил в лагерь.

– Что у нас нового? – спросил он начальника лагеря.

– Возвращайся скорей, – ответил тот. – У нас Аня уволилась. Твоя напарница.

– Вот как, – произнес сухо Павел.

Где-то там, в телефонных проводах, опутавших пространства, слы-

шались невнятные голоса, чей-то смех. Тяжело дышал начальник лагеря.

– Что молчишь? – спросил он. – Тебе спасибо за все, телеграмму я получил, ну да мы еще поговорим.

– Поговорим, – согласился Павел. И вдруг попросил: – Вас не затруднит напомнить мне телефон Ани?

Начлагеря хмыкнул, прикрыл трубку ладонью, крикнул кому-то, чтобы дали телефон и адрес, продиктовал с чьих-то слов.

– Так возвращайся скорее, – не напомнил, а попросил.

– Сегодня вылечу, – ответил Павел. И повторил Женю Егоренкова:
– Передай там привет... Нашим.

* * *

Потом он позвонил Ане.

Она сняла трубку тотчас, будто ждала.

Павел молчал, запоздало обдумывая первую фразу, и она спросила:

– Это ты, Паша? В Москве?

– Да, – проговорил он.

– Ты сможешь приехать?

– Да, – ответил он.

– Возьми такси, – попросила Аня.

* * *

Он вышел на улицу. Было солнечно, жарко, многолюдно, у стоянки такси изгибалась длинная очередь.

Павел голоснул первому же проезжавшему частнику, тот охотно притормозил.

Он назвал адрес.

Частник оказался толстым, мордастым дядькой в синтетической шляпе с дырочками, улыбочиво поглядывал на Павла, потом спросил:

– Кто будешь, паренек? По профессии?

– А вы угадайте, – отшутился тот.

– Солдат?

– Уже нет!

– Студент?

– Еще нет!

– Тогда сдаюсь.

– Пионервожатый.

– Кто? – не понял толстяк.

– Пионервожатый! Вожатый! – сказал раздельно Павел, а толстяк рассмеялся:

– Тю! Что за профессия! Это ты, паренек, несерьезно.

– Может быть, – ответил Павел и уставился за окно.

Земля, усыпанная полевыми цветами, кружилась там гигантским кругом.

Земля, предназначенная для радостей, а не для бед.

**ТВОЙ СВЕРСТНИК
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА**



Илья АЛЕКСЕЕВ

БЕСКОНЕЧНАЯ ЖИЗНЬ В ПРЕДЕЛАХ КРУГА

14 октября 1840 года – 150 лет назад – в селе Знаменском Орловской губернии в небогатой помещицкой семье родился человек, которому суждено было прожить блистательную, ослепительно яркую, короткую, во многом загадочную жизнь. Человек этот – Дмитрий Писарев.

150 лет со дня рождения – очень

круглая дата. В прежние времена к таким датам революционные демократы получали от нашей прессы трогательные "букеты" юбилейных статей, в которых мысль еле пробивалась сквозь толщу праздничных славословий. "Случалось ли вам, читатель мой, бывать на официальных обедах, которые даются чиновниками в

честь благодетельного начальника? На таких обедах, после жаркого, солиднейший из чиновников обращается обыкновенно к герою торжества с неистово-хвалебною и безукоризненно-официальною речью, которая... приписывает присутствующему герою такие изумительные подвиги усердия и человеколюбия, которые он никогда не совершал и даже, по своему чину и положению, не мог совершить". Такими вот "неистово-хвалебными речами", если воспользоваться выражением самого Писарева, и создавался в нашем сознании его образ.

А между тем, это фигура поистине поразительная! Все в нем особенное, уникальное, присущее только ему. История не знает случая, чтобы юноша, в 21 (!) год попавший в одиночную камеру Петропавловской крепости, живший буквально в каменном мешке, оказался не только не сломленным, но и писал – и как писал!

Ведь уже в 22–23 года он был властителем дум своего поколения, его кумиром, пророком, духовным пастырем.

Бурная жизнь, сверкнувшая, как комета на небосклоне шестидесятих годов.

Прилежный мальчик-вундеркинд, в четыре года бегло читавший по-русски и свободно изъяснявшийся по-французски.

Способный, благовоспитанный, набожный юноша, в 15 лет поступающий на филологический факультет Петербургского университета.

Достойный студент, штудирующий работы древних – Ариана Флавия, Ксенофонта, Луккиана, Павзания, Светония, Страбона для диссертации об Аполлонии

Тианском – "языческом Христе"...

И вдруг – кризис. Полная переоценка ценностей. Психологический взрыв, взрыв такой силы, что он сопровождался неким временным умственным помешательством.

Затем работа в журнале "Русское слово". Растущая популярность ведущего критика в оппозиционном журнале. Нелегальная прокламация "О брошюре Шедо-Ферроти" – и Писарев в тюрьме. Зачем, почему он ее написал? Не был он в ту пору революционером, всего лишь совершил в ответ на очередную пакость Третьего отделения эмоциональный, юношеский поступок, скорее даже жест сделал.

И – четыре года в одиночной камере. Он пишет, пишет, пишет... Создает свои лучшие, самые вдохновенные статьи. Хоть бы тень уныния промелькнула в них...

Освобожденный в 1866 году, Писарев прожил еще два года. В 68-м, купаясь на Рижском взморье, он утонул. Утонул при странных обстоятельствах, наводящих на мысль о самоубийстве. Было ему 27 лет. Но деятели культуры живут гораздо дольше своего физического существования. Уходя, они оставляют нам свою культурную традицию. Преломляясь в призмах исторических эпох, она входит в нашу кровь, гены, ментальный фонд нации – а мы можем даже не знать об этом. Таков Писарев: мы и не подозреваем о том, насколько он "с нами".

Спросить – мы все помним: Писарев – это статья "Базаров". Это полемика с Добролюбовым насчет образа Катерины, это борьба с представителями "чистого

искусства". Вспомним, разумеется, при случае... А в лучшем (есть же такие учителя, которые об этом говорят!) припомним издевательство над Пушкиным, Фетом; отрицание всех искусств, кроме литературы; ненависть к самому понятию "эстетика": "С самого начала этой главы я говорил только о поэзии. Обо всех других искусствах: пластических, тонических и мимических, я выскажусь коротко и совершенно ясно. Я чувствую к ним глубочайшее равнодушие. Я решительно не верю тому, чтобы эти искусства каким бы то ни было образом содействовали умственному или нравственному совершенствованию человечества. Вкусы человеческие бесконечно разнообразны: одному желательно выпить перед обедом рюмку очищенной водки; другому — выкурить после обеда трубку махорки; третьему — побаловаться вечером на скрипке или на флейте..."

Словом, полное пренебрежение художественностью. Пренебрежение вызывающее, хочется сказать — нахальное. Русская эстетическая мысль нашла в Писареве своего злейшего врага. Именно тогда, в шестидесятые годы, произошло их генеральное сражение. В этом сражении эстетическая мысль потерпела от революционной демократии поражение, от которого ей не суждено было оправиться.

Нет, конечно, нельзя сказать, что ее до конца уничтожили и растоптали. Выходили и тогда, и после талантливые, глубокие статьи Аполлона Григорьева, Иннокентия Анненского, Блока, Мандельштама. Но популярность этой школы мыслителей, в первую

очередь анализировавших художественную ткань, поэтику произведения, а потом уже занимавшихся его идейно-философским, социальным содержанием, была низка. Гораздо меньше, чем популярность и влияние публицистической критики революционных демократов и их последователей, готовых бесконечно спорить о социально-исторических типах, тенденциях общественного развития и т.д.

Нельзя сказать, что именно Писарев отбросил русскую эстетику на задворки литературного процесса. Одному мыслителю, даже самому талантливому, это было бы, конечно, не под силу. Ему лишь суждено было стать фокусом, в котором сошлись все линии, острием копья поразившего врага, высшей точкой движения, в которой накапливавшийся ранее горючий материал вдруг спрессовался до невероятной плотности и вспыхнул ярким пламенем "нигилизма".

Квинтэссенцией и высшим практическим воплощением его теории культуры стали статьи "Пушкин и Белинский", статьи поразительные, не имеющие аналогов в русской литературе. Первая из них — оглушительный разгром "Евгения Онегина", вторая — стихов поэта. Писарев замахнулся на русскую святыню. При этом он ни на йоту не отступил от принципов своего жесткого, или, лучше сказать, жестокого рационализма. Холодная, трезвая насмешливость. Безукоризненная, кристальная логичность, которую, очевидно, невозможно опровергнуть "в прямом столкновении". Во всяком случае, прошедшие со дня написания статей почти полтора

столетия, насколько мне известно, не дали примеров такого опровержения.

Конечно, оппонентом Писареву выступила сама история, расставившая все по местам. Пушкин есть Пушкин, его любят, читают и перечитывают, ему такого рода сокрушения не страшны.

Но речь не о нем. Речь о писаревской концепции культуры, позволившей критику провести такую беспрецедентную кавалерийскую атаку на Пушкина, завершившуюся, надо сказать, успешно. Более успешно, чем может показаться с первого взгляда. Успех ее не только в том, что целое поколение русских "нигилистов" рассуждало о Пушкине в духе статей Писарева. Не только в этом...

Эта "атака" — самое значительное и интересное в его наследии. Самое яркое, самое "писаревское". Наиболее глубокий след, который он оставил в истории русской мысли.

Между тем этот след удостоился едва ли половины внимания, которого заслуживает. Практически все исследование, выходящее на писаревскую концепцию культуры, делают это, отталкиваясь от его политических, социальных и других взглядов, исходя из знаменитой "теории реализма". Задачи у них несложные: собрать все идеи критика вокруг этой теории, а ее, в свою очередь, увязать с социалистической, революционной доктриной. Круг вопросов традиционен: нигилизм, взаимоотношение с позициями Чернышевского и Добролюбова; в чем превосходит марксизм (молодец!), а в чем "не смог подняться до".

"Идеологическая политика

партии" предопределяла оценку общественно-политических деятелей с точки зрения социалистической доктрины. Да и сам Писарев отводил размышлениям о культуре служебную роль в своих теоретических построениях.

И мы, вчерашние школьники, думали о нем, не выходя из его круга понятий, из его терминологического ряда, каждый раз "замыкая" этот ряд на социализм. Такое ощущение, будто сидел человек со счетами и решал задачу с несколькими переменными: народ, крепостное право, эстетика, реалисты, искусство, наука... Всю жизнь считал, а под конец высчитал, нашел ответ — революция.

Сегодня за приобщение к идее социализма индальгенций не полагаются. Скорее — наоборот. Обыватель чуть ли не в дефиците табака готов обвинять связанных с этой идеей мыслителей прошлого века. С изменением идеологической конъюнктуры Писарев стал забываться, оказался не ко двору. И постепенно превращается в забытого писателя. Впрочем, Писарев был "забытым" и тогда, когда о нем писались юбилейные статьи, исполненные хвалебными идеологическими клише.

Вчера он рисовался на страницах журналов, учебников и монографий победной, но случайной фигурой. Сегодня его готовы предавать анафеме за воинствующий атеизм, пренебрежительное отношение к Пушкину.

Корень проблемы в том, что произошла лишь перемена знаков. Мы по-прежнему пользуемся старым плюс-минусовым индикатором, только работает он теперь в другом режиме. По-прежнему разговор ведется в терминах

"наш" – "не наш", и на карте литературного процесса все еще черные и белые фишки.

Нам очень трудно отказаться от любимой замашки превозносить или ниспровергать писателей, критиков, мыслителей, исходя из наших политических пристрастий, которые суть наследие тоталитарного мышления. Традиция эта у нас в крови, и восходит она аж...

Здесь нас поджидает любопытный сюрприз. Потому что традиции политизированной оценки всего и вся, и в первую очередь литературы, идут именно от Писарева. То, что лишь наметилось у Белинского, что уже в полный голос говорило у Чернышевского и Добролюбова, у Писарева сложилось в кредо, в отработанную, многоступенчатую теорию, стало духом и стилем, органически присущим каждой статье.

"Ряд статей о Базарове был написан затем, чтобы защитить и разъяснить весь строй наших понятий, а не затем, чтобы выставить на показ красоты тургеневского романа".

"...эстетика есть самый прочный элемент умственного застоя и самый надежный враг разумного прогресса".

"Если вы предложите мне вопрос: есть ли у вас в России настоящие поэты? – то я вам отвечу без всяких обиняков, что у нас их нет, никогда не было, никогда не могло быть – и, по всей вероятности, очень долго еще не будет. У нас были или зародыши поэтов, или пародии на поэта... Зародышами можно назвать Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоедова; к числу пародий я отношу Пушкина и Жуковского".

Исследователи исписали множество страниц, чтобы объяснить, как сложились парадоксальные взгляды Писарева, проследить их общественно-историческую обусловленность на фоне пейзажа шестидесятых годов. Не будем в это углубляться. Просто примем существование того, что Блок позже назовет "писаревщиной", как факт, и оценим протяженность этого факта во времени.

Когда Писарев не находит у Пушкина продуманного мировоззрения и, отказав ему в праве на интуитивное, художественное постижение мира, называет его "пародией на поэта" – это писаревщина.

Когда Горький ополчается на Врубеля за неясность картин, а на Толстого и Достоевского за "мещанство" – это писаревщина.

Когда Ленин называет Достоевского "архискверным" за его религиозную проповедь и неприятие социализма – это писаревщина.

Когда сегодня не только страницы газет и журналов, но и книги, и кинематограф заполнены публицистикой, я благословляю наступившее время, но мне жаль потерянного в политической давке искусства, и я невольно ставлю клеймо: писаревщина.

Когда читатель с презрением отбрасывает томик Кедрина, Когана, Луконина за "красный" цвет их стихов – это писаревщина.

И когда на страницах "Литературной России" Писарев за неприятие Пушкина получает эпитет "ничтожный" – это, как ни удивительно, тоже писаревщина.

Круг замкнулся. Вне его остались вечные ценности – искусство, которое выше групповых распри; красота, которая может существ-

зовать независимо от авторской "точки зрения"; поэзия, которая выражается не в словах, а в их стыках, и мелодиях, живет где-то между слов, вокруг слов; наконец, преклонение перед тайной творчества, перед личностью художника, писателя, мыслителя.

Бумеранг, пущенный Писаревым, вернулся, сделав большой круг. Наследие, доставшееся нам, — тяжело. Отмежевавшись, открепившись, отплевавшись, мы от него не избавимся. Путь один: наследие это можно только преодолеть, посмотрев на мир неписаревскими глазами. Начав, например, с Писарева.

Есть особый смысл в том, чтобы с чисто художественной, эстетической точки зрения обратиться к творчеству великого отрицателя эстетики. Для этого нужно немного — просто почитать его статьи. Не анализировать с карандашом в руках, не спорить с пеной у рта — просто почитать.

Чтение Писарева — больше удовольствие, чем труд. Его статьи высокохудожественны. Да и может ли быть иначе? Могли ли блеклые, невыразительные, сухие рассуждения произвести такой невероятной силы взрыв, эхо которого не замерло и по сей день.

"И что это за стих! — восклицает наш критик (Белинский. — И.А.) — ...он нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярк, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря", — напрасно Белинский не прибавил еще, что стих Пушкина красен, как вареный рак, сладок, как сотовый мед, питателен, как гороховый кисель, вкусен, как жа-

реная тетерька, упоителен, как рижский бальзам, и едок, как сарентская горчица".

"Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самогара, и жалеет о том, что не может выпить их тридцать три".

"Думать, что Пушкин способен создать тип образцовой жены и превосходной матери, значит положительно возводить напраслину на нашего резвого любимца муз и граций. В такой серьезной идее Пушкин решительно неповинен. ...В браке он видит только "ряд утомительных картин, роман во вкусе Лафонтена". К слову "женат" у него есть непременно две постоянные рифмы "халат" и "рогат".

"Он (поэт в стихотворении "Разговор книгопродавца с поэтом". — И.А.) оказывается похожим на старую кокетку, которой до смерти хочется согрешить, но которая при этом желает, чтобы ее вовлекли в грех почти насильно".

И этот человек — ничтожен?

Часто приходится слышать: критик — это тоже писатель, только работающий в особом жанре. Это легко применимо к революционным демократам вообще, к Писареву — в частности. Его критические статьи населены яркими, емкими образами. Активно вторгается в художественное полотно авторское "я". Свообразие лексики. Богатство интонаций, обилие парадоксов. Карикатурность... Интересно было бы проанализировать его стиль письма.

Действительно: поэтика Достоевского, поэтика Чехова... А почему не поэтика Писарева? Почерк человека воплощает психологические черты его личности. А художественный почерк? Сколько

его исследование могло бы рассказать о мыслителе? Ведь писаревская поэтика – поразительное, феноменальное литературно-психологическое образование.

Он практически прожил жизнь в камере. Профессор Фрейд, видимо, мог бы много рассказать нам о том, что именно в творчестве критика, в его взгляде на мир объясняется давлением ограниченного земного пространства. Впрочем, и без психоанализа ясно: Писарев был обречен на то, чтобы не понять многоцветности искусства. Все закономерно. И умозрительность некоторых его теоретических построений, и этот отблеск мертвенной бледности, иногда проступающий вдруг в его размышлениях. Зияющие своей чернотой пустоты в сознании. Мир, лишенный перспективы, многомерности, иррациональности. Плоские, одноплановые фигуры. Художественное полотно изъедено тюремной сыростью...

И в то же время – невероятно, непостижимо: Писарев – одно из самых оптимистичных, жизнеутверждающих перьев XIX века. Лик его по-пушкински ясен и светел. Не горькая желчь Белинского и Герцена, не сдержанная рассудительность Чернышевского и Добролюбова, а молодой, юношеский даже задор. Искрящееся юмором, страстное, вдохновенное, легкое слово... И – безупречность логических построений. Романтика холодной анализирующей мысли.

Мне кажется, что каждый, кто по-настоящему понимает высоту Пушкина, шел к этому пониманию через писаревский скепсис. Может быть, даже не читая статей великого отрицателя, а самостоя-

тельно приходя к вопросам, которые он задавал. Эти вопросы и эти ответы – нечто большее, чем логическая головоломка. Чтобы подняться до них, нужна мудрость, зрелость ума и чувств, их надо выстрадать, прожить, выносить под сердцем.

Писарев – нулевая точка, с которой начинается эстетическая мысль, фундамент, без которого она не может стоять прочно. Великий антитезис, требующий постепенного опровержения.

Почему же так рано оборвалась его жизнь? Исследователи пишут о несчастной любви и о наступившей полосе реакции. А может быть, здесь осознание бесперспективности своей жизненной позиции?

Тургенев в финале романа "Отцы и дети" ставит фигуру любимого Писаревым Базарова лицом к лицу с вечностью, как бы вырвав его из умозрительной "нигилистической" логики, из контекста сиюминутности, резко поменяв вдруг угол зрения: "Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами..." Что знали эти цветы о "грешном, бунтующем сердце"?

А что знали волны, сомкнувшиеся над ним в той бешеной, яростной силе, кипучей энергии отрицания, которая могла, казалось, перевернуть мир?

"...безмятежно глядят на нас своими невинными глазами..."

И все же: "не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии "равнодушной" природы: они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной..."

Дмитрий СТРЕШНЕВ

ВЕДЬМА

РАССКАЗ

Конечно, она жила в Лысом переулке. В старом доме, так похожем на собачью конуру, если только бывают собаки величиной с монета. Ее звали Фаиной. Фаина – вот действительно настоящее имя для ведьмы! Фамилия же ее была Элькинаки.

Дом, в котором жила ведьма, состоял из четырех комнат и огромной, как ангар, кухни. За стеной у ведьмы жила толстая баба-кикимора Хася Завельевна Шпицер, которую все боялись из-за бородавки-горошины на носу. А за другой стеной жил домовый Колотупо, который сам придумал и очень полюбил поговорку: "Конь о четырех ногах – да наливается". Под вечер к Колотупо иногда заглядывает еще один – не домовый, а просто нечистый Мулюкин, и тогда они устраивают маленький шабаш.

"Дзинь! Дзинь!" – звенят на кухне кастрюли.

Это – гром артиллерийской канонады. Чуть позже начинается сражение.

– А-а-а-ах!!! – грудной всхлип, как будто кто-то тянет в себя длинную макаронину.

И сразу:

– Да что же это делается! Ах, ах, сволочи!..

– Что случилось, Хася Завельевна?

– Уморить меня хотят... Погубить!..

– Да в чем дело, ради бо...

– Молчи, стерва, твоя, небось, работа! Или ведьмы твоей...

Нож летит в стол, пущенный со всей силы, и прыгает, звякнув, на пол.

– Нет, простите, Хася Завельевна, а какое пра...

– Полотенце к плите повесила суши...

– ... ведете себя, извините, как базарная хамка...

– ... а они что же, сволочи: сожгли!..

– ... и необоснованных обвинений!..

– Знаю! Знаю! Вы меня живьем съесть хотите! Комнату захватить!..

– Ну, это уж слишком!..

– Мерзавцы!

– Жирная гадина!

– Интеллигенты паршивые!

– Бородавка!

– Что! Злишься – мужика у тебя нету?!

Последний аккорд.

Мать-Элькинаки покидает поле боя, влетает в комнату, шепча:

– Стерва... Вот стерва!..

Потом строго глядит на дочь:

– А ты не трогала их полотенце?

– Да нужна мне эта кикимора! – кричит Фаина громко, чтобы слышали на кухне.

Она хватает портфель.

– Пока, мне пора в школу.

Она шла в школу, а кругом тянулись сквозь рыжее утро сизые туманы колдовского болота. Туманы тянулись со двора, где домовой Колотупо жег осенние листья.

– Кхе-хе, – жаловался он, – ох, сурово!

– Опять на вакханалии был? – сказала Фаина, независимо подвинув ногой в огонь пустую папиросную коробку.

– Где это? – спросил домовой, снова кашляя. – Чего это?

– А-а, деревня! – сказала в сердцах Фаина.

– Нехорошо ругаться, дочка, – покачал головой старый Колотупо и погладил ее по светлым волосам. – Вас власть учит, ласкает и велит стариков не забижать. А то, что водочку я потребляю часто – так то тяжелое наследие прошлого.

– А иди ты! – сказала Фаина. – Просто алкоголики вы все... вместе с твоим Мулюкиным.

Домовой Колотупо убрал шершавую ладонь с Фаининой головы и почесал в затылке.

– Вот ведь все бабы сварливые какие, – заметил он сам себе, – как Шпидериха...

– А вот и ничего подобного! – презрительно отозвалась Фаина. – У-у, ненавижу я ее!

Добрый Колотупо ничего не сказал, а только вздохнул, полез в карман замусоленного ватника, достал огурец, посмотрел на него и спрятал обратно.

– А я думала: домовые мышами закусывают, – удивилась Фаина.

– Мышом-то, – сказал Колотупо, однако видно было, что все мысли его принадлежали огурцу, – мышом... Что ж, наверное, тоже можно.

Фаина еще постояла немного возле дымящихся листьев.

– Дохлый у тебя огонь, – сказала она Колотупо, пытаясь поддержать упавший разговор.

– Дохлый... – печально согласился старик. Фаина вздохнула:

– Прощай, Колотупо.

Школьный забор щетинился зубьями, как спина Змея Горыныча. А ворота были его разинутой пастью. И эта пасть каждое утро глотала, словно дань, вереницу ранцев, бантов и челок.

Фаина встала в воротах, поставив у ног портфель.

– Здравствуй, Федюня, – сказала она проходящему мальчишке.

– Здорово, – солидно ответил Федюня.

– Дай-ка математику спишу у тебя, – сказала Фаина.

– Фигушки! – злорадно возразил Федюня и остановился, сразу весь перекосившись под тяжестью рыжего портфеля.

– Фигушки, – снова сказал он, – я списывать не даю. Я меняю.

– Сменяй на литературу, – сказала Фаина.

Федюня милостиво задумался и кивнул.

– Давай литературу...

– Дурак, она же устно! – презрительно сказала Фаина и перестала обращать на него внимание.

Потом мимо прошла красивая девочка Галя.

– Андрюшеньку ждешь? – кривляясь, спросила она. – Ведьма!

Фаина посмотрела на девочку Галю с тоскливой ненавистью. У Гали почему-то было все: красивые волосы, неисцарапанные ноги, даже собака была у Гали! А у Фаины был только воздушный шарик фантазии. Но он поднимал – этот шарик – так далеко в голубую высь, что красивая девочка Галя становилась совсем крошечной – размером с муху.

– Сгинь! – сказала Фаина.

Красивая девочка Галя фыркнула и прошла мимо.

– Жди, жди! – крикнула она напоследок с благоразумного рас-
стояния.

И Фаина ждала.

Она ждала его, как одинокий пустынный робинзон ждет призрач-
ное облако паруса на горизонте. Она ждала его, как Ярославна –
блестательного князя. Ждала, как ждет мученик своего пророка. Но
тот приходит и велит мучиться еще сильнее. Вот он. Он приближа-
ется, нисходя к недостойным его. У него светлый взгляд, пронзаю-
щий суть вещей, мягкая волна волос. Он приближается – и неслыш-
ные гимны гремят в душе, и сама она обрушивается куда-то, зады-
хаясь от падения.

Он приблизился.

Он – ее эльф.

– Здравствуй, Андрюша, – сказала Фаина.

“Эльф, эльф, подари мне крылья – и я стану самой легкой, самой
нежной бабочкой...”

– Здравствуй, – сказал Андрюша; он остановился и открыл по-
ртфель, подпирая его коленкой. – Сейчас я верну тебе книгу.

“... выбери меня своим самым прелестным цветком, милый
эльф...”

– Возьми, – протянул Андрюша Фаине расстрепанные “Копи царя
Соломона”. – Мне понравилось. Хотя против “Береговых пиратов”
это, конечно, ничего не стоит.

“... зачем же, зачем ты не хочешь сделать золушку королевой,
эльф!”

– Да, – послушно сказала Фаина, – “Пираты” – это вещь!.. По-
слушай, может, тебе еще чего-нибудь принести, а?

– Принеси, если интересное.

Из раскрытого школьного окна запилил далекий кузнечик.

– Звонок, эльф, – сказала Фаина.

– Что-что?.. – простодушно спросил Андрюша. – Кто?

– Ничего... – сказала Фаина. – Звонок, говорю.

Классный журнал кончался буквой “Э”.

– Элькинаки! – сказала Людмила Павловна.

– Здесь, – отозвалась Фаина.

Людмила Павловна строго посмотрела на нее сквозь толстые,
словно графинное стекло, очки и закрыла журнал.

– Ну, что же... – таинственно сказала она, поднимаясь из-за стола,
чтобы встать у окна в позе Наполеона Бонапарта.

– Ну, что же... – повторила она, и в голосе послышалось торжест-
вующее рокотание набегающего вала. – Сегодня, дети, мы продол-
жим изучение литературного наследия великого поэта... Федя, ко-
торого поэта мы продолжим?

Фаина почувствовала, как Федюня сзади медленно, словно пугать со дня пруда, поднялся над партой.

– Сегодня мы продолжим Пу... Пушкина.

– Садись, – сказала Людмила Павловна. – Да, дети, сегодня мы продолжим творчество Александра Сергеевича... гм... величайшего поэта. Нет такого человека, который с ранних лет до седой старости не восторгался бы чудесными строками...

Людмила Павловна закрыла глаза и с восторгом процитировала:

– Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты!.. Впрочем (тут глаза снова открылись), сегодня вы сами должны мне рассказать каждый по пушкинскому стихотворению. Не так ли?

Опрос всегда начинался либо с отличников, либо с двоечников.

– Рендовская! – выкрикнул Людмилпавловский голос, – начни наш... так сказать, утренник поэзии.

Утренник открылся зеленым дубом у Лукоморья. Потом было послание во глубину сибирских руд. Потом еще три дуба. Прозвучали также "Приветствую тебя, пустынный уголок" и наоборот: "Прощай, свободная стихия!"

Потом к столу вышла Фаина.

– "Гусар", – сказала она.

Глаза Людмилы Павловны сверкнули изумлением.

– Как, как?

– Стихотворение Пушкина "Гусар", – снова сказала Фаина.

– Как?... – спросила Людмила Павловна. – "Гу..." это... ну, ладно.

Начинай.

– "Скребницей чистил он коня, – с напором начала она "Гусара", – а сам ворчал, сердясь не в меру: "Занес же вражий дух меня на распроклятую квартиру! Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке: насипу щей пустых дадут, а уж не думай о горелке!.."

Класс смотрел на Фаину, а Фаина на меловую школьную стену между потолком и "Картой родной страны". Класс не видел, как там, над картой, вдруг появился веселый розовый гусар, а Фаина видела.

– "... Здесь на тебя, как лютый зверь, глядит хозяин, а с хозяйкой!.. Небось не выманишь за дверь ее ни честью, ни нагайкой!.."

– Довольно, – сказала Людмила Павловна.

Фаина уже набрала воздух для следующей строфы.

– Там еще, Людмила Павловна...

– Ничего, довольно, – сказала та. – Четыре, Элькинаки.

– Почему? – спросила Фаина.

Она не хотела оспаривать отметку, но вопрос вылез внезапно, сам собой. Она почувствовала, что ее обижают.

– Потому что, – веско сказала Людмила Павловна. – Потому что это стихотворение не предусмотрено хрестоматией.

Фаина опустила глаза и ковыряла пальцем учительский стол так усердно, словно нашла изюмину.

– Садись, Элькинаки.

Фаина оскорбленно мотнула головой и пошла к своему месту. Как только она села, Федюня сзади поехал животом по парте к Фаининому уху.

– Ми... мировой стих! – зашептал он, заикаясь от обилия мыслей.

– Пр... про что там дальше?

– Про ведьм, – шепнула Фаина.

– Врешь.

– А вот провалиться мне.

– Ведьмы гусара съедят?

– Дурак, – сказала Фаина.

– А что? – не отставал Федюня.

– Закарпатский! – предупредила Людмила Павловна.

Федюня проделал животом обратный путь и тут же вдохновился изобразить на промокашке гусара. Гусар получился отличный, похожий на тапира.

Потом Федюня на пальцах спросил у второго ряда, сколько осталось до звонка. Со второго ряда показали: три минуты.

– Ура!

– Да здравствуют гвардейцы кардинала!

– Ур-ра!

Федюня подобрал кривую ветку, моментально преобразившуюся в его руке в золоченую шпагу, и канул в упругие кусты школьной смородины.

Красивая девочка Галя, наклонив голову в берете, говорила отличнице Рендовской:

– Моя Джульба всегда рада, когда я прихожу – так махает хвостом!..

Весь класс прошел мимо Фаины и, наконец, из-за школьных дверей вышел Андрюша. Он никогда не торопился. Он был эльф. Он всегда смотрел голубыми глазами куда-то мимо Фаины – в небо. Может, потому они и были голубыми – его глаза? Сейчас он уйдет, а дома заберется в угол, чтобы никто не мешал, и будет читать до вечера.

Андрюша прошел мимо Фаины.

– Андрюша! – крикнула она.

Андрюша остановился.

Фаина подошла к нему.

Андрюша смотрел на нее – такой красивый! Самый красивый эльф.

– Что тебе? – спросил он.

Эльфы легкие, воздушные. Они порхают по цветкам.

– Пойдем со мной жаб ловить, – Фаина просто больше не нашла что сказать.

– Жаб? – спросил Андрюша, и лицо его покривилось. – Гадость какая. Зачем?

– Так. Без зачем. Приворотное зелье варить.

– А зелье зачем?

– Приваживать сердца, – терпеливо сказала Фаина. – Кому-нибудь подольешь такого зелья, он выпьет и – готово! – влюбился!

– В кого?

– В тебя же! – сказала Фаина.

О, пойми же эльф, пойми этот прозрачный, этот кристальнейший, как горный воздух, намек! Взгляни в серые глаза, в лицо, скривившееся в досаде на твое непонимание!

– Нет, – сказал Андрюша, – не хочу я ничего варить. Так только ведьмы делают.

– Дурак несчастный! – внезапно разозлилась Фаина, – эльфище-разэльфище! Андрюха-муха!

– А ты... А ты... – ошарашенный Андрюша тоже злится, поджимает губы, но для имени Фаина сразу трудно найти дразнилку и, только отойдя на порядочное расстояние, она слышит:

– Фаина – фашистская ми-и-ина-а!

И она полетела к лешим.

Лешие на заднем дворе играли в карты, скверно ругались и пили прямо из бутылок крепкое имбирное пиво. Увидев Фаину, они радостно закричали:

– А вот и ведьма пришла!

– Чукуладыка, дакамультыка, – сказала Фаина.

Тут леший Сашуля (Сашенц, Сашака) самым нечестным образом наколдовал себе пикового короля, за что получил по шее.

– Что ли у вас уже занятия кончились? – спросила Фаина, подсаживаясь.

– Да мы убежали! – сказали лешие, – скучнотица там: физика-ерундизика... Пива хочешь?

– Нет, – отказалась Фаина. – Не люблю я его.

Леший Карман достал пачку "Чайки", и все лешие закурили.

– Расскажи-ка нам что-нибудь, – попросили они Фаину.

– Что?

– Про Кобылью Голову опять, – сказал леший Баклан.

– В лесу она живет, – пожав плечами, произнесла Фаина, – и ходит на одной ноге...

– Как же она ходит – на одной ноге? – насмешливо спросил Сашуля. – Наверное: скачет?

– Ходит, – холодно сказала Фаина. – Представь себе: на одной ноге – и ходит. И вот однажды один мужик...

– Это мы слышали, – сказал Карман. – Может, тебя обижает кто?

– Да нет, – грустно сказала Фаина, – меня не обидишь, я – ведьма.

– А если будут обижать, ты нам только дай знать, – строго сказал Сашуля. – Мы ему морду побьем.

– И окошки пококаем, – завершил леший Баклан.

– Вот так, – сказал он, подобрал комок сухой осенней глины и со всей лешачьей силы пустил его через двор.

“Фр-р-р!..” – запел воздух.

На другом конце двора легкий ветер качал на веревке белье. Глина ударила в середину мокрой простыни и упала, окончив полет.

На простыне осталось пятно.

– Ух ты! – сказал леший Карман. – Как японский флаг!

Лешие побросали карты и принялись палить по белью. Поднялся гам.

На гам непонятно откуда вдруг выскочила сердитая баба.

– Ах, шпана! – закричала она со страшной силой. – Вы что же – в белье?! Стирали, стирали... Мерзавцы, хулиганы!..

– Вот горластая-то!.. – смущенно говорили лешие, поспешно карабкаясь на крышу сарая. – И откуда она взялась? Выскочила, как черт из-за печки... Тикай, Фаина!

– Ах, мерзавка! – голосила баба, приближаясь, – и ты с этой шпаной хороводишься! Вот я те, маленькая ведьма!..

Фаина повернулась и помчалась прочь.

Сердитая баба достигла сарая и в гневе разбила палкой оставленную непочатую бутылку пива.

– Ох, вот жизнь-то! – тосковали на крыше лешие – Сашуля и Карман с Бакланом. – Сплошной пиловый ужас!

“Ну, а я-то причем?” – обиженно думала Фаина.

Сзади кричал бабий голос:

– Маленькая ведьма!..

И в ушах у Фаины стояло несмолкающее эхо: Ведьма!.. Ведьма!..

В парке осень собрала все золото Клондайка. Осень засушила цветы и угостила ворону рябиной.

Фаина постояла и пошла по аллее, слушая, как в листьях шепчет тишина. Она ждала, когда придет Дух Сумерек. Вот он появился за кустами у нее за спиной. Фаина слышала, как он подкрадывается, желая появиться внезапно: то замирает, то делает осторожный шаг. Когда он подкрался совсем близко, Фаина обернулась.

“Здравствуй”.

“Здравствуй...”

“Я ждала тебя”.

"Я почувствовал это и пришел".

"Пойдем к пруду. Хочу посмотреть на него, пока вода не замерзла".

"Пойдем..."

Фаина медленно пошла вдоль кустов по листьям, по тишине. Дух Сумерек – большой, серый, сгорбленный – осторожно следовал за ней.

"Мне что-то грустно, милый Дух".

"Отчего же?"

"Неудачный день сегодня. Все ругаются на меня... А почему?"

"Не принимай этого близко к сердцу. Люди разные. Бывают злые и глупые. Какое тебе до них дело?"

Под горой глазам открылся пруд. От осеннего солнца пруд был синий-синий и казался глубоким-преглубоким. К гладкой воде прилипли желтые листья. Фаина остановилась, и Дух тоже остановился сзади, продолжая:

"Будь крепкой, не поддавайся людям. Собери свою волшебную силу..."

Фаина резко повернулась к нему:

"Мне надоело быть ведьмой!"

"Ведьмой... – сказал Дух, вслушиваясь в звучание слова. – Ведьмой... Люди прозвали тебя ведьмой. Но что же в этом обидного?"

"Как – что? Разве не обидное слово: "Ведьма"?"

"Послушай. Люди считают, что все должны быть похожими на них. Люди боятся нового. И если находится душа, которой тесно в застойном омуте старых представлений, то люди ополчаются на нее, тычут пальцем: ведьма! Опрокидывает отжившее – ведьма! Восстает против косности и ханжества – ведьма! Их много, этих болотных людей. Это они кричали Орлеанской деве, забывшей порядок, установленный издревле, и дерзнувшей надеть мужские доспехи: "Ведьма, ведьма, ведьма!" Как хорошо, что преподобные отцы-инквизиторы, раздувшие костер под молодым ее телом, вовремя явились верными стражами добродетели!..."

"Это было давно, в Средневековье".

"Это есть всегда. Ты еще маленькая девочка. Но постарайся никогда не растерять тот заряд непокорности и свободной мечты, которым тебя одарила природа".

"А разве можно его растерять?"

"Очень просто, – сказал Дух. – Терять всегда просто".

"Я не потеряю!"

"Спасибо, – сказала Фаина. – Я пойду, уже приходит вечер".

"Прощай", – и невидимая рука погладила Фаину по лицу.

Подождав, пока Дух исчезнет, Фаина отвела ветку и сняла со щеки паутинку.

Дома ее ждала записка от матери и приглашение на Бал Сатаны. Сначала Фаина прочла материню послание (мать учительствовала в техникуме): "Обед на плите, ешь, не сиди под форточкой".

Потом она распечатала приглашение на Бал. Приглашение (как и полагается) было написано с завитушками на красивой бумаге и всунуто в надушенный конверт. Приглашение извещало, что Бал начинается с последним лучом солнца, и просило не опаздывать. Пропуском на Бал Сатаны объявлялась книга Гоголя "Вий".

Взглянув на заходящее солнце, Фаина заторопилась на кухню.

На кухне домашней Колотупо и нечистый Мулюкин жарили колбасу. На столе томилась початая бутылка водки.

– Привет, – холодно сказала Фаина. – Где мне здесь мать жрать оставила?

– Здравствуй, дочка, – сказал старый Колотупо, – как дела?

Нечистый Мулюкин не сказал ничего.

– Идут дела, – недовольно произнесла Фаина, оскорбленная тем, что с ней не поздоровались. – Ты бы кепку в доме снял, Мулюкин.

– Цыц! – сказал Мулюкин и поводит пальцем. – Не учи старших! Фаина налила себе супу и села есть.

– Опять пьешь, Колотупо?

– Пью, – со скорбной радостью согласился старик, – грешен. Что поделаешь? Конь о четырех ногах, да напивается!

– Цыц! – снова сказал хмельной Мулюкин.

– Колотупо, – попросила Фаина, – скажи Мулюкину, чтобы не цыцкал и снял кепку.

– Ты его не обижай, дочка, – сказал Колотупо, переворачивая вилкой колбасу на сковороде. – Он и так личность обиженная.

– Обиженная, – кивнул Мулюкин. – Обиженная... – и вдруг крикнул так, что Фаина вздрогнула, испугалась:

– Да ты знаешь, какой я раньше-то был? Орел-парень! Я всю войну прошел, три ордена заслужил. Песни какие на гармонии играл!..

Потом Мулюкин покачнулся, сел за стол и горько задумался.

– Так кто же виноват-то, что ты весь огонь свой растерял? – спросил Колотупо, снимая сковороду. – Пойдем, слышь, в комнату, Петр, колбаса готовая.

Мулюкин послушно встал, подхватил бутылку и вышел в коридор.

Колотупо со сковородой задержался возле Фаины.

– Ты не обращай на него внимания, дочка. С кем не бывает... Конь вон, о четырех ногах...

– Да ты не волнуйся, Колотупо, – сказала Фаина, – я просто так. Мне его жалко. Я знаю: заряд он растерял...

– Эх-ма! – сказал Колотупо.

Бал Сатаны происходил, конечно, же на Лысой Горе. Лысая Гора находилась далеко: за беспокойной трамвайной линией, за картофельными складами. Лысая Гора господствовала над всеми свалками окраины. Раздвигая бурьян, Фаина взошла на гору. Солнце падало за горизонт; потянуло сквознячком как из холодильника. Фаина села, поджав под себя ноги. Внизу ржавели крыши города. Торопясь, пока не ушел весь свет, Фаина раскрыла книгу.

Она не успела прочитать и нескольких страниц: погасло румяное солнце – и город, испугавшись, зажег в домах маленькие лампадки. Тут же послышался свист, чернильная тень метнулась по горе: налетал Змей Горыныч. Он всегда прибывал первым – чешуйчатый и голодный. Всю ночь он будет теперь светить, высунув из двенадцати голов огненные языки. Вот Змей сел, качнув землю (интересно, что подумали в городе?). А из попухов и репейников уже прыгали нечистые – дорогие гости. Все трясли шелковыми бородами, целовали Фаине руку – фавны, черти, духи. Важно прошествовал лешак с пешачихой. А там уже – фьють! фьють! – со скрипом подъезжали ступы с ведьмами со всей области. Даже из Парижа прилетел копдун в горшке, расшаркался, заговорил по-французски, увел Фаину танцевать.

Но вдруг – замолк весь чертов гомон, исчезла музыка. Часы пробили полночь. Все замерло, и из-под земли появился клешнятый Вий. Два шкелета держали ему железные веки.

– Абракадабра! – закричали присутствующие. – Слава Повелителю.

И снова все стали веселиться, петь, танцевать. Змей Горыныч шипел от натуги, вывесив, словно на фонарных столбах, на длинных шеях красные языки пламени; ронял искры. Фаину кто-то тронул за плечо. Она обернулась. Позади стоял Дикий Кур, щурил круглый глаз сквозь пенсне.

– Каково поживаешь, Фаина? – спросил он и поднес к толстому клюву сигарку из капустных листьев.

– Хорошо, Дикий Кур, – сказала Фаина.

– Славно сегодня?

– Да, весело. Сам-то как? – спросила Фаина.

– Я – что! – махнул крылом Дикий Кур. – Живу себе помаленьку. Главное – зоб набит.

Зоб у него был тугой и круглый, как мяч, лоснился-переливался.

– Экий ты гладкий, дядя! – сказала Фаина.

Кур снова ухватил клювом сигарку, а потом спросил:

– Может, просьбы какие будут, Фаина Алексеевна?

– Баба-кикимора Шпицериха ругается очень, – сказала Фаина, – ненавижу ее, мать она расстраивает.

– Прижмем Шпицериху, – серьезно сказал Дикий Кур. – Еще что? Фаина хотела было сказать про эльфа Андриюшу, но вдруг передумала и замолчала.

– Отцу моему привет передавай, – произнесла она через минуту, – когда будешь в Мертвом царстве.

– Передам обязательно, – заверил Кур, затушил сигарку и склевал. Тут сзади к нему подбежал Анчутка, что-то горячо зашептал и увел пить стоградусную настойку на горюнь-траве.

Поздно ночью Фаина возвращалась обратно в город. Она очень боялась, что заругается мать, и Анчутка одолжил ей подвесные крылья. Крылья были точь-в-точь как у летучей мыши, но в двадцать четыре раза больше. Анчутка чертыхался, говорил, что пошло на них полторы сотни лягушачьих шуток.

Крылья хлопали и свистели, ветер рвал платье.

”Удобный у Анчутки транспорт”, – подумала Фаина.

Однако у самого дома подвесные крылья запутались в проводах. Ругаясь как пират, Фаина слезла по столбу и отправилась дальше пешком. Весь Лысый переулочек уже спал, спал и дом-конур. Только из одного окна – окна Элькинаки – сочился слабый, нездоровый свет.

Фаина осторожно вошла. Мать не спала, писала в тетрадях.

– Где это ты шаталась? – спросила она.

– Гуляла, – сказала Фаина. – Есть не хочу.

Она разделась и повесила платье на стул. Потом зевнула.

– Ты им много-то не правь, студентам, – попросила она.

– Это уж как получится, – сказала мать.

– А Шпицериху Дикий Кур обещал поприжать, – сообщила Фаина, – чтобы не ругалась. Слышишь?

– Ага... – рассеянно бормочет мать, занятая своим делом.

Рыжий свет лампы уютно нежится на подушке. Мотылек кружится над абажуром, баюкает, баюкает... Фаина лезет под одеяло.

– Мам, какого цвета был Вий?

– Наверное, черный.

– Нет, он был синий, подгнивший, – слабо говорит Фаина. – А отец боялся чертей?

– Никого твой отец не боялся: ни чертей, ни милиции, – вздохнув, отвечает мать.

– Вот и я такая же, вся в него, настоящая... – шепчет Фаина.

Она хочет сказать ”ведьма”, но только выпячивает губу и надолго задумывается о летательной метле и об эльфе Андриюше. Она гладит красивую Андриюшину голову и не слышит, как мать захлопывает последнюю тетрадь и гасит лампу.

О детстве Владимира Высоцкого написано уже немало: и воспоминания, и обобщения, и предположения, и все они, за редким исключением, внешне как будто бы правдивы и искренни, так что и не понять временами, отчего же по чтении всего этого нет-нет, да и морщишься от странного привкуса, похожего на тот, что приходит, когда объеешься медом.

Хотя, казалось бы, откуда ему взяться, ведь его детство совсем не богато событиями. Никаких особенных трагедий, за исключением разве что развода родителей, да и то произошедшего очень спокойно – без драк и скандалов.

Впрочем, судите сами.

Родился в 1938 году; отец, с началом войны, – на фронте; мать с Володей – на Урале, в эвакуации; после войны – развод родителей; в 1947 году Володя с новой семьей отца уезжает в Германию, в 1949 – возвращается в Москву; в 1955 – как раз перед окончанием школы – снова переходит жить к матери.

Вот, собственно, и все – более чем заурядно.

Что же до привкуса, то он кажется тем более странным, что опровергнуть ложь, если даже таковая и присутствует, вроде бы есть кому – почти все, кто был рядом с ним в те годы, слава богу, живы.

Лишь по размышлении понимаешь, что, видимо, такой сладкий итог их усилий – явление вполне закономерное... И, кстати сказать, предугаданное самим Высоцким, когда задолго до смерти он написал вроде бы совсем по другому поводу, но вот, спустя годы, оказалось, что по этому самому:

*Их всех, с кем знал я доброе соседство,
Свидетелями выведут на суд.*

ОБЫЧНОЕ МОЕ БОСОЕ ДЕТСТВО

Обуют и в скрижали занесут...

"Их всех" на сегодняшний день действительно обнаружили и "вывели", и все они, в основном, дружно продемонстрировали знание правил хорошего поведения на "суде". Детство Владимира Высоцкого от этого, понятно, только выиграло, став менее уязвимым для любителей дешевых сенсаций. Теперь, обутое и одетое, в классическом юбилейном варианте, оно выглядит приблизительно так:

"... К полутора годам отрасли светлые волосы, они были густые и закручивались на концах в локоны. Синие в младенчестве, а позднее серо-зеленые глаза смотрели внимательно.

Раннее детство протекало довольно спокойно. Весной мы выезжали за город, на дачу или в деревню. Остальное время жили в своей квартире, в доме "на Первой Мещанской, в конце". Замечательный был этот дом 126, недаром его воспел впоследствии поэт и актер Владимир Высоцкий в своей "Балладе о детстве". (....)

В доме была коридорная система, ранее это была гостиница "Наталис". Коридоры широкие, светлые, большая кухня с газовыми плитами, где готовились обеды, общались друг с другом хозяйки, производились стирки, в коридоре играли дети. Народ в нашем доме был в основном хороший, отзывчивый, почти в каждой семье было несколько детей. Мы тесно общались семьями, устраивали совместные обеды и чаепития, в трудные моменты не оставляли человека без внимания, случалось, и ночами дежурили по очереди у постели больного.

В праздничные дни тут же, в широкой части коридора, устраивались представления и концерты. Действующими лицами были дети. Володя тоже принимал в них участие. У него была прекрасная память, он выучивал длинные стихи, песни, частушки, прекрасно и выразительно читал их..."

Мягкая и ненавязчивая интонация этих воспоминаний настолько соответствует романтическому образу детства и настолько устраивает всех, включая и большинство читателей, что странно было бы усомниться: так ли все обстояло светло и безмятежно в действительности?

Отчего же впоследствии, взявшись писать о том времени, Высоцкий построил свою "Балладу о детстве" целиком на тюремно-лагерных ассоциациях, через которые пропущено все, начиная с факта собственного рождения:

*Ходу, думушки резвые, ходу!
Слова, строченьки милые, слова!
В первый раз получил я свободу
По указу от тридцать восьмого...*

И вплоть до размышлений о судьбах своего поколения:

*Сперва играли в "фантики".
В "пристенки" с крохоборами,
И вот ушли романтики
Из подворотен ворами.*

Рядовому читателю, действительно желающему узнать, каков был Высоцкий в детстве, не просто: ведь ему, как правило, предлагается не хроника, а картинки из жизни поэта.

В этой ситуации особое значение приобретают попытки восстановить, а главное – осмыслить хронологию событий детства. Тем более, что в творчестве Высоцкого оно сыграло роль более чем значительную.

Итак.

Одним из неожиданно значительных для нас событий ныне печально известного 1937 года стало то, что две очень непохожих жизненных линии соединились тогда в семью, которая просуществовала совсем не долго, всего четыре года, а может, и меньше, если судить по тому, что сразу после возвращения отца – Семена Владимировича – домой в 1945-м семья распалась.

Родители Высоцкого и до сих пор неохотно вспоминают о своей совместной довоенной жизни, а если и вспоминают, то в мемуарах этих друг для друга места почти не находят, что, в общем, конечно, их личное дело, но чудится за этим своя атмосфера, состав воздуха, которым дышал маленький Володя, родившийся ("получивший свободу") в 1938-м, 25 января.

Говорю об этом не для того, конечно, чтоб выставлять претензии кому бы то ни было и в чем бы то ни было, но вот уж в который раз перечитывая многочисленные воспоминания родителей Высоцкого и интервью с ними, не могу избавиться от одного и того же ощущения зябкости – так обстоятельны и размеренны они, так мало в них простого человеческого тепла. Конечно, говорю я себе, время тому виной: война, эвакуация, работа по 12 часов в сутки, практически раздельное существование с детьми, по существу – сиротство.

"А еще запомнился такой эпизод. Это в Воронцовке было... – расскажет впоследствии Нина Максимовна, вспоминая два года эвакуации, прожитые ею вместе с Володей у города Бузулук Оренбургской области, в селе Воронцовка. – Володя жил там в помещении детского сада, я работала на лесозаготовках. Виделись мы с ним редко. И вот во время одной из наших встреч он вдруг спрашивает меня: "Мама, а что такое счастье?" Я удивилась, конечно, такому взрослому вопросу, но как могла объяснила ему. Спустя некоторое время при новой нашей встрече он мне радостно сообщает: "Мамочка, сегодня у нас было счастье!" – "Какое же?" – спрашиваю я его. "Манная каша без комков".

Что-то рвется внутри, когда читаешь это, и дело, конечно, не в манной каше – спасибо, что вообще была, ведь скольким она даже и

не снилась в войну... Дело в чем-то более тонком, может быть, как раз в том, что малыш вдруг задается настолько взрослым вопросом: "Мама, а что такое счастье?.."

Какой холод и неустройство должны быть вокруг, чтоб этот вопрос мог родиться в детской душе, и не просто родиться, но задержаться там и жить, и расти, и вырасти, наконец, до ответа. Ведь вопросу этому должна предшествовать жалость к самому себе – человек обязательно должен пожалеть себя, прежде чем у него возникнет мысль о счастье. Но дети не жалеют себя осознанно. Чтоб это произошло, помимо внешних, пусть даже очень тяжелых условий, выпавших на долю ребенка, у него должна быть еще и чрезвычайно тонкая душевная организация.

С годами В.Высоцкий, как и положено, многое научился скрывать в себе от посторонних глаз, но в детстве все мы много доверчивей, и оттого особой значимостью, на мой взгляд, обладает следующий случай, рассказанный Н.М.Высоцкой: "... однажды мальчишкой он смотрел кинофильм "Белый клык" по Джеку Лондону, и когда я спросила, интересна ли была картина, он ответил одним словом: "Жалостная..." и голос его дрожал. Рассказывать о фильме он не стал, но чувствовалось, что все виденное запало глубоко в его душу".

Душевная организация Высоцкого была настолько тонка, что, кажется, его душевные реакции замыкались не на сознание, как обычно, а накоротко, без предохранителей, на физиологию. Поэтому то, что для обычных детей оказывалось проходными житейскими эпизодами, для него могло стать глубокой внутренней драмой с непредсказуемыми последствиями.

И развод родителей – повторный, сразу же после войны раскол едва успевшего соединиться мира – для детской души, конечно, был катастрофой, а решение о том, что Володя уедет с отцом в Германию, где тому назначено было служить, то есть расстанется с матерью – усугублением происшедшего. Хотя, следуя обычной житейской логике, можно сказать абсолютно уверенно: решение было правильным – в Москве стоял голод.

И все же: "Я хорошо помню его самый первый день в этой квартире, – рассказывала Лидия Николаевна Сарнова, племянница Евгении Степановны Высоцкой, мачехи Володи. – Это было в 1947 году, когда семья Высоцких собралась ехать в Германию, а Семен Владимирович привел Володю в наш дом. Пришел маленький мальчик с выщипанными волосами... Я хорошо помню, что у стены стоял стул. Володя сел на этот стул, и ножки его не доставали до пола. Он немного стеснялся и сидел очень тихо. Все-таки первый раз в незнакомом доме. Семена Владимировича он, конечно, знал (хотя думаю, тоже не слишком. – Е.К.) а больше никого. Евгения Степановна помчалась, приготовила яичницу. Я спросила: "Как тебя зовут, мальчик?" Он тихо ответил: "Володя".

Замкнутость Высоцкого, самоустранение из ситуации в моменты душевного смятения и неприятия происшедшего – одна из тех характерных черт, которые сохранились у него на всю жизнь. И много лет спустя, попадая в чуждую для него обстановку или вынужденный общаться с неприятными людьми, он вел себя абсолютно так же: выключался, вяло и неохотно поддерживал беседу, становился тих и незаметен.

В детстве, впрочем, душевные раны затягиваются быстро, и уже год спустя, летом 1948-го, когда Высоцкие приехали в Баку, чтобы провести там отпуск, мир, расколовшийся было для Володи после развода родителей и перехода в новую семью отца, кажется, снова обрел свою цельность, причем, я думаю, что немалую роль здесь сыграла Евгения Степановна. Не случайно Высоцкий до последних дней относился к ней очень нежно, как будто в благодарность за те давние годы, когда она одна поддержала его, ведь в той обстановке у отца вряд ли было много времени для занятий с сыном. Евгения Степановна сумела стать для Володи матерью действительно доброй, чуткой и внимательной, но иногда мне кажется, что лучше бы этого не случилось. Потому что пребывание в Германии рано или поздно должно было закончиться, и в конце концов закончилось, а это означало в числе прочего и то, что нужно было возвращаться в Москву, где жила Нина Максимовна.

Мы часто смеемся над тем, как говорят дети, с удовольствием пересказываем словечки, слетевшие с их языков, долгие годы помним фразы, произнесенные ими, записываем, даже складываем из этих фраз книги, но, проделывая все это, как правило, мы не даем себе труда спросить: а почему так говорят дети?

Между тем ответ очевиден, а большинству даже известен – ведь не секрет, что мир, к которому мы притерпелись, вовсе не так разумен, как нам бы хотелось, и мы, неспособные переделать его, предпочитаем, по возможности, не замечать того, что нас не устраивает в нем, увеличивая тем самым степень его абсурдности. Власти же в мир, чтобы ощутить себя здесь, "как дома"... Порой это так и не получается у нас. Не мудрено поэтому, что дети, еще не овладевшие искусством "перехода" реальной действительности в якобы разумную, нет-нет, да и огорошивают нас бузыскусными трактовками происходящего, которые, на наш просвещенный взгляд, конечно, смешны и абсурдны, а на самом деле вполне адекватны миру.

Я это только к тому, что возвращение Высоцкого насовсем в Москву в 1948 году, думаю, поставило перед ним, уже довольно взрослым мальчиком, немало проблем – просто, кажется, из ничего перед ним выпорхнул совершенно иной, незнакомый мир, который отныне должен был стать его домом, и мир этот был, пожалуй, еще более нелеп и абсурден, чем прежний. теперь распадающийся на глазах.

"Когда мы вернулись домой, в Москву, – рассказывала Евгения

Степановна Высоцкая, – я объяснила Володе: "У тебя, Володя, есть мама, а я жена твоего папы". На что он ответил: "У меня ведь три бабушки, почему же не может быть две мамы?"

Тогда он еще, по всей видимости, не представлял себе, что в новом мире, куда он вступил одиннадцати лет от роду, на некоторое время у него будет еще и два папы. Он, впрочем, притерпелся и к этому – дети ведь, в отличие от взрослых, до последнего, что называется, стремятся принять окружающую их реальность в ее "натуральном" виде, даже не помышляя о переделке ее, полагая, что это они не подходят к реальности, в то время как все, конечно, наоборот.

По возвращении в Москву Володя не сразу перешел жить к Нине Максимовне. Случилось это только через шесть лет, в 1955 году, когда старый дом на Первой Мещанской, в котором она жила по-прежнему, определили под снос, и следовало думать о том, каких размеров будет новая жилплощадь – дело житейское, что тут сказать...

Скажу только, что в сентябре 1949 года Семен Владимирович получил назначение в Киевский военный округ, куда и отбыл для прохождения службы, оставив сына с мачехой в Москве на четыре года, вплоть до 1953-го...

Ситуация крайне щекотливая, комментировать ее трудно, поэтому промолчу, воспользовавшись фрагментом книги А.Демидовой, которая описала ее с присущей ей женским тактом.

"Евгения Степановна, – пишет А.Демидова, – часто и надолго уезжала к мужу, Володя оставался один или со случайно захваченными родственниками, иногда уходил к матери на 1-ю Мещанскую, но там был совсем уже чужой человек – дядя Жора, муж матери – и Володя опять возвращался на Большой Каретный. Выручали друзья – он подолгу жил то у Володи Акимова, то у Лени Кочаряна..."

Плохое детство – это, конечно, разговор прежде всего не о детях, а о родителях, но и в таком разговоре хотелось бы остаться на стороне детей, в данном случае одного из них, по имени Владимир Высоцкий.

Та свистопляска, та скачка с переменной мест, родных и близких, которую затеяли взрослые, как водится, раньше всего казалась на ребенке. До самого конца своих дней он так и не сумел выйти из нее, хотя временами прикладывал к тому просто нечеловеческие усилия, то ускоряя, то замедляя бег, то стремясь попасть в общий ритм, то переходя на иноходь – хрипел, дико косил по сторонам, падал, вновь поднимался и не умел выйти из скачки.

Модель жизни, заложенная в детстве, определила модель мироздания "по Высоцкому" и вывела законы его отношений с этим мирозданием.

Так ветка, надломленная в самом начале своего роста, потом прирастает и снова тянется ввысь, однако метка от прежнего излома уже неизгладима в ней.

Но иначе это была бы другая ветка.

Наследие Владимира Высоцкого у нас в стране опубликовано далеко не полностью, хотя со смерти поэта прошло вот уже 10 лет... И сегодня, как это часто бывало прежде, в отношении к своей собственной культуре нам приходится равняться, увы, на зарубежье – в США, а не в СССР в 1988 году увидело свет наиболее полное трехтомное собрание сочинений В.Высоцкого.

Третий том этого собрания составлен из завершенных и незавершенных стихотворений, отдельных фрагментов и черновых набросков, которые и по сей час малоизвестны, а то и вовсе неизвестны широко.

Редакция предлагает своим читателям заглянуть в этот том.

НЕУЖЕЛИ МЫ ЗАПЕРТЫ

*Неужели мы заперты в замкнутый круг?
Неужели спасет только чудо?
У меня в этот день все валилось из рук,
И не к счастью билась посуда.*

*Ну, пожалуйста, не уезжай
Насовсем! Постарайся вернуться!
Осторожно, не резко бокалы сближай –
Разобьются!*

*Рассвело! Стало ясно – уйдешь по росе.
Вижу я, что не можешь иначе.*





*Что всегда лишь в конце длинных рельс и шоссе
Гнезда вьют эти птицы удачи.*

*Но, пожалуйста, не уезжай
Насовсем! Постарайся вернуться!
Осторожно, не резко бокалы сближай –
Разобьются!*

*Не сожгу кораблей, не гореть и мостам.
Мне бы только набраться терпенья.
Но хотелось бы мне, чтобы здесь, а не там
Обитало твое вдохновенье!*

*Ты, пожалуйста, не уезжай
Насовсем! Постарайся вернуться!
Осторожно, не резко бокалы сближай –
Разобьются!*

ЧАЙКА

*Реет над темно-синей волной неприметная стайка.
Грустно, но у меня в этой стае попутчиков нет.
Низко лечу, отдельно от всех, одинокая чайка,
И скользит подо мной спутник преданный мой – это мой силуэт.*

*Но слабеет, слабеет крыло,
Я снижаюсь все ниже и ниже,
Я уже отраженья не вижу –
Море тайною заволокло.*

*Силы оставят тело мое – и в соленую пыль я
Брошу свой обессиленный и исстрадавшийся труп.
Крылья уже над самой водой – мои белые крылья,
А этот соленый ветер играет со мной, беспощаден и груб.*

*Неужели никто не придет
Чтобы рядом лететь с белой птицей,
Неужели никто не решится,
Неужели никто не спасет!*

*Ветер, скрипач безумный, прощальную песнь сыграй нам,
Скоро погаснет солнце, и спутник мой станет незрим.
Чайка влетит в пучину навек к неразгаданным тайнам
И тогда наконец-то сольется с силуэтом своим.*

*Бьется сердце под левым плечом,
Я спускаюсь все ниже и ниже,*

*Но уже я спасителя вижу:
Это ангел с заветным ключом.*

*Рядом летит невидимо он, незаметно – но рядом,
Вместе – в волшебном дальнем гнездовье ищем жилье.
Больше к холодной мутной воде мне снижаться не надо
Мы вдвоем, нет причины в пучине искать отраженья свое.*

*Слева бесы, справа бесы,
Нет! По-новой мне налеи!
Эти с нар, а эти с кресел –
Не поймешь, какие злей.*

*Дух мужчины – разрушенье,
Дышит силой роковой.
В необузданном стремленьи
Он проносится грозой.*

*И куда, в какие дали,
На какой еще маршрут,
Нас с тобою эти врали
По этапу поведут.*

*Разрушает он сурово
Совершенный им же труд,
Вечно гидрой стоголовой
В нем желанья растут.*

*Ну, а нам что остается?
Дескать, горе не беда?
Пей, дружище, если пьется,
Все пустыми – невода.*

*Женские души – отзывчиво юны,
Словно от ветра – Золоты струны,
Дивно трепещут. Вздывается грудь
Нежным участием при виде стра-
данья.
Кроткие очи слезой состраданья,
Райской слезою готовы блеснуть.*

*Что искать нам в этой жизни?
Править к пристани какой?
Ну-ка, солнце, ярче брызни!
Со святыми упокой...*

*Давайте я спою вам в подражанье радиопам,
Глухим скрипучим тембром из-за тупой иглы.
Пластиночкой на ребрах в оформленьи невеселом,
Какими торговали пацаны из-под полы.*

*Сидят больные легкие в грудной и тесной клетке –
Рентгеновские снимки – смерть на черно-белом фоне.
Разбалтывают пленочки о трудной пятiletке,
И продлевают жизнь себе, вертясь на патефоне.*

*Ну, например, о лете, которого не будет,
Ну, например, о доме, что быстро догорел,
Ну, например, о брате, которого осудят,
О мальчишке, которому расстрел за самострел.*

ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО

*Всю туманную серую краску,
Как волшебник, швырни в решето,
Расскажи мне красивую сказку
Ни про что...*

*Ты сожми мне покрепче запястье,
И веди через все этажи,
Два бокала минутного счастья
Закажи.*

Правда, эти напитки нестойки...

*Заходи!
Забудь за дверью грусть!
Заплати!*

*А я за все берусь.
Потерпи – уйду ненадолго,
Допою и сразу вернусь.*

*Слова мои невинны
И шутки так легки.
Усталые мужчины –
Такие шутники!*

*Попробуйте забыть,ся,
Не думать о дурном.
Оставьте злые лица
У входа в этот дом.*

*Оставьте боли и заботы
Своему врагу!
Я в этом охотно
Помогу!*

*Как строги вы и чинны –
Завянешь от тоски!
Усталые мужчины –
Плохие шутники!*

*Не пейте лишнего ни йоты,
Лишь для куражу.
Тогда я вам что-то
Расскажу.*

*Очень жаль – но я не пью вина.
Продолжай – а я и так пьяна!
Так и быть, я завтра забуду,
Что была в тебя влюблена.*

*Вам не к лицу морщины –
Как фрак на мертвеце!
Но, видя вас, мужчины
Меняются в лице.*

*Про наши нежные расчеты
Дома – ни гу-гу!
Я в этом вам охотно
Помогу.*

*Грешны ли мы, невинны –
Какие пустяки!
Усталые мужчины –
Такие шутники!*

*У кого на душе
только легкая грусть,
Из папье-маше – это легкий груз.
Знаете,*

*может быть, правы те,
Кто недоверчиво так усмехается:
Свадьбами*

*дел не поправить.
Что-то испортилось, что-то ушло,
И шитье расползается.*

Публикацию составил
Евгений КАНЧУКОВ

ЗАРУБЕЖНАЯ
ФАНТАСТИКА

Роберт А. ХАЙНЛАЙН

ГРАЖДАНИН ГАЛАКТИКИ

РОМАН

Перевод
с английского
Илана ПОЛОЦКА

ГЛАВА 1

— Предмет девяносто семь, — объявил аукционер. — Мальчик.

Мальчик был растерян и испытывал тошноту от ощущения почвы под ногами. Корабль оставил за кормой больше сорока световых лет, неся в своих трюмах вонь работоторговли, испарения скученных невымытых тел, ужас, блевотину и древнюю печаль. Но мальчик выделялся даже и в этой сумятице — он завоевал себе право на каждодневную порцию пищи, он дрался за то, чтобы спокойно есть ее. Он даже обрел друзей.

А теперь он снова был никто и ничто — предмет на продажу.

Только что был продан предыдущий номер, две симпатичные блондинки, смахивающие на близнецов; цена была высока, но продали их быстро. С улыбкой удовлетворения на лице аукционер повернулся и ткнул в мальчика: "Предмет девяносто семь. Вытащите его наверх".

Подталкиваемый тычками, мальчик поднялся на платформу и застыл в напряжении, взглядом дикого зверя осматривая все, что было недоступно его взгляду из клетки. Рабовладельческий рынок располагался в той стороне космопорта, где лежала знаменитая Площадь





Рисунки Михаила РОМАДИНА

Свободы, увенчанная холмом, на котором стоял еще более знаменитый Президиум Саргона, столицы Девяти Миров. Мальчик не узнал его; он даже не знал, на какой планете находится. Он смотрел на толпу.

Ближе всех к загону для рабов располагались бродяги и попрошайки, готовые криками поддержать любого покупателя, когда тот объявлял о своем приобретении. За ними полукругом стояли места для богатой и привилегированной публики. С обеих сторон это избранное общество ждали их рабы, носильщики, телохранители и водители, слоняясь между машинами, паланкинами и портшезами тех, кто был еще богаче. За лордами и леди толпились обыватели, бездельники, карманники, продавцы прохладительных напитков и просто любопытствующие — мелкие торговцы, клерки, механики и даже домашние слуги со своими женами, не обладавшие правами на сидячие места, но интересующиеся ходом аукциона.

— Итак, предмет девяносто семь, — повторил аукционер. — Прекрасный здоровый парень, годен на роль пажа или помощника. Представьте, лорды и леди, как ему подойдет ливрея вашего дома. Посмотрите на... — его последние слова потонули в грохоте и реве корабля, садящегося на площадку космопорта.

Старый, скрюченный и полуголый попрошайка Баслим Калека прищурил один глаз, оценивая еще глядя на платформу. Мальчик отнюдь не походил на прилежного домашнего слугу для Баслима; он был похож на пойманного дикого зверька — грязный, костлявый и в ссадинах. Под

слоем грязи проглядывали белые полосы шрамов, которые говорили, какого мнения были о мальчишке прежние владельцы.

Глаза мальчика и форма его ушей заставили Баслима предположить, что его потомками были земляне, которых не коснулись мутации; но утверждать это с уверенностью было трудно, потому что мальчик был мал. Он почувствовал, что бродяга смотрит не него, и бросил ответный взгляд.

Грохот смолк, и здоровый щеголь, сидящий в первом ряду, лениво махнул платком аукционеру: "Не теряй времени, болтун. Покажи нам нечто вроде предыдущего номера".

— Прошу прощения, благородный сэръ. Я должен вести торг по порядку номеров каталога.

— Тогда кончай с ним! Или гони этого тощего шалопаю и покажи нам что-нибудь стоящее.

— Вы очень любезны, милорд, — аукционер возвысил голос. — Ко мне поступила просьба поторапливаться, и я уверен, что мои благородные работодатели согласятся с ней. Позволю себе быть совершенно откровенным. Этот прекрасный парень еще молод; его новый владелец должен будет обучать его. Тем не менее... — Мальчик еле слышал его и смутно понимал, о чем идет речь. Он смотрел поверх голов леди в вуалях и элегантных мужчин, прикидывая, кто из них преподнесет ему новые проблемы.

— .. низкая начальная цена сулит быстрое завершение торга. Кто больше? Услышу ли я двадцать стелларов?

Молчание становилось томительным. Женщина, стройная и увешанная драгоценностями от сандалий до прикрытого вуалью лица, нагнулась к щеголю, что-то шепнула ему и захихикала. Нахмурившись, он вытащил кинжал и стал чистить ногти.

— Я сказал, что с этим пора кончать, — проворчал он.

Аукционер вздохнул:

— Я попросил бы вас не забывать, почтеннейшая публика, что я отвечаю перед своими патронами. Но мы можем начать с еще более низкой цены. Десять стелларов — да, я сказал — десять стелларов. Фантастично!

Он с изумлением огляделся.

— Или я оглох? Неужели кто-то поднял палец, а я проглядел? Подумайте, прошу вас. Перед вами стоит свежее молодое существо, напоминающее чистый лист бумаги; вы можете написать на нем все, что захотите. За эту невероятно низкую цену вы можете вырезать ему язык или вообще сделать из него вазу, что вам заблагорассудится.

— Или скормить его рыбам!

— Или скормить его... о, да вы остряк, благородный сэръ!

— Мне надоело. С чего вы взяли, что это грустное зрелище вообще что-то стоит? Он, может быть, ваш сын?

Аукционер выдавил из себя улыбку.

— Я был бы горд, будь это так. Я хотел бы, с вашего разрешения, поведать о предках этого юноши...

— Значит, вы о них ничего не знаете...

— Хотя на моих устах лежит печать молчания, я хотел бы указать на форму его черепа, на законченные круглые очертания его ушей. — Зашипнув ухо мальчика, аукционер подтащил его поближе.

Мальчик извернулся и укусил его за руку. Толпа захохотала.

Мужчина отдернул руку.

— Бойкий парень. Его излечит только ременная плетка. Отличный товар — вы только посмотрите на его уши. Лучшие в Галактике, можно сказать.

Аукционер кое-чего не предусмотрел: молодой щеголь был родом с Синдона IV. Он сдвинул свой шлем, обнажив типичные синдониианские уши, длинные, волосатые и остроконечные. Он наклонился вперед и его уши зашевелились: "Кто твой благородный покровитель?"

Старый бродяга Баслим подполз ближе к углу загона, готовый мгновенно нырнуть в толпу. Мальчик напрягся и стал оглядываться, не понимая причин возникшей суматохи. Аукционер смертельно побледнел — никто не мог себе позволить насмеяться над синдониианином... во всяком случае, больше одного раза.

— Милорд, — выдохнул он, — вы меня не поняли.

— Повтори-ка еще раз свою шуточку относительно "ушей" и "отличного товара".

Полиция была в поле зрения, но не очень близко. Аукционер вытер мокрые губы.

— Смилюйтесь, благородный лорд. Мои дети голодают. Я всего лишь сказал, что обычно говорят — это не мое мнение. Я хотел лишь поскорее продать этот товар... как вы сами указывали.

Молчание было нарушено женским голосом:

— Ох, да оставь ты его в покое, Дваролл. Он не отвечает за то, какие у рабов уши; он должен лишь поскорее продать их.

Синдониианин тяжело перевел дыхание:

— Так продавай же его!

Аукционер набрал воздуха в грудь:

— Да, милорд! — Собравшись с силами, он продолжил. — Прошу прощения у лордов и леди, что мы теряем время из-за столь незначительной суммы. Теперь я прошу о любой цене.

Подождав, он сказал, нервничая:

— Я не слышу и не вижу предложений. Предложений нет — раз... и если их не поступит, я буду вынужден снять этот номер с продажи и прежде, чем продолжить аукцион, проконсультироваться с моими патронами. Нет предложений — два! У нас множество прекрасных образцов товара; просто позор, если их никто не увидит. Нет предложений — три...

— Вот оно, твоё предложение, — сказал синдониианин.

— Что? — Старый бродяга поднял два пальца. Аукционер посмотрел на него. — Это вы предлагаете цену?

— Да, — проскрипел бродяга, — если лорды и леди не имеют ничего против.

Аукционер посмотрел на полукруг сидячих мест. Кто-то оттуда крикнул:

— А почему бы и нет? Деньги — это деньги.

Синдонианин кивнул; аукционер быстро спросил:

— Итак, вы даете два стеллара за этого мальчика?

— Нет, нет, нет! — вскричал Баслим. — Два минима!

Аукционер замахнулся на него; бродяга отдернул голову.

— Пошел вон! — закричал аукционер. — Я научу тебя, как насмеяться над своими благодетелями!

— Аукционер!

— Сэр? Да, милорд!

— Вы сказали — я прошу о любой цене. Продайте ему мальчишку.

— Но...

— Вы слышали, что я сказал.

— Милорд, я не могу продать после лишь одного предложения. Закон гласит ясно: одно предложение — это не аукцион. Даже два, если аукционер не объявил нижнюю цену. Без минимальной цены я не могу продать раньше, чем поступят три предложения. Этот закон, благородный сэр, направлен на защиту владельцев, а не меня, несчастного.

Кто-то крикнул:

— Таков закон!

Синдонианин нахмурился:

— Так объявляйте же предложение!

— Как пожелают лорды и леди. — Аукционер повернулся к толпе.

— Предмет девяносто семь. Я слышал предложение в два минима. Кто даст четыре?

— Четыре, — промолвил синдонианин.

— Пять! — выкрикнул голос.

Синдонианин лодозвал бродягу. Опираясь на руки и на одно колено, волоча культю и подтягивая мешающую ему чашку для сбора подаяния, Баслим подполз к нему. Аукционер начал повышать голос.

— Идет за пять минимов раз... за пять минимов два...

— Шесть, — рявкнул синдонианин; бросив взгляд в миску попрошайки, он порывлся в кошельке и бросил ему горсть мелочи.

— Я слышал шесть. Услышу ли я семь?

— Семь, — прохрипел Баслим.

— Мне предложено семь. Вот вы там, наверху, что подняли палец. Вы предлагаете восемь?

— Девять! — перебил бродяга.

Аукционер бросил взгляд, но предложение принял. Цена приближалась к одному стеллару, и это было слишком дорого для шуток из толпы. Лорды и леди то ли не хотели торговаться из-за бесполезного раба, то ли не желали вмешиваться в игру синдонианина.

Аукционер снова завел речитатив.

— Идет за девять — раз... идет за девять два... идет в третий раз — продано за девять минимов! — Он толкнул мальчика с платформы прямо в руки бродяги. — Бери его и убирайся.

— Полегче, — остановил его синдонианин. — Документы о продаже.

Взяв себя в руки, аукционер получил плату и вручил новому владельцу бумагу, уже заготовленную для номера девяносто семь. Баслим заплатил больше, чем девять минимое — лишь благодаря помощи синдонианина у него оказались средства уплатить и налог, который был выше продажной цены. Мальчик неподвижно сидел рядом. Он уже знал, что снова продан, и теперь старался уяснить, кто этот старик, его новый хозяин, хотя это его не волновало; ему никто не был нужен. И пока все были заняты расчетами, он сделал рывок в сторону.

Не глядя на него, бродяга вытянул длинную руку, поймал его за щиколотку и подтащил к себе. Затем Баслим с трудом встал и, положив одну руку мальчику на плечо, превратил его в подобие костыля. Мальчик почувствовал, как костлявая рука цепко и сильно схватила его за локоть, и расслабился перед лицом неизбежности — придет и другое время; оно всегда приходит, если ты умеешь ждать.

Опираясь на него, бродяга с достоинством выпрямился.

— Милорд, — хрипло сказал он, — я и мой слуга благодарим вас.

— Пустяки, пустяки, — синдонианин рассеянно отмахнулся платком.

От Площади Свободы до дыры, в которой жил Баслим, было около полумили, но этот путь отнял у них времени больше, чем можно было предполагать. Используя мальчика в качестве недостающей ноги, Баслим, ковыляя, передвигался еще медленнее, чем на двух руках и одной ноге, то и дело останавливаясь: подволакивая ногу, старик заставлял мальчика совать чашку для подаяний под нос всем прохожим.

Баслиму приходилось молчать. Он было попробовал пустить в ход Интерлингву, космо-голландский, саргонесский, полдюжины местных говоров, кухонный городской, жаргон рабов и речь торговцев — даже Системный Английский — и все без результата, хотя он догадывался, что мальчишка понимает его более чем хорошо. Затем он бросил попытки и излагал свои намерения на языке жестов, подкрепляя их парой тычков. Если он с мальчишкой не найдет общего языка, ему придется учить его — но все в свое время, все в свое время. Баслим не спешил. Баслим никогда не спешил, он смотрел далеко вперед.

Его жилище располагалось под старым амфитеатром. Когда Саргон Августус решил в честь империи воздвигнуть новый большой цирк, была разрушена только часть старого; работы были прерваны Второй Цетанской войной и никогда больше не возобновлялись. Баслим вел мальчика среди этих руин. Идти было нелегко, и старик был вынужден согнуться в три погибели, но руки он не отпускал. Порой он придерживал своего спутника только за одежду; и тот чуть не вырвался от него, оставив в его руках клочок туники, но бродяга успел ухватить его за кисть. После этого они стали двигаться еще медленнее.

В конце полуразрушенного прохода они спустились в темную дыру, и мальчику пришлось идти первым. Перебравшись через обломки и пройдя между куч щебня, они вошли в непроглядно темный, но чистый коридор. Дальше вниз... и они очутились в одном из бывших помещений амфитеатра, как раз под старой ареной.

В темноте они подошли к тщательно завешенной двери. Следуя за

мальчиком, Баслим подтолкнул его и закрыл дверь, для чего приложил палец к дактило-ключу; вспыхнул свет.

— Ну вот, парень, мы и дома.

Мальчик огляделся. Давно уже он привык ничему не удивляться. Но то, что предстало его взору, меньше всего походило на то, что он ожидал увидеть. Перед ним была небольшая современная жилая комната, аккуратная и чистая. Плафоны с потолка лили мягкий свет, не дававший теней. Мебели было немного, но предметы подходили один к одному. Мальчик с изумлением озирался: как бы бедно здесь ни было, все равно это было куда лучше того, где ему, как он помнил, приходилось жить.

Бродяга, отпустив его плечо, ухватился за полку, поставил чашку и вынул из шкафа нечто непонятное. И лишь когда сбросил свои лохмотья и приладил на место эту штуку, мальчик увидел, что это такое: искусственная нога, так хорошо сделанная и подогнанная, что вполне заменяла конечность из плоти и крови. Человек поднялся, вынул из шкафа брюки, натянул их и теперь уже не походил на калеку.

— Иди сюда, — сказал он на Интерлингве.

Мальчик не двинулся. Баслим повторил приглашение на нескольких языках, пожал плечами, взял мальчика за руку и ввел его в комнатку, что размещалась сзади. Она была невелика и объединяла кухню и ванную; Баслим наполнил водой тазик, дал мальчику кусок мыла и сказал: "Мойся". Жестами он дал понять, что надо делать.

Мальчик с немой упрямством продолжал стоять. Старик вздохнул, взял щетку, годную, скорее, для мытья полов и сделал вид, что трет ему спину. Когда жесткая щетина коснулась его кожи, он остановился и повторил: "Прими ванну. Помойся", пустив в ход Интерлингву и Системный Английский.

Помедлив, мальчик сбросил свои лохмотья и медленно стал намыливать.

— Вот так-то лучше, — сказал Баслим. Взяв почти истлевшие лохмотья, он бросил их в бак для стирки, положил на видное место полотенце и стал готовить еду.

Когда через несколько минут он повернулся, мальчика уже не было.

Не торопясь, он зашел в жилую комнату и нашел мальчишку, голого и мокрого, который тщетно пытался открыть входную дверь. Мальчик увидел его, но лишь удвоил свои тщетные усилия. Баслим хлопнул его по плечу и ткнул пальцем за спину:

— Кончай мыться.

Отвернувшись от него, он увидел, что мальчик побрел за ним. После того, как тот помылся и вытерся, Баслим поставил на огонь жаркое, повернув тумблер на "кипение", а затем, открыв шкаф, вынул из него бутылку и клочок ваты. Вымытый, мальчик теперь представлял собой собрание старых и новых шрамов и синяков, следов неизбывного горя.

— Успокойся, — сказал Баслим.

Лекарство жгло; мальчик с шипением втянул воздух сквозь зубы.

— Успокойся! — вежливо, но твердо сказал Баслим и шлепнул его. Мальчик расслабился, напрягаясь только, когда лекарство касалось

кожи. Мужчина внимательно рассмотрел старую язву на колене мальчика. Что-то мурлыкая про себя, он снова подошел к шкафу и, вернувшись, сделал укол в ягодицу, предупредив мальчишку, что оторвет ему голову, если тот не будет вести себя спокойно. Сделав это, он нашел другую одежду и, предложив мальчику накинуть ее на себя, вернулся к плите.

Наконец Баслим поставил большую миску с тушеным мясом на стол в жилой комнате, предварительно передвинув стулья и стол так, чтобы мальчик мог спокойно устроиться. К угощению он добавил горсть свежей зеленой чечевицы и пару кусков сельского хлеба, черного и твердого.

— Налегай, парень. Берись за дело.

Не притрагиваясь к еде, мальчик занял место на кончике стула, готовый каждую секунду сорваться с места.

Баслим перестал есть.

— В чем дело? — Он увидел, как глаза мальчика метнулись в сторону от двери. — А, вот оно что, — он тяжело поднялся, подтянув под себя искусственную ногу и, подойдя к дверям, прижал палец к замку:

— Дверь не заперта, — сказал он. — Или ешь свой обед или убирайся. — Он повторил эти слова на несколько различных ладов. Ему показалось, что он уловил намек на понимание, когда пустил в ход язык, который, как он предположил, должен был быть родным для этого раба.

Но Баслим предоставил событиям идти своим чередом. Вернувшись к столу, он удобно расположился на стуле и взялся за ложку.

То же сделал и мальчик, но внезапно, сорвавшись с места, кинулся к двери. Баслим продолжал есть. Дверь оставалась полуоткрытой, и через ее щель в лабиринт подавала полоска света.

Несколько позже, когда Баслим, не торопясь, закончил обед, он уже с уверенностью знал, что мальчик наблюдает за ним. Избегая смотреть в ту сторону, он откинулся на спинку стула и принялся ковырять в зубах. Не поворачиваясь, он сказал на языке, который, как он предполагал, был родным для мальчика.

— Ты собираешься заканчивать свой обед? Или мне его выкидывать?

Мальчик не отвечал.

— Отлично, — продолжил Баслим, — если ты не хочешь, мне придется закрыть двери. Я не могу рисковать, нельзя чтобы из нее падал свет. — Он медленно поднялся, подошел к дверям и начал закрывать их. — В последний раз, — объявил он. — На ночь я их закрываю.

Когда дверь была почти закрыта, мальчик пискнул.

— Подожди! — сказал на том языке, которого Баслим и ждал, и скользнул внутрь.

— Добро пожаловать, — мягко сказал Баслим. — На тот случай, если ты изменишь намерения, я оставлю дверь открытой. — Он вздохнул. — Будь я волен в своих желаниях, вообще бы никого не запираю.

Мальчик ничего не сказал, но сев, склонился над пищей и принялся пожирать ее со звериной жадностью, словно боялся, что отнимут. Глаза

его шныряли по сторонам. Баслим сидел, наблюдая за ним.

Ел он теперь медленнее, но пока с тарелки не исчез последний кусок мяса, последняя крошка хлеба, пока не была проглочена последняя чечевичинка, он не переставал жевать и глотать. Последние куски он проталкивал в себя уже с трудом, но, сделав это, выпрямился, посмотрел Баслиму в глаза и застенчиво улыбнулся. Баслим ответил ему ответной улыбкой.

Внезапно мальчик побледнел, затем лицо его позеленело. Из угла рта безвольно потянулась струйка жидкости и он почти потерял сознание.

Баслим кинулся к нему.

— Звезды небесные, ну я и идиот! — воскликнул он на своем родном языке. Бросившись на кухню, он вернулся с тряпкой и ведром, вытер лицо мальчика и, прикрикнув на него, чтобы тот успокоился, протер пол.

Несколько погодя Баслим поставил на стол куда меньшую порцию — только бульон и пару кусков хлеба.

— Замочи хлеб и поешь.

— Лучше не надо.

— Поешь. Больше тебе не будет плохо. Видя, как у тебя спереди просвечивает позвоночник, я должен был догадаться, что к чему, вместо того, чтобы давать тебе порцию взрослого человека. Но ешь медленно.

Мальчик посмотрел на него снизу вверх и его подбородок задрожал. Затем он взял маленькую ложку. Баслим смотрел на него, пока тот не покончил с бульоном и с большей частью хлеба.

— Отлично, — сказал он наконец. — Я отправляюсь спать, парень. Кстати, как тебя зовут?

Мальчик помедлил.

— Торби.

— Торби — отличное имя. Ты можешь звать меня папой. Спокойной ночи. — Он отстегнул искусственную ногу, отложил ее в сторону и, придерживаясь за полки, добрался до кровати. Она стояла в углу, простая крестьянская кровать с твердым матрасом. Баслим примостился ближе к стене, чтобы оставить место для мальчика и сказал: — Потуши свет, прежде чем уляжешься. — Затем он закрыл глаза и стал ждать.

Наступило долгое молчание. Свет погас. Он слышал, как мальчик подошел к дверям. Баслим ждал, готовясь услышать звук скрипнувших петель. Его не последовало; он почувствовал, как скрипнул матрас, когда на нем расположился мальчик.

— Спокойной ночи, — повторил он.

— Спок-ночь.

Он уже почти засыпал, когда понял, что тело мальчика сотрясает дрожь. Придвинувшись ближе, он ощутил его костлявые плечи и погладил их; мальчик забился в рыданиях.

Он повернулся, приладил поудобнее куптью, обнял рукой содрогавшиеся плечи мальчика и прижал его к своей груди.

— Все в порядке, Торби, — мягко сказал он. — все в порядке. Все прошло. И никогда больше не вернется.

Мальчик заплакал навзрыд и вцепился в него. Баслим мягко и нежно успокаивал его, пока содрогания не прекратились. Но он продолжал лежать, не двигаясь, пока не убедился, что Торби спит.

ГЛАВА 2

Раны Торби заживали — те, что снаружи, быстро, внутренние травмы помедленнее. Старый бродяга приобрел еще один матрац и поместил его в другом углу комнаты. Но порой Баслим просыпался, чувствуя маленький теплый комочек, который, свернувшись, прижался к его спине, и тогда он знал, что мальчика снова мучили кошмары. Баслим спал очень чутко и терпеть не мог делить с кем-то ложе. Но когда это случалось, он никогда не заставлял Торби возвращаться к себе в постель.

Порой мальчик выплакивал свое горе, не просыпаясь. Как-то Баслим поднялся, услышав, как Торби стонет: "Мама, мама!" Не зажигая света, он быстро подобрался к его соломенному тюфяку и склонился над ним.

— Я здесь, сыночек, я здесь, все в порядке.

— Папа?

— Спи, сынок. Ты разбудишь маму. Я буду с тобой, — добавил он, — ты в безопасности. А теперь успокойся. Ведь мы не хотим разбудить маму... не так ли?

— Хорошо, папа.

Старик ждал, почти не дыша, пока не окоченел и не заняла культя. И перебрался к себе, лишь когда убедился, что мальчик спокойно спит.

Этот инцидент заставил старика задуматься о гипнозе. Давным-давно, когда еще у Баслима были два глаза, две ноги и не было необходимости попрошайничать, он изучал это искусство. Но он не любил его и никогда не прибегал к гипнозу, даже в терапевтических целях; почти с религиозной убежденностью он уважал достоинство каждого человека, а необходимость гипнотизировать вступала в противоречие с его внутренними ценностями.

Но здесь был особый случай.

Он не сомневался, что Торби был отнят от своих родителей в столь юном возрасте, что у него не сохранилось сознательной памяти о них. Представление мальчика о жизни складывалось из путаных воспоминаний о различных хозяевах, то плохих, то получше, но все они старались сломать "плохого мальчишку". Торби сохранил в памяти некоторых из них и описывал их живо и жестко, пользуясь самыми грязными выражениями. Но он никогда не имел представления ни о месте, ни о времени — "место" было всего лишь каким-то помещением, или домом, или заводским цехом; он никогда не называл ни планету, ни солнце (его представление об астрономии было совершенно искаженным и он понятия не имел о галактографии), а время было просто "раньше" или "потом", "короткое" или "длинное". Так как на каждой планете была

своя длительность дня и года, свой метод летосчисления, и пусть даже в интересах науки, они отмеряли время по скорости радиоактивного распада и стандартными годами с рождения человечества, после первого прыжка с планеты Сол-III к ее спутнику, неграмотный мальчишка был совершенно не в состоянии определиться по месту и по времени. Земля была для Торби сказкой, а "день" — промежутком между двумя снами.

Баслим не представлял, сколько мальчику лет. Мальчик походил на подлинного потомка землян, который только входил в подростковый возраст и которого не коснулись мутации, но любое предположение базировалось на сомнительных допущениях. Вандорианцы и италогифы выглядели точно так же, но вандорианцам требовалось втрое больше времени для возмужания — Баслим вспомнил старую историю о дочке некоего консула, чей второй муж оказался праправнуком ее первого, и она пережила их обоих. Мутации не обязательно должны проявляться явно.

Вполне вероятно, что в стандартных секундах мальчик мог оказаться "старше", чем сам Баслим; космос неисчерпаем, и человечество самыми разными путями приспособилось к самым разным условиям. Но как бы там ни было — он был очень молод и нуждался в помощи.

Торби не боялся гипноза; это слово ничего не означало для него, и Баслим ничего не объяснял ему. Как-то вечером после еды старик просто сказал ему:

— Торби, я бы хотел, чтобы ты кое-что сделал.

— Конечно, папа. А что?

— Ложись на свою кровать. Затем я заставлю тебя уснуть и мы поговорим.

— Значит, я увижу какие-то сны, да?

— Нет. Это особый вид сна. Ты сможешь говорить.

Не без сомнений Торби повиновался. Старик зажег свечу, убрав остальной свет. Используя ее пламя как точку сосредоточения внимания, он начал монотонно повторять древние слова внушения, ведущие к расслаблению, дремоте... сну.

— Торби, ты спишь, но ты слышишь меня. Можешь отвечать.

— Да, папа.

— Ты будешь спать, пока я не прикажу тебе просыпаться. Но ты сможешь ответить на любой вопрос, который я тебе задам.

— Да, папа.

— Ты помнишь корабль, который доставил тебя сюда. Как он назывался?

— "Веселая вдова". Только мы называли его по-другому.

— Ты помнишь, как попал на него. Теперь ты в нем — можешь взглядеться. Ты все помнишь об этом. А теперь вернись к тому месту, откуда попал на борт.

Не просыпаясь, мальчик напрягся:

— Я не хочу!

— Я буду с тобой. Тебе ничего не угрожает. Скажи мне, как называлось то место? Вернись туда. Присмотрись к нему.

Через полтора часа Баслим по-прежнему сидел на корточках рядом со спящим мальчиком. Пот орошал его морщины, и он чувствовал, что его колотит. Чтобы вернуть мальчика в то время, с которым он хотел познакомиться, оказалось необходимым заставить ребенка снова пережить то, что было отвратительно даже Баслиму, старому и закаленному человеку. Снова и снова Торби сопротивлялся его усилиям, но Баслим не ругал его — теперь он знал, чего стоил мальчику каждый шрам и поименно мог назвать подлецов, оставивших их.

Но он достиг своей цели, погрузившись в глубины слящей памяти мальчика, к ранним истокам его детства, до того страшного момента, когда малыш потерял родителей.

Пока он, потрясенный, собирался с мыслями, мальчик лежал в глубоком беспмятстве. Последние несколько деталей в его ответах были столь чудовищны, что старик испытывал глубокие сомнения относительно своего решения докопаться до источника тревоги.

Ну что ж, посмотрим, так что же он выяснил?

Мальчик родился свободным. Но Баслим и не сомневался в этом.

Родным его языком был Системный Английский, чего из-за акцента мальчика Баслим не мог раньше определить; но сейчас он прорезался в детском бормотании. Это значило, что он был родом из пределов Гегемонии Терры; возможно даже (хотя не точно), что мальчик родился на Земле. Баслим был удивлен, он думал, что родным языком мальчика был Интерлингва, так как на нем он говорил лучше, чем на остальных известных ему трех языках.

Что еще? Родители мальчика, без сомнения, были мертвы, если можно было доверять спутанным и пронизанным ужасом воспоминаниям, которые Баслим извлек из его мозга. Он не смог выяснить их фамилии или как-либо идентифицировать их — они были просто "папа" и "мама" — поэтому Баслим оставил смутные планы попытаться дать слово родственникам мальчика.

Своего он добился, но заставил мальчика снова пережить все самое худшее, что досталось на его долю...

— Торби?

Мальчик застонал и вытянулся.

— Да, папа?

— Ты спишь. Не просыпайся, пока я не скажу тебе.

— Я не проснусь, пока ты мне не скажешь.

— Как только я прикажу тебе, ты сразу же проснешься. Ты будешь отлично чувствовать себя и забудешь все, о чем мы с тобой говорили.

— Да, папа.

— Ты все забудешь. Но ты будешь отлично чувствовать себя. И через полчаса ты снова пойдешь спать. Я скажу тебе идти в постель, и ты пойдешь и спокойно уснешь. Ты будешь спать всю ночь, спать крепко, и тебе будут сниться хорошие сны. Ты больше не увидишь плохих снов. Повтори.

— Я больше не увижу плохих снов.

— Ты никогда больше не увидишь плохих снов. Никогда.

— Никогда...

— Папа и мама не хотят, чтобы ты видел плохие сны. Они счастливы и хотят, чтобы ты тоже был счастлив. Они будут снится тебе, и ты увидишь прекрасные сны.

— Прекрасные сны...

— Теперь все в порядке, Торби. Ты начинаешь просыпаться. Ты проснешься, и ты не будешь помнить, о чем мы с тобой говорили. Но у тебя никогда больше не будет плохих снов. Просыпайся, Торби.

Мальчик сел, потер глаза, зевнул и улыбнулся.

— Ну, я и заспался. А я тебя обманул, папа. Не сработало, точно?

— Все в порядке, Торби.

Потребовалось больше, чем один сеанс внушения, чтобы исчезли привидения, ночные кошмары стали меркнуть и исчезать. Баслим не был достаточно подготовлен, чтобы полностью избавить мальчика от страшных воспоминаний; они по-прежнему были с ним. Единственное, что он смог сделать, — это внушить Торби, что воспоминания не принесут ему горя. Но в любом случае он отказался бы стирать память, ибо упрямо придерживался убеждения, что память человека принадлежит только ему, и даже самое худшее в ней не может быть изъято без его согласия.

Дни Торби были столь же наполнены делами, как ночи — спокойствием. В первые дни их содружества Баслим всегда держал мальчика при себе. После завтрака они выбирались на Площадь Свободы. Баслим, скрючившись, садился на тротуар, а Торби должен был стоять или сидеть на корточках рядом с ним, изображая, что он умирает от голода и потряхивая чашкой для подаяний. Место, которое они выбрали, должно было быть в гуще движения, но не вызывать у полицейских ничего, кроме ворчания. Торби усвоил, что любой из постоянных полицейских на Площади ограничивается этим; отношения Баслима с ними строились на пожертвованиях в пользу полиции.

Торби быстро обучился этому древнему ремеслу — он усвоил, что мужчины с женщинами обычно стараются проявить благородство, но обращаться надо к женщине; что просить подаяния у одиноких женщин — только тратить время (не считая тех, кто ходит без вуали); что когда обращаешься к одинокому мужчине, то никогда не знаешь, что получишь в ответ — то ли пинок, то ли подаяние; что космонавты после дальней дороги подают щедро. Баслим учил его, что в чашке должно быть на виду лишь немного денег — ни самая грошовая мелочь, ни крупные купюры.

На первых порах Торби как нельзя лучше подходил для этого ремесла; маленький, полуголодный, покрытый ссадинами — достаточно было лишь посмотреть на него. К сожалению, скоро от оправился, и Баслиму пришлось прибегать к гриму, накладывая тени под глазами и подчеркивая ввалившиеся щеки. Ужасная пластиковая рана, расположившаяся у него на ребрах, с полным реализмом демонстрировала "язву", которой у него уже не было; сахарная вода привлекала мух — и люди, едва бросив монеты в чашку, торопливо отворачивались.

Скрывать, что он стал питаться лучше, было не просто, но он рос

быстро, и в течение года-двух продолжал оставаться таким же тощим, несмотря на то, что дважды в день досыта ел и крепко высыпался.

Торби бесплатно впитывал в себя наилучшее образование, какое могли дать ему труппы. В Джабуллпорте, столице Джабулла и Девяти Миров, главной резиденции Великого Саргона, было более трех тысяч нищих с лицензиями, вдвое больше уличных торговцев, а закусовых с грогом больше, чем храмов, хотя храмов здесь было больше, чем в любом другом городе Девяти Миров — плюс бесчисленное количество ловких карманников, специалистов по татуировке, продавцов наркотиков, шлюх, похитителей кошек, уличных попрошайек, грабителей, предсказателей, уличных акробатов, убийц — больших и малых каллибров. Их обиталища располагались в пределах не далее одного километра от пилонов, которыми кончался космопорт, и на Девятой Авеню человек с наличными в кармане мог получить все, чем располагал исследованный мир — от космического корабля до щепотки лунной пыли, от краха репутации до туники сенатора с самим сенатором к ней впридачу.

В сущности, Торби не принадлежал к подпольному миру, хотя у него был законно признанный статус (раб) и профессия, подтвержденная лицензией (нищий). Но фактически Торби был его частью, и должен был смотреть на мир с точки зрения червяка. Он находился на самой нижней ступеньке социальной лестницы.

Как каждый раб, он умел лгать и красть, делая это с той же естественностью, как другие дети обладают хорошими манерами — но освоил это он куда быстрее. Он выяснил, что в темном, скрытом от глаз городском мире эти врожденные таланты поднимаются до степени подлинного искусства. Как только он стал старше, освоил язык и познакомился с улицами, Баслим стал посылать его с различными поручениями, в магазин за покупками, а порой позволял ему заработать что-то и для себя, когда сам оставался дома. Таким образом, он "попал в плохую компанию", если можно попасть в нее со столь нулевой отметки, на которой пребывал.

Как-то он вернулся домой с пустой чашкой для подаваний. Баслим не сказал ни слова, но мальчик объяснил: "Смотри, папа, как здорово у меня получилось!" Из-под своих лохмотьев он вытащил великолепный шарф и с гордостью показал его.

Баслим не улыбнулся и не притронулся к нему.

— Откуда ты это раздобыл?

— Получил в наследство!

— Ну, конечно. Но от кого же?

— От леди. От красивой леди.

— Дай-ка мне посмотреть инициалы. М-м-м... скорее всего, Леди Фасиа. Да, она действительно красива, как мне кажется. Но почему ты не в тюрьме?

— Ох, папа, это было так просто! Меня научил Зигги. Он знает все эти штучки. Ух, как он ловок — тебе стоит посмотреть, как он работает.

Баслим задумался: как внушить мораль мусорному котенку? Он понимал, что не имеет смысла прибегать к абстрактным этическим понятиям — ни в сознании мальчика, ни в его нынешнем окружении

не было ничего, что позволяло бы общаться с ним на таком уровне.

— Торби, чего ради ты вздумал сменить профессию? В нашем деле ты платишь полиции ее комиссионные, платишь свой взнос в гильдию, даешь пожертвование в храм на святые дни — и не знаешь никаких забот. Разве мы голодаем?

— Нет, папа, — но ты только посмотри на это! Такая штука должна стоить чуть ли не стеллар!

— Самое малое, два стеллара, сказал бы я. Но скупщик даст тебе два минима — и то если проявит благородство. В чашке у тебя было бы куда больше.

— Ну... это куда интереснее, чем попрошайничать. Тебе стоило бы увидеть, как Зигги все это провернул.

— Я видел, как он работает. Он действительно смекалист.

— Он самый ловкий!

— И все же я думаю, что двумя руками он мог бы работать еще лучше.

— Может быть, хотя он и с одной рукой справляется. Но он показал, как действовать и другой рукой.

— Отлично. И все же тебе стоило бы знать, что в один прекрасный день тебя укоротят, как и Зигги. Ты знаешь, как Зигги потерял руку?

— А?

— Ты знаешь, какое тебя ждет наказание? Если тебя поймают?

Торби не ответил. Баслим продолжал:

— Одну руку долой — когда тебя поймают в первый раз. Так Зигги расплатился за свое ремесло. Да, он молодец, потому что он по-прежнему в строю и продолжает заниматься своим делом. А ты знаешь, что влечет за собой второй арест? Не только другую руку. Знаешь?

Торби сглотнул:

— Не очень.

— А я думаю, что ты должен был слышать, ты просто не хочешь вспоминать. — Баслим провел большим пальцем поперек горла. — Вот что ждет Зигги в следующий раз — они укоротят его. Суд Безмятежности считает, что мальчишку, который не научился с одного раза, уже ничего не исправит, и укорачивают его.

— Так ведь, папа, они меня никогда не поймают! Я буду таким осторожным... ну, вот как сегодня. Я обещаю!

Баслим вздохнул. Мальчишка по-прежнему верит, что с ним ничего и никогда не случится.

— Торби, достань документы о твоей продаже.

— Зачем, папа?

— Достань.

Мальчик принес их, Баслим перечитал бумагу: "... один ребенок мужского пола, регистрационный номер (на левом бедре) 8ХК40267 — девять минимов".

Он посмотрел на Торби с удивлением и заметил, что с того дня мальчик стал выше на голову.

— Дай мне перо. Я освобождаю тебя. Я всегда хотел это сделать, но оснований для спешки не было. А теперь мы это оформим, и завтра ты зайдешь в Королевские Архивы и зарегистрируешь бумагу.

У Торби отвисла челюсть:

— Почему, папа?

— Разве ты не хочешь быть свободным?

— Ну... да... Папа, я хочу принадлежать тебе.

— Спасибо, малыш. Но я решил, и я это сделаю.

— Ты хочешь сказать, что выкидываешь меня?

— Нет. Ты можешь оставаться. Но только как свободный человек.

Видишь ли, сынок, хозяин несет ответственность за своих слуг. Будь я благородный и сделай ты что-нибудь, меня бы это только потешило бы. Но так как я не... словом, так как у меня уже нет ноги и глаза, не думаю, чтобы я мог себе это позволить. И поскольку ты собрался учиться у Зигги, лучше я дам тебе свободу. Я не могу рисковать. Тебе придется самому искать свое счастье; я потерял уже слишком много. Еще раз — и меня укоротят за милую душу.

Он изложил ситуацию с подчеркнутой жестокостью, ничем не дав понять, что закон в сущности не так жесток — на практике раба конфисковывали, продавали, и вырученные деньги шли в возмещение ущерба, если у хозяина не было счета. Если хозяин не принадлежал к знатным сословиям, судья мог приговорить его к порке, коль скоро приходил к выводу, что тот должен отвечать за деяния своего раба. Тем не менее Баслим говорил только о законе: поскольку хозяину принадлежит полная и безраздельная власть над рабом, тем самым он отвечает за все, что раб сделал, — вплоть до отсечения головы.

В первый раз с тех пор, как они познакомились, Торби заплакал:

— Не освобождай меня, папа, пожалуйста, не делай этого! Я хочу принадлежать тебе!

— Прости, сынок. Но я же сказал тебе, что ты можешь оставаться.

— Пожалуйста, папа! Я никогда больше не стану ни одной вещи!

Баслим пожал плечами.

— Послушай меня, Торби. Я предлагаю тебе сделку.

— А? Все, что угодно, папа. Как только...

— Подожди и послушай меня. Сейчас я не буду подписывать твои бумаги. Но я хочу, чтобы ты обещал мне две вещи.

— Конечно! Что именно?

— Не спеши. Первое — ты никогда и ни у кого больше не будешь красть. Ни у красивых леди в портшезах, ни у бедняков, как ты сам — одно слишком опасно, а второе... словом, это неблагородно, хотя я не уверен, что ты знаешь значение этого слова. Второе — обещай мне, что ты никогда не будешь мне врать.

— Я обещаю, — медленно сказал Торби.

— Я имею в виду не только вранье о той мелочи, которую ты порой утаиваешь от меня. Я говорю обо всем. Кстати, матрац не самое подходящее место, где стоит прятать деньги. Посмотри на себя, Торби. Ты же знаешь, что у меня есть связи по всему городу.

Торби кивнул. Он доставлял послания от старика в самые разные места и самым разным людям.

— Если ты будешь красть, — продолжал Баслим, — я узнаю об этом... рано или поздно. Если ты будешь врать мне, я уличу тебя... рано или

поздно. Врать людям — это твое дело, но вот что я скажу тебе: если человек обретает репутацию лжеца, он может считать, что онемел, ибо люди не прислушиваются к завыванию ветра. Не обращают внимания. И в тот день, когда я узнаю, что ты украл что-то... или в тот день, когда я поймаю тебя на вранье... я подпишу твои бумаги и отпущу на волю.

— Да, папа.

— Это не все. Я вышвырну тебя со всем, что было на тебе, когда я купил тебя, — лоскут лохмотьев и куча синяков. Между нами не будет ничего общего. И если ты попадешься мне на глаза, я плюну на твою тень.

— Да, папа. О, я никогда больше не буду, папа!

— Я надеюсь. А теперь иди спать.

Баслим лежал без сна, беспокоясь, не слишком ли был резок с мальчиком. Но он не мог не помнить, что вокруг них был жестокий мир, и он учил мальчика жить в нем.

Он услышал в углу звуки, напоминающие работу грызуна, тихое шуршание; он лежал не шевелясь и прислушивался. Наконец, он услышал, как мальчик тихо встал со своего места, подошел к столу, тихо выложил на стол монеты, а затем вернулся на свой матрац.

ГЛАВА 3

Баслим уже давно учил Торби читать и писать на Интерлингве и саргонезском, время от времени подбадривая его подзатыльниками, потому что интерес Торби к умственным занятиям равнялся нулю. Но история с Зигги и понимание того, что мальчик растет, напомнили Баслиму, что время не стоит на месте, даже для мальчиков.

Торби никогда не мог припомнить ни место, ни время, когда он осознал, что Баслим и внешне (и по своей внутренней сути) не является попрошайкой. И совершенно четкие знания, которые он ныне получал, дали понять ему, что не стоит удивляться ничему из того, что папа делает или говорит — он знает все и может все сделать. Торби отлично знал других нищих, чтобы видеть разницу между ними и папой, но это его не трогало, ибо папа был папой, как солнце или дождь. Вне дома они никогда не говорили о том, что происходит в его четырех стенах, и это правило соблюдалось неукоснительно; гостей у них не бывало. У Торби было несколько приятелей, а Баслим знал хотя бы с виду сотни и сотни пьюдей по всему городу. Никто, кроме Торби, не знал, где скрывается Баслим. Но Торби подозревал, что Баслим занимается не только нищенством. Однажды ночью, когда он, как обычно, пошел спать, он проснулся уже на рассвете от неясного шума и позвал сонным голосом:

— Папа?

— Да, это я. Спи.

Вместо этого мальчик встал и зажег свет. Он знал, что Баслиму трудно двигаться в темноте без ноги — если ему нужно воды или чего-нибудь еще, он подаст.

— С тобой все в порядке, папа? — спросил он, поворачиваясь к нему.

И тут же задохнулся от изумления. У них был незнакомец, какой-то джентльмен!

— Все в порядке, Торби, — сказал незнакомец голосом папы. — Не волнуйся, сынок.

— Папа?

— Да, сынок. Прости, что побеспокоил тебя — я должен был переодеваться. У меня были спешные дела. — Он начал переодеваться в другую одежду.

Сняв вечерний парик, он стал походить на папу. — Папа... твой глаз.

— Ах, это. Ну, вынуть его так же просто, как и вставить. С двумя глазами я выгляжу лучше, не так ли?

— Не знаю. — Торби смотрел с подозрением. — Мне это не нравится.

— Вот как? Ну, думаю, ты не так часто будешь видеть меня в этой одежде. Поскольку ты проснулся, можешь мне помочь.

Но толку от Торби было немного; все, что папа делал, было для него внове. Первым делом Баслим вынул миски и тарелки из буфета, и на его задней стенке оказалась еще одна дверца. Затем он вынул искусственный глаз и, очень осторожно развинтив его с помощью отвертки, вынул из него маленький цилиндр.

Торби следил за его действиями, но ничего не понимал, кроме того, что папа действует очень тщательно и быстро. Наконец Баслим сказал:

— Все в порядке. А теперь посмотрим, что за картинки у меня получились.

Он вставил ролик в крохотный проектор, принял к окуляру и, мрачно успехнувшись, сказал:

— Собирайся. Приготовь завтрак. Тебе придется взять с собой кусок хлеба.

— Зачем?

— Шевелись. Не трать время.

Торби накинуд лохмотья, приладил искусственную рану и вымазал грязью лицо. Баслим ждал его, держа в руках фотографию и маленький плоский цилиндр, размером в полминима. Он показал фото Торби:

— Посмотри не него. И запомни.

— Зачем?

Баслим спрятал фотографию.

— Ты узнаешь этого человека?

— М-м-м... дай-ка мне еще посмотреть на него.

— Ты должен узнать его. Рассмотрй его получше.

Наконец Торби оторвался от снимка.

— Ладно, я его узнаю.

— Он может быть в одной из пивных рядом с портом. Зайди сначала к Матушке Шаум, затем в "Супернову" и в "Девственницу под вуалью". Если там ты его не обнаружишь, обыщи обе стороны Веселой Улицы, пока не разыщешь его. Ты должен найти его прежде, чем наступит третий час.

— Я найду его, папа.

— Когда найдешь, положи эту штуку в чашку вместе с мелочью.

Потом можешь приставать к нему с чем угодно, но не забудь упомянуть, что ты сын Баслима Калеки.

— Будет сделано, папа.

— Отправляйся.

Добираясь до порта, Торби не тратил времени зря. Утром, после Карнавала Девятой Луны, на улицах было мало прохожих, и он решил просто рвануть по самому прямому пути, через задние дворы, изгороди и закоулки, избегая только столкновения с непрославшимся ночным патрулем. Но хотя он достиг цели быстро, ему не везло в поисках Одинокого Старика: его не было и ни в одном из подвальных помещений, которые упоминал Баслим, и ни на Веселой Улице, которую Торби прошел из конца в конец. Время близилось к опасной черте, и Торби начал беспокоиться, когда увидел мужчину, выходящего из того заведения, которое Торби уже посетил.

Кинувшись через улицу, Торби оказался рядом с ним. Рядом с человеком был спутник — плохо. Но Торби начал:

— Подаяния, милостливый лорд! Подаяния, и пусть ваша благородная душа...

Спутник кинул ему монетку. Торби попробовал ее на зуб.

— Благословение неба на вас, милорд! — Он повернулся к другому.

— Милостыни, благородный сэръ. Несколько монеток для несчастного. Я сын Баслима Калеки и...

Первый мужчина угостил его подзатыльником. — Убирайся.

Торби увернулся:

— ... сын Баслима Калеки. Бедному старому Баслиму нужна приличная еда и лекарства. Я один-одинешенек...

Человек со снимка полез за своим кошельком.

— Не стоит, — посоветовал ему спутник. — Все они вруны, и я ему уже заплатил, чтобы он оставил нас в покое.

— И тебе повезет, когда ты уйдешь в прыжок, — ответил человек.

— Дай-ка я взгляну... — Он запустил руку в кошелек, взглянул в чашку для подаяний и что-то положил в нее.

— Благодарю вас, милорд. Пусть у ваших детей будут сыновья. — Торби удрал прежде, чем тот успел посмотреть на него. Маленький плоский цилиндр исчез.

Он поработал на Веселой Улице, ему везло, и прежде, чем идти домой, он завернул на Площадь. К его удивлению, папа был в своей любимой яме, рядом с помещением для аукционов, как раз перед портом. Торби примостился рядом с ним.

— Сделано.

Старик хмыкнул.

— Почему бы тебе не пойти домой, папа? Ты же, должно быть, устал. Я уже насобирал достаточно для нас.

— Замолчи. Милостыни, миледи! Милостыни для бедного калеки.

В третьем часу с пронзительным звуком взмыл корабль, и старик позволил себе расслабиться.

— Что это был за корабль? — спросил Торби. — На синдонианский лайнер не похож.

— Свободный Торговец, "Цыганочка", порт приписки на Риме... и в нем твой приятель. А теперь отправляйся домой и сделай завтрак. Впрочем нет, угостишь на славу где-нибудь.

Баслим больше не пытался скрывать от Торби свою побочную деятельность, хотя никогда не объяснял ему, что к чему. Порой просить подавание должен был только один из них, и в этих случаях Баслим всегда занимал свое место на Площади Свободы, так как он явно интересовался прибытием и отлетом кораблей, особенно работорговых, и аукционами, которые следовали сразу же после посадки корабля с рабами.

По мере того, как Торби обучался, от него было куда больше пользы. Старик твердо верил, что отличной памятью может обладать каждый, и упрямо втолковывал это мальчику, несмотря на его ворчание.

— Ох, папа, неужели ты думаешь, я смогу это запомнить? Ты не дал мне возможности даже взглянуть на эту штуку!

— Я проецировал тебе страницу как минимум три секунды. Почему ты не прочел ее?

— Чего? Так у меня не было времени.

— А я прочел. И ты можешь. Торби, ты видел на Площади жонглеров. Ты видел, как старый Микки стоит на голове, а в воздухе летают девять кинжалов, и на ногах у него крутятся четыре обруча?

— Да, конечно.

— Ты можешь это сделать?

— Нет.

— А научиться?

— Ну... я не знаю.

— Лю б о й может научиться жонглировать... если его как следует гонять и как следует лупить. — Старик взял ложку, ручку, нож и по дуге пустил их в воздух. — Когда-то я немножко занимался, просто так. А жонглирование мозгами... и этому тоже может научиться каждый.

— Покажи мне, как ты это делаешь, папа.

— Как-нибудь в другой раз, если ты будешь себя хорошо вести. А теперь ты должен усвоить, как по-настоящему пользоваться глазами. Торби, наука жонглирования глазами была создана давным-давно, очень мудрым человеком, доктором Реншоу, на планете Земля. Ты должен был слышать о ней.

— Ну... конечно, я слышал.

— М-м-м... похоже, ты не веришь в ее существование.

— Ну, я не знаю... но все эти сказочки о замерзшей воде, которая падает с неба, и о людоедах в десять футов высотой, и о башнях выше, чем Президиум, и о маленьких людях ростом с куклу, которые живут на деревьях... папа, я же не дурачок.

Баслим вздохнул и подумал, сколько раз ему приходилось вздыхать с тех пор, как он обзавелся сыном.

— В этих рассказах все перепутано. Когда-нибудь, когда ты научишься читать, я дам тебе книжку с картинками, которым ты можешь верить.

— Но я уже умею читать.

— Тебе только так кажется, Торби. Земля в самом деле существует и она в самом деле странная и удивительная — самая необычная планета. Много умных людей жило и умерло на ней. И там было привычное соотношение дураков и мудрецов — кое-что из их мудрости дошло и до нас. Одним из таких мудрецов был Самуэль Реншоу. Он доказал, что большинство людей всю жизнь живут словно бы в полусне; и более того — он показал, как человек может проснуться и жить полной жизнью: видеть глазами, слышать ушами, ощущать языком, думать мозгом и безошибочно запоминать все, что он слышит, видит, ощущает и понимает. — Старик показал культу. — Из-за этого я не стал калекой. Своим одним глазом я вижу больше, чем ты двумя. Я глух... но я не более глух, чем ты, потому что все, что я слышу, я запоминаю. Так кто же из нас калека? Но, сынок, ты не останешься калекой, потому что я собираюсь дать тебе всю мудрость Реншоу, если даже мне придется оторвать твою глупую башку!

По мере того, как Торби учился использовать свои мозги, он чувствовал, что ему это нравится все больше и больше, у него появился ненасытный аппетит к печатным страницам, и он читал каждую ночь, пока Баслим не приказывал ему выключать проектор и отправляться спать. Торби не видел особого смысла во многом из того, что старик заставлял его изучать — например, языки, которые он никогда не слышал. Но используя обретенные им новые знания и свои молодые мозги, он легко справлялся с ними, и когда обнаружил, что у старика есть катушки и бобины, которые можно просмотреть и прослушать только на этих "бесполезных" языках, он внезапно понял, что их стоит изучать. Ему нравились история и галактография; это был его личный мир, раскинутый по световым годам физически ощутимого космоса, и он был столь же реален, как его камера на работорговом корабле. Торби исследовал новые горизонты с тем же удовольствием, с каким ребенок изучает свою ладонку.

В математике Торби не видел смысла, кроме как варварского искусства считать деньги. Но в конце концов он усвоил, что математика может и не иметь практического применения; она могла быть игрой, такой же, как шахматы, только интереснее.

Старик порой задумывался, какой во всем этом смысл? Он уже понимал, что мальчик оказался куда способнее, чем он предполагал. Но принесет ли это ему счастье? Не принесет ли то, чему он его учит, бесконечное разочарование своей судьбой? Что ждет на Джаббуле раба или нищего? Ноль в энной степени остается нолем.

— Торби!

— Да, папа. Подожди минутку, я как раз на середине главы.

— Кончай ее скорее. Я хочу поговорить с тобой.

— Да, милорд. Да, хозяин. Сию секунду, босс.

— И не забывай о вежливости.

— Прости, папа. Что ты хочешь сказать мне?

— Сынок, что ты собираешься делать, когда я умру?

Торби изумился:

— Ты себя плохо чувствуешь, папа?

— Нет. Насколько я разбираюсь, я протяну еще немало. А с другой стороны, завтра я могу и не проснуться. В мои годы ни в чем нельзя быть уверенным. И если это случится, что ты собираешься делать? Оставишь за собой мою яму на Площади?

Торби не ответил, и Баслим продолжил:

— Ты не сможешь этого сделать, и мы оба это знаем. Ты уже так вырос, что не можешь убедительно излагать свои сказки. Они не оказывают такого действия, как то, когда ты был мал.

— Я не собираюсь быть тебе в тягость, папа, — медленно сказал Торби.

— Разве я жалуюсь?

— Нет, — Торби помедлил. — Я думал об этом... иногда. Папа, ты можешь отдать меня в аренду на завод.

Старик сделал гневный жест.

— Это не ответ! Нет, сынок, я собираюсь отослать тебя.

— Папа! Ты же обещал, что не сделаешь этого.

— Я ничего не обещал.

— Но я не хочу быть свободным, папа. И если ты освободишь меня... ну, я просто не уйду!

— Я имел в виду совершенно другое.

Торби надолго замолчал.

— Ты хочешь продать меня, папа?

— Не совсем. Ну... и да, и нет.

Лицо Торби оставалось бесстрастным. Наконец он тихо произнес:

— Или одно или другое, но я знаю, что ты имеешь в виду... и думаю, что не имею права протестовать. Это твое право, и ты был лучшим... хозяином... который у меня был.

— Я не твой хозяин!

— Бумаги говорят другое. Посмотри на номер у меня на ноге.

— Перестань так говорить! Никогда не говори так!

— Пусть раб говорит именно так или держит язык за зубами.

— О, ради Бога, заткнись! Слушай, сын, дай я тебе объясню. У тебя ничего нет впереди, и мы оба знаем это. Если я умру, ты на Саргоне вернешься в прежнее состояние...

— Им еще придется поймать меня!

— Они поймают. Но вольное существование еще ничего не решает.

Какая гильдия открыта для отпущенника? Нищенство — да, но с тех пор, как ты вырос, тебе приходится лезть из кожи, чтобы хоть что-то заработать. Многие отпущенники трудятся на своих бывших хозяев, ибо свободнорожденные обыватели существуют за счет своих бывших рабов; они не трудятся вместе с ними.

— Не беспокойся, папа. Я справлюсь.

— А я беспокоюсь. И поэтому слушай меня. Я собираюсь передать тебя человеку, которого я знаю, который сможет увезти тебя отсюда на корабле. Не как раба, а просто на корабле.

— Нет!

— Придержи язык. Ты окажешься на планете, где рабство запрещено законом. Я не могу сказать тебе, на какой именно, потому что не

знаю ни расписания корабля, ни даже его названия; детали еще придется проработать. Но я верю, что в любом свободном обществе ты не пропадешь.

Баслим остановился, чтобы обдумать мысль, которая несчетное количество раз вертелась у него в голове. Должен ли он посылать мальчика на родную планету Баслима? Нет, и не только потому, что до нее исключительно трудно добраться, но и потому, что она — не место для зеленого иммигранта... парень должен попасть в один из миров передней границы, где острые мозги и привычка к труду — это все, что ему будет надо; есть несколько таких, лежащих вне пределов Девяти Миров. Он устало подумал, что было несколько возможностей выяснить, из какого мира мальчик родом. Возможно, что там у него есть родные, которые смогут ему помочь. Будь все проклято; для его идентификации пришлось бы вести розыски по всей Галактике!

— Это лучшее, что я могу сделать, — продолжил Баслим. — Между тем временем, как я продам тебя, и той минутой, когда ты взойдешь на борт корабля, ты должен будешь вести себя как раб. Но что значит всего только несколько недель по сравнению с возможностью...

— Нет!

— Не говори глупостей, сынок.

— Может, я и глуп. Но я ничего не хочу. Я остаюсь.

— Вот как? Сынок... мне очень неприятно напоминать тебе — но ты не сможешь остановить меня.

— Что?

— Как ты и указывал, имеются бумаги, которые говорят, что я могу это сделать.

— Ох...

— Иди спать, сынок.

Баслим не спал. Часа через два он услышал, как Торби бесшумно поднялся. Догадываясь по тихим звукам, что тот делает, он мог следить за каждым его движением. Торби оделся (для этого ему нужно было только намотать набедренную повязку), вышел в соседнюю комнату, заглянул в хлебный шкафчик, сделал глубокий глоток чего-то и ушел. Он не взял чашку для подаяний, он даже не подошел к полке, на которой она стояла.

После его ухода Баслим повернулся и попытался уснуть, но боль, гнездившаяся внутри, не позволяла забыться. И не потому, что он не сказал слова, которые могли остановить мальчика; он слишком уважал себя, чтобы не уважать право другого на самостоятельное решение.

Торби отсутствовал четыре дня. Он вернулся ночью, и Баслим слышал, как он пришел, но снова ничего не сказал ему. Просто он в первый раз после исчезновения Торби уснул глубоко и спокойно. А проснувшись, сказал как обычно:

— С добрым утром, сынок.

— С добрым утром, папа.

— Сделай-ка завтрак. У меня есть кое-какие дела.

Они сели за миски с горячим варевом. Баслим поглощал пищу без особого интереса, Торби едва ковырял ее. Наконец он взорвался:

— Папа, когда ты продашь меня?
— А я и не собираюсь.
— Что?
— В тот день, когда ты исчез, я зарегистрировал твое освобождение в Архивах. Ты свободный человек, Торби.

Торби смотрел на него с изумлением, а затем опустил глаза в миску и стал возить ложкой по каше. Наконец он сказал:

— Мне бы хотелось, чтобы этого не было.

— Если бы они тебя поймали, я не хотел, чтобы они называли тебя "беглым рабом".

— Ах, вот в чем дело, — Торби задумался. — Спасибо, папа. Вижу, что вел себя очень глупо.

— Вероятно. Но я думал не о наказании, которое могло тебя ждать. И плети, и выжигание клейма — все это проходит быстро. Я думал, что произойдет, если тебя поймают еще раз. Лучше, чтобы тебя сразу же укоротили, чем быть пойманным после клеймения... Поговорили и хватит, бери свою чашку и не болтайся без дела. Этим утром аукцион.

— Ты хочешь сказать, что я могу остаться?

— Это твой дом.

Теперь Баслим знал, что Торби не оставит его. Освобождение мальчика не внесло ничего нового в их быт и отношения. Торби сходил в Королевские Архивы, уплатил налог и преподнес обычный подарок, после чего его вытатуированный номер был перечеркнут линией, а рядом с ним появилась печать Саргона с номером книги и страницы записи, из которой явствовало, что ныне он свободный гражданин Саргона, обязанный платить налоги, нести воинскую службу и голодать без всяких помех и препятствий. Клерк, который делал татуировку, посмотрел на серийный номер Торби и сказал:

— Не похоже, что это твой день рождения, парень. Твой старик обанкротился? Или твои хозяева продали тебя, чтобы избавиться от лишнего рта?

— Это не твое дело!

— Не выдрючивайся, парень, а то ты почувствуешь, что эта игла может колоть куда больнее. А теперь отвечай мне вежливо. Я вижу, что на тебе фабричная, а не хозяйская марка, и судя по тому, как она выцвела, тебе было лет пять или шесть. Где и когда это было?

— Я не знаю. Честное слово, я не знаю.

— Ах вот как? Именно это я и говорю каждый раз моей жене, когда она задает слишком много вопросов. Не дергайся. Я почти кончил. Вот так... поздравляю, и добро пожаловать в ряды свободных людей. Я получил свободу пару лет назад, и предупреждаю тебя, что ты почувствуешь себя раскованнее, но не всегда это будет приятно.

ГЛАВА 4

Нога у Торби побаливала пару дней; во всем остальном освобождение никак не сказалось на его жизни. Но нищим он уже в самом деле не смог быть — сильному здоровому юноше не подавали столько,

сколько мог получить исхудавший ребенок. Часто Баслим просил Торби заменить его в яме, затем он посылал его с каким-нибудь поручением или отправлял домой учиться. Так или иначе, один из них всегда был на Площади. Порой Баслим исчезал, даже без предупреждения; и когда это случалось, Торби должен был проводить на их месте все светлое время дня, отмечая посадки и старты кораблей, запоминая все, что происходило на аукционах и собирая информацию о космопорте в винных лавчонках и среди женщин, не носивших вуали.

Как-то Баслима не было две девятидневки; когда Торби проснулся, старик просто исчез. Отсутствовал он гораздо дольше, чем когда-либо раньше. Торби продолжал твердить себе, что папа может позаботиться о себе, хотя он не мог отделиться от зрелища его тела, распростертого в грязи. Но он продолжал бывать на Площади, присутствовал на трех аукционах, отмечая все, что видел и слышал.

Наконец Баслим вернулся. Единственное, что он сказал было:

– Почему ты все записывал вместо того, чтобы запоминать?

– Ладно, так и буду делать. Но я боялся что-то забыть, ведь было так много событий.

– Фу!

После этого Баслим стал более молчалив и сдержан, чем обычно. Торби думал, что, может быть, он его чем-то расстроил, но на такие вопросы Баслим не отвечал. Наконец как-то ночью старик сказал:

– Сынок, мы так и не выяснили, что ты будешь делать после того, как меня не станет.

– Но я думал, что мы уже все решили, папа. Это мои проблемы.

– Нет, просто мне пришлось их отложить... из-за твоего тупоголового упрямства. Но ждать больше я не могу. Я принял решение, и тебе придется выполнить его.

– Подожди минутку, папа! Если ты думаешь, что тебе удастся заставить меня покинуть тебя...

– Помолчи! Я сказал: "После того, как меня не станет". Когда я умру – вот что я имел в виду; я говорил не о небольшой прогулке по делам... тебе придется найти человека и передать ему послание. Могу я на тебя положиться? Ведь ты не будешь валять дурака и ничего не забудешь?

– Конечно, папа. Но мне не нравится, когда ты говоришь такие вещи. Ты будешь жить еще долго – может быть, ты еще переживешь меня.

– Возможно. Но не угодно ли тебе замолчать и послушать меня, а затем сделать то, что я тебе скажу?

– Да, сэр.

– Ты найдешь этого человека – что, возможно, потребует некоторого времени – и передашь ему послание. Затем он должен будет кое-что для тебя сделать... я надеюсь. Если он решится, я хотел бы, чтобы ты делал все, что он тебе скажет. Ты обещаешь мне?

– Конечно, папа, если ты этого хочешь.

– Считай это последней услугой старику, который хотел тебе только добра, насколько это было в его силах. Это последнее, что я хочу от тебя, сынок. Не утруждай себя заботами: не надо кремировать меня и

помещать прах в башню, а просто сделай две вещи: передай послание и сделай все, что тебе скажет этот человек.

— Я обещаю, папа, — торжественно сказал Торби.

— Отлично. А теперь за дело.

Человек должен был быть одним из пяти лиц. Каждый из них был шкипером космического корабля, рейсовым торговцем; никто из них не был обитателем Девяти Миров, но по странному совпадению все они загружались в портах Девяти Миров. Торби тщательно изучил список.

— Папа, насколько я помню, из всех этих кораблей здесь садится только один.

— Рано или поздно все они будут здесь.

— Может пройти много времени, прежде чем покажется хоть один из них.

— Могут пройти годы. Но когда это случится, ты должен доставить послание незамедлительно.

— Кому-то из них? Или всем?

— Первому, кто попадется тебе на глаза.

Послание было коротким, но трудным, потому что оно было на трех языках, в зависимости от того, кому будет адресовано, и ни одного из этих языков Торби не знал. И Баслим не объяснял ни слова из него; он просто требовал, чтобы оно было выучено наизусть на каждом из языков.

Когда Торби в седьмой раз пробормотал тексты, Баслим заткнул уши:

— Нет, нет, сынок! Никуда не годится! Этот акцент!

— Я стараюсь изо всех сил, — мрачно сказал Торби.

— Я знаю. Но я хочу, чтобы текст можно было понять. Слушай, ты помнишь, как я заставлял тебя спать и говорил с тобой во сне?

— Что? Я и так сплю каждую ночь.

— Тем лучше. — Баслим ввел его в легкий транс, что далось не просто, ибо повзрослевший Торби был не так податлив, как в детстве. Но Баслим, добываясь своего, записал послание на диктофон, включил его и заставил Торби слушать его, добавив постгипнотическое внушение, чтобы, проснувшись, он без запинки мог произнести тексты.

Он смог это сделать. На следующую ночь Баслим еще раз и еще раз внушал ему задание. Затем Баслим заставлял его непрерывно повторять выученное, называя имена шкиперов и названия кораблей и сопоставляя их с излагаемым текстом.

Баслим никогда не посылал Торби за пределы города: рабам требовалось разрешение на поездку, и даже свободные граждане были обязаны отмечать приезд и отъезд. Но он гонял его по метрополису вдоль и поперек. Через три девятидневки после того, как Торби выучил послание, Баслим дал ему записку, которую тот должен был доставить в район космопорта, составлявшего скорее часть Саргона, чем города.

— Возьми свое свидетельство свободного человека и оставь миску. Если тебя остановит полицейский, скажи, что ищешь работу в порту.

— Он подумает, что я сошел с ума.

— Но пропустит тебя. Они используют свободных людей в качестве





мусорщиков и тому подобное. Держи записку во рту. Кого ты должен найти?

— Невысокого рыжего человека без бороды, — повторил Торби, — с большой бородавкой с левой стороны носа. Его лавочка как раз напротив главных ворот. Я должен купить у него мясной пирог и вместе с деньгами передать ему записку.

— Верно.

Торби обрадовался возможности вырваться за пределы своего круга. Он не удивлялся, почему папа не пользуется видеофоном для связи, а посылает его на полдня в путешествие; люди их класса не располагают такой роскошью. Что касается королевской почты, Торби никогда не посылал и не отправлял писем.

Его путь к космопорту пролегал через производственную зону. Ему нравилась эта часть города; здесь всегда было много народа, много звуков и жизни. Он едва не попал под машину, и водитель обругал его, на что Торби довольно дружелюбно ответил ему; он заглядывал в каждый открытый дверной проем, пытаясь понять, для чего предназначены все эти машины и почему люди стоят все время на одном месте, делая одну и ту же работу — неужели они рабы? Нет, не может быть, рабам не позволялось приближаться к силовым установкам, исключая работу на плантациях, где в прошлом году вспыхнуло восстание и, защищая своих граждан, Саргон должен был подавить его железной рукой.

Было ли правдой, что Саргон никогда не спал и его глаза видели все, что происходило в Девяти Мирах? Папа говорил, что все это чепуха и что Саргон обыкновенный человек, как и все остальные. Но если это так, как он стал Саргоном?

Покинув промышленную зону, Торби оказался возле космопорта. Никогда раньше он не заходил так далеко. Несколько кораблей стояли на стапелях, два корабля поменьше строились, но их очертания уже были видны. Их вид заставил его сердце вздрогнуть, и ему захотелось куда-нибудь улететь. Он знал, что путешествовал на межзвездном корабле дважды — или трижды? — но это было давно, и он не хотел покрывать расстояния в рабском загоне — это не было путешествием!

Он так задумался, что едва не прошел мимо закусочной. О ее существовании ему напомнили главные ворота; они были вдвое больше других, рядом с ними стояла стража, а наверху изгибался большой герб Саргона с его печатью наверху. Закусочная стояла напротив. Торби проскочил сквозь поток транспорта, льющийся из ворот, и вошел в нее.

Человек за стойкой оказался не тем, что был ему нужен.

Торби побродил вокруг, убив полчаса, и вернулся. По-прежнему не было и следа того человека. Так как бармен обратил внимание, что он кого-то выглядывает, Торби подошел к нему и спросил:

— У вас есть клюквенный напиток?

Человек оглядел его:

— А деньги?

Торби пришлось доказывать свою платежеспособность, вытащив монетку. Человек осмотрел ее и открыл бутылку.

— Не болтайся у стойки, мне нужны места.

Места было достаточно, но Торби не спорил, так как знал свой социальный статус. Он отошел от стойки, но не так далеко, чтобы его можно было заподозрить в попытке скрыться не заплатив, а затем сделал долгий глоток. Посетители и приходили и уходили; он осматривал каждого в надежде, что рыжий мужчина придет закусить. Ушки он держал на макушке.

Наконец бармен обернулся:

— Ты что, хочешь высосать эту бутылку?

— Уже все, спасибо, — Торби поднялся, поставил бутылку и сказал:

— В прошлый раз мы тут встречались с таким рыжим парнем...

Бармен взглянул на него:

— Ты приятель Красного?

— Ну, не совсем. Когда в тот раз я зашел выпить прохладительного, мы с ним встретились и...

— Дай-ка мне взглянуть на твое разрешение.

— Чего? Я не собираюсь...

Мужчина попытался схватить его за руку. Но профессия научила Торби увертываться от тычков, ударов и пинков, мужчина ухватил лишь воздух.

Он быстро вышел из-за стойки, Торби кинулся в гущу уличного движения. Он уже был на полпути и прикидывал, что два резких поворота спасут его от преследования, как вдруг обнаружил, что бежит к воротам, а бармен что-то кричит стражникам.

Торби повернул и побежал вдоль движения. К счастью, оно было достаточно плотным; по дороге вывозили грузы из порта. Трижды он с риском для жизни набил себе основательные синяки, и увидев поперечную улицу, нырнул между двумя грузовиками, кинулся со всех ног по ней, повернул в первую же аллею и, скрывшись за зданиями, прислушался.

Преследователей не было слышно.

Убегать ему приходилось много раз, и он не волновался. Погоня, как правило, состояла из двух частей: первым делом, прервать нежелательный контакт, а во-вторых, оторваться от неприятностей. С первой частью он справился; теперь ему предстояло где-то по соседству найти выход и уйти незамеченным — если идти не торопясь, никто его не заподозрит. Убегая, он отдалялся от города, и теперь повернул в боковую улицу, затем снова свернул налево в аллею, и теперь был где-то за закуской — эту тактику он выбрал подсознательно. Погоня всегда направлялась от центра, и около закуской они меньше всего предполагали его обнаружить. Торби прикинул, что через пять, самое большее, десять минут бармен вернется к своим делам за стойкой, а стражники к воротам; никто из них не может надолго оставлять свой пост. Короче, Торби останется пересечь аллею и направиться домой.

Он огляделся. Вокруг был торговый квартал, заполненный сумятицей маленьких лавчонок, маклерских контор, лачугами, безнадежно прогорающими увеселительными заведениями. Торби находился на задах маленькой ручной прачечной; здесь стояли бочки, валялись

дрова и из скособоченных труб пробивались облака пара. Торби прикинул, что закусовая за два дома отсюда. Он припомнил корявую вывеску: "Великолепная домашняя прачечная — самые низкие цены".

Можно обойти это здание — но сначала лучше осмотреться. Оглядев аллею позади себя, он лег и осторожно высунул голову из-за угла.

О, господи! По аллее шли двое патрульных... как он вляпался, как вляпался! Те не отказались от поисков и объявили всеобщую тревогу. Он отполз назад и огляделся. В прачечную? Нет. В уборную во дворе? Патруль может проверить ее. Не остается ничего, как бежать сломя голову — чтобы как раз попасть в руки другого патруля. Торби знал, как быстро полиция может окружить какой-то район. Около Площади он мог прорваться сквозь их сети, но сейчас он был на чужой территории.

Его взгляд упал на перевернутый бак для полоскания белья... и через мгновение он уже был под ним. Здесь было очень тесно; ободрав спину, он был вынужден поджать колени к подбородку. Он испугался, что кусок лохмотьев виден снаружи, но было уже поздно что-либо делать; он слышал приближающиеся шаги.

Шаги раздавались совсем рядом с баком, и он затаил дыхание. Кто-то влез на бак и затоптался на нем.

— Эй, мать! — услышал он мужской голос. — Ты давно здесь?

— Давно. Не сшиби подпорку, а то ты мне все белье опрокинешь.

— Ты не видела мальчишку?

— Какого мальчишку?

— Молодого, довольно длинного. С пушком на подбородке. В набедренной повязке, без сандалий.

— Кто-то, — услышал он над собой равнодушный женский голос, — промчался здесь так, словно за ним гнались привидения. Я его не разглядела как следует — у меня хватает и своих дел.

— Так это и есть наш мальчишка! Куда он делся?

— Перемахнул вон тот забор и исчез между домами.

— Спасибо, мать! Идем, Джабби!

Торби ждал. Женщина продолжала заниматься своим делом; она переступала с ноги на ногу, и кадка поскрипывала. Наконец она спустилась, села на кадку и легонько постучала по ней.

— Сиди там, — тихо сказала она. Через мгновение Торби услышал, как она уходит.

Торби ждал, пока у него не заныли все кости. Вполне возможно, что и ночной патруль после комендантского часа останавливает всех, кроме благородных, но исчезнуть отсюда при дневном свете было невозможно. Торби не мог предположить, почему охоте за ним была оказана такая честь. Время от времени он слышал, как кто-то — та женщина? — ходила по двору.

Наконец часом позже он услышал скрип несмазанных колес. Кто-то постучал по крышке кадки.

— Как только я подниму ее, прыгай в повозку и побыстрее. Она как раз перед тобой.

Торби не ответил. Свет резанул его по глазам, он увидел маленькую

повозку и, оказавшись в ней, сжался в комочек. На него навалили белье. Но до этого он мельком увидел, что кадки больше не было на виду: развешенное на веревках белье скрывало ее.

Чьи-то руки примяли узлы вокруг него и голос сказал:

— Лежи тихо, пока я не скажу тебе.

— Ладно... и миллион благодарностей! Как-нибудь я расплачусь с вами.

— Забудь, — она тяжело вздохнула. — Когда-то у меня был муж. Теперь он в шахтах. Я не знаю, что ты сделал, — но патрулю я никого не отдам.

— О, простите.

— Заткнись.

Маленькая повозка затряслась и двинулась. Торби почувствовал, что под колесами сменилось дорожное покрытие. Внезапно они остановились; женщина стала ворочать узлы, ушла на несколько минут и, вернувшись, кинула в повозку узлы с грязным бельем. Торби воспринимал все происходящее с долготерпением, присущим нищим и бродягам.

Прошло много времени, прежде чем снова сменилась мостовая. Они остановились и женщина тихо сказала:

— Когда я скажу, выпрыгивай с правой стороны и уходи. Только побыстрее.

— Идет. И еще раз спасибо!

— Замолчи. — Повозка проехала еще немного, замедлила ход, останавливаясь, и она сказала: — Ну!

Торби отбросил прикрытие, выпрыгнул и встал на ноги — все одним движением. Он находился перед проходом между двумя зданиями, служебным проходом, соединявшим аллею с улицей. Кинувшись бежать, он оглянулся из-за плеча.

Повозка уже исчезла. Он так никогда и не увидел лица ее хозяйки.

Двумя часами позже он очутился в своем районе и скользнул в яму к Баслиму:

— Не получилось.

— Почему?

— Шпионы. Их там была целая команда.

— Милостыню, благородный сэр! Ты унес ноги? Милостыню во имя ваших отца и матери!

— Конечно.

— Возьми чашку. — Баслим двинулся на руках и на одном колене.

— Папа! Дай я помогу тебе.

— Остайся здесь.

Торби остался, сожалея, что папа не выслушал его рассказа. С темнотой, поспешив домой, он обнаружил Баслима на кухоньке-ванной в окружении диктофона и проектора для книг; все принадлежности валялись вокруг. Торби посмотрел на изображение страниц, увидел, что не понимает их, и прикинул, какой это может быть язык — странный, во всех словах было по семь букв, не больше и не меньше.

— Эй, папа! Приготовить ужин?

— Нет места... и нет времени. Поешь хлеба. Что сегодня произошло? Жуй хлеб, Торби рассказал ему все. Баслим только кивал.

— Ложись, — наконец сказал он. — сегодня нам снова надо заняться гипнозом. У нас впереди долгая ночь.

Материал, который Баслим хотел впечатать в него, состоял из рисунков, цифр и бесконечных бессмысленных трехсложных слов. Легкое забытие погрузило его в приятный сон, и голос Баслима, доносящийся из диктофона, был тоже приятен.

Во время одного из перерывов, когда Баслим заставил его проснуться, он спросил:

— Папа, для кого все эти послания?

— Если сможешь доставить их, узнаешь; ты ни в чем не должен сомневаться. Если тебе будет трудно припомнить их, попроси, чтобы тебя погрузили в легкий сон, и все вернется.

— Кого попросить?

— Его. Неважно. Теперь — снова спать. Ты спишь. — Баслим щелкнул пальцами.

Под слабое бормотание диктофона Торби ощутил смутное беспокойство: ему показалось, что Баслим куда-то собрался. Он пристегнул свою искусственную ногу, что заставило Торби удивиться во сне; папа носил ее только в доме. Затем он ощутил запах дыма и подумал, что на кухне что-то горит и надо пойти посмотреть. Но он был не в состоянии двинуться, пока в его мозг вливались слова.

Он беспокоился, сможет ли повторить тот урок, что вытвердил.

— Все правильно?

— Да. А теперь иди спать. Остальную часть ночи ты можешь спокойно отдыхать.

Баслим ушел под утро. Торби не удивился: теперь все действия папы предсказать было еще труднее, чем раньше. Он съел завтрак, взял чашку и занял свое место на Площади. Дела шли плохо — папа был прав; для своей профессии Торби теперь выглядел слишком здоровым и сытым. Может, ему стоит подучиться вывертывать суставы, как Гранни Змея. Или прикупить контактные линзы с нанесенной на них катарактой.

К полудню в порту вне расписания приземлился грузовой корабль. Приступив к обычным расспросам, Торби выяснил, что это был Свободный Торговец "Сису", порт приписки Нью-Финляндия на Шиве-Ш.

Как обычно, это были те минимальные сведения, которые он должен был сообщить папе, увидевшись с ним. Но Капитан Крауса с "Сису" был одним из тех питейных, которым Торби должен был когда-нибудь, если это понадобится, передать послание.

Это беспокоило Торби. Он знал, что не может встретиться с Капитаном Крауса — пока папа жив и здоров, эта возможность представляла лишь в отдаленном будущем. Но может быть, папа торопится узнать, что "Сису" совершила посадку. Рейсовые грузовики приходят и уходят, и никто не знает, когда это случится, потому что порой они проводят в порту всего несколько часов.

Торби сказал про себя, что должен быть дома через пять минут — и папа, возможно, поблагодарит его. В худшем случае, он его обругает за то, что ушел с Площади, но, черт возьми, из сплетен он почерпнет все, что упустил.

Торби ушел.

Руины старого амфитеатра простирались до одной трети периферии нового. Дюжина дыр вела в лабиринт, который образовался из старых загонов для рабов; и от этих входов внутрь вело бессчетное количество путей в ту часть, которую Баслим избрал себе под жилье. Каждый раз и он, и Торби прокладывали себе путь по-новому и старались, чтобы никто не видел, как они входят или выходят.

Торопясь, Торби направился к ближайшему входу и едва не попался: рядом с ним стоял полисмен. Торби не замедлил шага, делая вид, что его цель — маленькая лавчонка зеленщика на улочке, примыкавшей к развалинам. Остановившись, он заговорил с ее владелицей.

— Привет, Инга. Никак ты собралась выбрасывать на помойку эти прекрасные спелые дыни?

— Нет тебе дыни.

Он позвякал монетами.

— Как насчет вон той побольше? Полцены, и я не буду обращать внимание, что у нее подгнил бок. — Он нагнулся к ней. — Что за пожар?

Она мигнула, указывая на полисмена.

— Исчезни.

— Рейд?

— Исчезни, я говорю.

Торби бросил монеты на прилавок, взял грушу и пошел прочь, высасывая мякоть. Он не спешил.

Осторожное изучение окрестностей дало ему понять, что полиция окружила руины кольцом. У одного из входов под присмотром патрульных грустно толпилась группа оборванных пещерных жителей. Баслим считал, что в подземельях живет самое малое до пятисот человек. Торби не очень верил в это число, потому что редко видел или слышал кого-то поблизости. Среди пленников он узнал только двоих.

Через полчаса, уже чувствуя серьезное беспокойство, Торби обнаружил проход, рядом с которым не было полиции: похоже, она о нем не знала. Понаблюдав за ним в течение нескольких минут, он рванулся вперед и под прикрытием кустов нырнул вниз. Внутри он сразу же оказался в сплошной темноте, и поэтому двигался осторожно, все время прислушиваясь. Нельзя исключить, что у полиции могли быть очки, с помощью которых они видели и в темноте. Торби не был уверен, что на этот раз темнота, как всегда, поможет ему увильнуть от них. Но выбора не было.

Внизу в самом деле была полиция; он слышал разговоры двух-трех из них и видел свет фонариков — если соглядатаи в самом деле могли пользоваться приборами ночного видения, у этих ничего не было. Держа автоматы наперевес, она старательно искали что-то. Но они были на чужой территории, которую Торби считал своим домом. Опытный исследователь подземного мира, он знал все его коридоры так же

хорошо, как собственную ладонь; весь год он прокладывал дороги в сплошной темноте и делал это дважды в день.

В тот момент, когда они его заметили, Торби был уже далеко. Он прыгнул в дыру, которая вела на следующий уровень, просквозил ее, шагнул в проход и замер.

Найдя дыру, они заглянули в ее узкую щель, которой так свободно воспользовался Торби, и один из них сказал:

— Нам нужна лестница.

— Брось, мы найдем ступеньки или спуск. — И они ушли.

Подождав, Торби через несколько минут уже был у своих дверей. Он смотрел, слушал, принюхивался и прикидывал, пока не пришел к убеждению, что поблизости никого нет, затем нагнулся к дверям и приложил палец к замку. И как только он это сделал, то сразу же понял: что-то не в порядке.

Двери не было; вместо нее зияла дыра.

Он застыл; нервы его были напряжены. Он чувствовал чужой запах, но запах был уже старым, и звуков дыхания не было слышно. Тишину нарушали только капли из крана.

Торби решил — он должен увидеть, что случилось. Обернувшись, он убедился, что отсветов фонариков нет и, войдя внутрь, повернул выключатель на "тускло".

Ничего не изменилось. Он крутил выключатель во всех позициях, но света по-прежнему не было. Он вошел внутрь, опасаясь наткнуться на кого-то, притаившегося в уютной гостиной, добрался до кухни и зажег свечу. Она была не там, где обычно, но Торби нащупал ее, а затем спички.

Все полки, все шкафчики были разломаны, еда и посуда валялись на полу. В большой комнате оба матраца были вспороты и их содержимое выкинуто наружу. Полный разгром жилища говорил о послешном обыске, когда ищут не что-то определенное, но заботятся лишь о быстроте. Торби оглядел побоище, и подбородок его задрожал. А когда он нашел около дверей протез папы, раздавленный тяжелым сапогом, то разразился рыданиями, и должен был поставить свечу на пол, чтобы не выронить ее. Подобрал сломанный протез, он, как куклу, прижал его к груди и опустился на пол, со стенами качаясь вперед и назад.

ГЛАВА 5

Следующие несколько часов Торби провел в темном коридорчике, рядом с первым ответвлением, откуда мог услышать Баспима, если бы тот вернулся.

Он ловил себя на том, что погружается в дремоту, затем внезапно пробуждался и понимал, что надо узнать, который час; ему казалось, что он бодрствует не меньше недели. Вернувшись домой, он зажег свечу. Но их единственные часы, домашняя "Вечность", были раздавлены. Радиоактивная капсула, без сомнения, продолжала отсчитывать вечность, но часы молчали. Торби посмотрел на них и заставил себя задуматься над практическими делами.

Если бы папа был свободен, он бы вернулся. Но его увела полиция. Может, они только поспрашивают его и отпустят?

Нет, они его не отпустят. Насколько Торби было известно, папа никогда не делал того, что могло бы принести вред Саргону — но он давно понял, что папа отнюдь не был простым и безобидным старым нищим. Он никак не представлял себе, зачем папа делал многое из того, что никак не согласовывалось с обликом "безобидного старика нищего", но было ясно — полиция что-то знала или подозревала его в чем-то. Раз в год полиция обычно "чистила" развалины, бросая в наиболее подозрительные дыры бомбы с рвотным газом: как правило, это приводило лишь к тому, что пару ночей приходилось устраиваться на ночевку где-нибудь в другом месте. Они целились арестовать именно папу, и они что-то искали.

Полиция Саргона руководилась несколько иными правилами, чем юстиция; там уже заранее знали, что человек виновен, затем допрашивали его, прибегая к внушительным и жестоким методам, пока он не начинал говорить... методы были столь серьезны, что арестованный обычно старался рассказать все еще до того, как его начинали допрашивать. Но Торби знал, что полиции не удастся выжать из папы ничего, если он не захочет говорить.

Так что допросы могли продолжаться долго.

Может, именно в эту минуту они и трудятся над ним. Торби почувствовал, как у него сжался желудок.

Он должен вырвать папу из их рук.

Как? Как моль может атаковать Президиум? У Торби было не больше шансов, чем у мотылька.

Баслим может находиться в тайных камерах участка полиции, что было бы самым логичным по отношению к столь незначительному заключенному. Но Торби подсознательно чувствовал, что папа относится не к таким... и в этом случае он может быть где угодно, вплоть до недр Президиума.

Торби может отправиться прямо в полицейский участок и осведомиться, куда дели его хозяина — но такое уважительное отношение к саргонской полиции вряд ли дало бы ему что-нибудь: скорее всего как ближайший родственник он бы оказался в роли очередного допрашиваемого, и Торби воочию увидел, как в закрытой камере из него вытягивают ответы (которые, возможно, он и не знает) на те вопросы, которыми мучают Баслима.

Торби не был трусом: просто он знал, что не зная броду, не стоит соваться в воду. Все, что он может сделать для папы, должно быть сделано косвенным образом. Он не мог требовать своих "прав", потому что не обладал ими; такая идея никогда и не приходила ему в голову.

Если бы он был человеком с карманом, полным стелларов, можно было бы дать взятку. А у Торби было не больше двух минимов. Ему оставалось действовать украдкой, и для этого нужна информация.

Он пришел к этому заключению, как только понял, что реальной возможности освобождения папы из полиции не существует. Но на тот

невероятный случай, если Баслим сможет выговорить себе свободу, Торби оставил записку, в которой сообщал папе, что вернется на следующий день, и положил ее на полку, которую они использовали как почтовый ящик. И затем двинулся в путь.

Была уже ночь, когда он высунул из дыры голову. Он никак не мог сообразить, провел ли он в развалинах полдня или полтора. Ситуация заставила его изменить свои планы: первым делом он собирался навестить Ингу, зеленщицу, и выяснить, что ей известно. Но так как полиции вокруг не было видно, он может передвигаться свободно, если не наткнется на ночной патруль. Но куда? Кто сможет или захочет снабдить его информацией?

У Торби была дюжина приятелей и сотни людей он знал в лицо. Но все его знакомцы были вынуждены соблюдать комендантский час; он встречался с ними только днем, и в большинстве случаев даже не знал, где они спят. Но в этих местах комендантский час не имел силы. Во имя коммерции и для удобства посещения баров, игорных и других гостеприимных заведений прибывающими космонавтами двери в районе Веселой Улицы рядом с космопортом никогда не закрывались. Посетитель, даже простой свободный человек, мог оставаться здесь всю ночь, правда, рискуя быть схваченным, если он выйдет в город между наступлением комендантского часа и рассветом.

Риск не волновал Торби; он не собирался показываться кому-то на глаза, и хотя внутри района патрулировала полиция, он знал повадки тамошних стражников. Они ходили парами и не покидали освещенных улиц, изменяя этому обычаю крайне редко. Но главная ценность этого района, которая интересовала Торби, была в том, что слухи здесь часто распространялись за час до события и были значительно полнее, чем о них сообщали заголовки газет.

Хоть кто-то на Веселой Улице должен знать, что случилось с папой. Прокладывая путь по крышам, Торби добрался до этого шумного района. По водосточной трубе он спустился в какой-то темный двор, вышел на Веселую Улицу и остановился, оглядываясь в поисках кого-нибудь из знакомых. Вокруг было много прохожих, но большинство из них были приезжими. Торби знал каждого владельца и хозяина вверх и вниз по улице, но он медлил войти в какой-нибудь кабачок, так как мог попасть прямоком полиции в лапы. Он хотел встретить того, кому мог бы довериться.

Полиции не было, но не было и ни одного знакомого лица, хотя на минутку показалась тетка Сингхем.

Среди множества предсказателей, которые трудились на Веселой Улице, тетка Сингхем была лучшей: она никогда не предсказывала ничего, кроме счастья и удачи. И если они запаздывали, никто из клиентов не жаловался; теплый голос Тетушки внушал уверенность. Кто-то шептал, что свое собственное счастье она ловит, снабжая полицию информацией, но Торби не верил в эти слухи, потому что им не верил и папа. Она была прекрасным источником новостей, и Торби решил попытать счастья – самое большое, что она могла сообщить полиции, что он жив и на свободе... а это они и так знали.

За углом, спраг от Торби, было кабаре "Небесная Гавань"; Тетушка расстелила свой коврик перед входом в него, решив ловить клиентов, которые будут вот-вот выходить по окончании представления.

Торби огляделся по сторонам и рванулся вдоль улицы к кабаре.

– Эй! Тетушка!

Она с удивлением обернулась, а затем сделала бесстрастное лицо. Не шевеля губами, она сказала достаточно громко, чтобы Торби услышал:

– Уноси ноги, сынок! Скрывайся! Неужто ты с ума сошел?

– Тетушка... куда они его забрали?

– Нырни в какую-нибудь дырку и прячься! За тебя назначена награда!

– За меня? Что за глупости, Тетушка, никто не будет платить за меня награды. Ты только скажи мне, где они его держат. Ты знаешь?

– Они не...

– Что "они не"?

– А ты не знаешь? О, бедный мальчик! Они укоротили его.

Торби испытал такой ужас, что потерял дар речи. Хотя Баслим говорил, что наступит время, когда он будет мертв, Торби никогда по-настоящему не верил в это; он был не в состоянии представить себе, что папы нет, что он мертв.

Он не слышал, что она говорила, и ей пришлось повторить:

– Ищейки! Уходи!

Торби посмотрел из-за плеча. По направлению к ним двигались двое полицейских – время уносить ноги! Но он был зажат между улицей и стеной, ни одного выхода в поле зрения, кроме дверей кабаре... и если он кинется в них, в таком виде и так одетый, швейцар просто кликнет патруль.

Но деваться было некуда. И Торби, повернувшись к полиции спиной, вошел в тесное фойе кабаре. Там никого не было – на сцене шло последнее действие, и даже лоточки ушли поглазеть на него. Внутри фойе стояла стремянка и на ней ящик со свечащимися буквами, которые подвешивались над входом, оповещая о представлении. Торби увидал их, и в голове его мелькнула мысль, которая заставила бы Баслима гордиться своим учеником – схватив стремянку и короб, Торби вышел наружу.

Не обращая внимания на полицейских, он водрузил стремянку под небольшим свечащимся объявлением, которое красовалось над входом и, держась к полицейским спиной, поднялся по стремянке. Тело его было ярко освещено, но голова и плечи скрывались в тени. Он начал спокойно снимать буквы.

Двое полицейских остановились как раз под ним. Торби постарался скрыть охватившую его дрожь и продолжал трудиться со спокойной уверенностью наемного работника, исполняющего привычную работу. Он слышал, как Тетушка Сингхем окликнула полицейского:

– Добрый вечер, сержант!

– Добрый вечер, Тетушка. Что ты будешь врать сегодня вечером?

– Вот уж в самом деле! Я вижу у вас в будущем прекрасную юную

девушку, с руками нежными, как птицы. Дайте мне посмотреть на вашу ладонь и, может быть, я смогу прочесть ее имя.

– А что скажет моя жена? Сегодня вечером нет времени для болтовни, Тетушка... – Сержант посмотрел на человека, меняющего вывеску, потер подбородок и сказал: – Мы должны выслеживать отродье Старого Баслима. Ты его не видела? – Он снова посмотрел на работу, что шла над его головой, и его глаза слегка расширились.

– Неужто я сижу здесь только, чтобы собирать сплетни?

– Хмм... – Он повернулся к напарнику. – Родж, пройдишь внутрь и не забудь заглянуть к картежникам и в туалет. Я присмотрю за улицей.

– О' кей, серж.

Когда напарник скрылся, старший полицейский повернулся к гадке.

– Плохи дела, Тетушка. Кто бы мог представить, что Старый Баслим, этот калека, шпионил против Саргона?

– И в самом деле, кто? – Она наклонилась вперед. – Это правда, что он умер от страха, прежде, чем они его укоротили?

– Он знал, что его ждет, и у него был с собой яд. Но он скончался еще до того, как его вытащили из норы. Капитан был просто в ярости.

– Если он был уже мертв, зачем же его укорачивали?

– Ну-ну, Тетушка, закон надо соблюдать. Хотя это не та работа, что доставляет удовольствие. – Сержант вздохнул. – Грустно жить на этом свете, Тетушка. Как подумаю об этом бедном мальчишке, которого запутал старый мошенник... а теперь и комендант и капитан, оба хотят задать парню вопросы, на которые они предполагали получить ответы у старика.

– Что они хотят узнать?

– Ничего особенного. – Сержант поковырял грязь концом своей дубинки. – Но будь я на месте этого мальчишки и знай я, что старик мертв и у меня нет ответов на трудные вопросы, я был бы уже далеко отсюда. Я бы пристроился на какую-нибудь ферму подальше от города, хозяину которой нужны крепкие руки и которого не волнует, что делается в городе. Но поскольку я не он, то, как только увижу его, то арестую его и представлю капитану.

– Наверно, в эту минуту он в самом деле сидит где-то между грядок и трясется от страха.

– Возможно. Но это лучше, чем держать свою голову под мышкой.

– Сержант еще раз оглядел улицу и крикнул: – Все в порядке, Родж. Кончай свои дела. – Двинувшись, он еще бросил взгляд на Торби и сказал:

– Спокойной ночи, Тетушка. Если увидишь его, кликни нас.

– Так и сделаю. Да здравствует Саргон.

– Да здравствует.

Пока полиция медленно удалялась, Торби, стараясь скрыть дрожь, продолжал делать вид, что занят делом. Посетители повалили из кабаре, и Тетушка затянула свой речитатив, обещая счастье, удачу и хорошие виды на будущее – естественно, не даром. Торби спускался, таща за собой корзинку с буквами, и собрался было уже войти в кабаре, как чья-то рука схватила его за подмышку.

– А ты что здесь делаешь?

Торби похолодел, но затем сообразил, что это был всего лишь швейцар, разгневанный изменением вывески. Не глядя вниз, Торби сказал:

– В чем я ошибся? Вы платите мне за то, чтобы я менял эту мигалку.

– Я плачу?

– Ну, ясно. Вы мне сказали... – Торби посмотрел вниз, изобразил изумление и сказал. – Это были не вы.

– Конечно, не я. Слезай оттуда.

– Не могу. Вы меня держите за ногу.

Человек отпустил его и отступил на шаг, чтобы Торби мог спуститься.

– Понятия не имею, что за идиот сказал тебе... – Он поперхнулся, как только лицо Торби оказалось на свету. – Эй, да это же тот нищий мальчишка!

Мужчина попытался схватить его, но Торби бросился бежать. Он нырнул между прохожими, а за его спиной раздавались крики: – Патруль! Патруль! Полиция! – Он снова оказался в темном дворе и, подгоняемый мощным выбросом адреналина в кровь, взлетел по трубе, словно это был ровный тротуар. И пока за ним не осталась дюжина крыш, он не остановился.

Наконец, присев, он прислонился к каминной трубе, перевел дыхание и попытался собраться с мыслями.

Папа мертв. Этого не могло быть, но так оно и есть. Старый Подди не говорил бы, не знай он всего доподлинно. И вот... и вот в эту минуту голова папы нанизана на кол, что стоит под пилоном, рядом с головами других несчастных. В мгновенном озарении Торби увидел эту ужасную картину и забился в рыданиях.

Прошло много времени, прежде чем он поднял голову, вытер лицо кулаками и выпрямился.

Значит, папа мертв. Ладно. Что же ему теперь делать?

Во всяком случае, папа обругал бы его за такие вопросы. Торби почувствовал гордость с примесью горечи. Папа был и остался самым умным: они выследили его, но в конце концов папа посмеялся над ними.

И все же, что ему сейчас делать?

Тетушка Сингхем предупредила его, что надо скрываться. Подди откровенно, как всегда, добавил, что надо выбираться из города. Хороший совет – и если бы он мог последовать ему, то еще до рассвета исчез бы из города. Папа учил его, что не стоит сидеть и ждать ищеек, а лучше самому вязываться в драку, но Торби больше ничего не может сделать для папы, потому что он мертв – так что держись!

“Когда я буду мертв, ты найдешь человека и передашь ему послание. Могу ли я положиться на тебя? Ты не растеряешься, не забудешь его?”

Да, папа, ты можешь положиться на меня! Я не забуду – я все сделаю! Торби приободрился в первый раз с того времени, как пришел в разрушенный дом; космический корабль “Сису” стоит в порту, его шкипер в списке, что ему дал папа. “Первому же, кого ты увидишь” – вот что ему сказал папа. Я ничего не перепутаю, папа; я все

помню. Я все сделаю, папа, я все сделаю! Со страстной надеждой Торби решил, что это послание было последним, самым важным известием, которое папа должен был передать – ведь они сказали, что он был шпионом. Отлично, он поможет папе завершить свое дело. Я сделаю это, папа!

Торби не испытывал никаких угрызений совести относительно того "преступления", которое он должен был совершить; насильственно превращенный в раба, он не чувствовал ни малейшей преданности Саргону, и Баслим никогда не старался внушить ему ее. Самое сильное чувство, которое он испытывал по отношению к Саргону, был суеверный страх, но даже и он исчез перед яростным желанием мести. Он не боялся ни полиции, ни самого Саргона; просто он хотел как можно дольше держаться подальше от них, чтобы исполнить повеление Баслима. А потом... ну что ж, если они схватят его, он успеет сделать свое дело прежде, чем его укоротят.

Если только "Сису" еще в порту...

О, она должна быть там! Но первым делом необходимо было убедиться, что судно еще не стартовало... нет, первым делом надо было до наступления дня скрыться из виду. И если он хочет что-то сделать для папы, то должен вбить в свою тупую башку, что сейчас в миллион раз важнее не попасть в лапы ищеек.

Исчезнуть из виду, выяснить, стоит ли еще на грунте "Сису", передать послание ее шкиперу... и все это в то время, когда каждый патрульный в районе охотится именно за ним.

Может быть, ему лучше проложить путь задами космопорта, где его никто не знает, проникнуть внутрь и, проделав долгий путь, достичь "Сису". Нет, это глупо, его едва не поймали именно потому, что он не знал тут никаких лазеек. Здесь же он знает каждый дом и почти каждого.

Но ему нужна помощь. Он не может выйти на улицу, остановить космонавта и обратиться к нему с вопросом. Кто у него есть из близких друзей, который может помочь... даже рискуя нарваться на полицию? Зигги? Не будь идиотом: Зигги тут же сдаст его, чтобы получить вознаграждение, за два минуса Зигги продаст родную мать – Зигги считает, что каждый, кто не может первым выйти на финишную ленточку, сущий сопляк и получает по заслугам.

Кто еще? Торби пришел к печальному выводу, что большинство его друзей-сверстников так же ограничены в своих возможностях. Кроме того, он не знал, как найти их ночью, не мог же он целыми днями слоняться по улицам и ждать, когда покажется кто-нибудь из них. Что же касается некоторых, что жили с семьями и адреса которых он знал, он не мог найти среди них ни одного, кому бы мог довериться и кто мог бы убедить родителей помочь ему спастись от полиции. Большинство честных граждан, которых Торби знал, были заняты только своими собственными делами и предпочитали поддерживать с полицией хорошие отношения.

Это должен быть один из друзей папы.

Он быстро перебрал их в уме. В большинстве случаев он не дога-

дывался о степени дружеских отношений – кровное братство или простое знакомство. Единственная, до кого он мог добраться и кто, возможно, мог помочь ему, была Матушка Шаум. Как-то она спрятала Баслима и его, когда рвотные газы выгнали их из убежища, и у нее всегда было доброе слово и холодное питье для Торби.

Рассвет приближался, и он двинулся в путь.

Матушка Шаум содержала пивную и небольшую гостиничку по другую сторону Веселой Улицы, недалеко от ворот для команд космопорта. Через полчаса, оставив позади много крыш, дважды спускаясь и снова влезая, один раз нырнув через освещенную улицу, Торби наконец оказался на крыше ее обиталища. Он не торопился рвануться к дверям – если будет слишком много свидетелей, ей придется звать полицию. Он нацелился на черный ход и скорчился между мусорными баками, но решил, что на кухне слишком много голосов.

Когда он добрался до ее крыши, рассвет почти настиг его; он привычно спустился с крыши, но обнаружил, что замок и задняя дверь слишком крепки, чтобы поддаться его голым рукам. Он еще раз обошел зады дома, пытаясь как-то попасть внутрь; было уже почти светло, и ему нужно было как можно скорее оказаться в укрытии. Осматриваясь, он обнаружил вентиляционные отверстия, по одной с каждой стороны невысокой мансарды. Торби прикинул, что отверстия были как раз по ширине его плеч, он еле мог ввинтиться внутрь – но они вели в дом...

Отверстия были прикрыты решетками, но через несколько минут, ободрав руки, он отодрал одну и попытался, извиваясь, как змея, ногами вперед влезть внутрь. Он залез по бедра, но его лохмотья зацепились за обломки решетки, и он застрял в отверстии как пробка: нижняя часть тела уже находилась в доме, а голова, грудь и руки торчали наружу, словно он изображал лямпу на водосточной трубе. Он не мог шевельнуться, а небо все светлело.

Напрягшись от головы до пяток и приложив отчаянные усилия, он рванулся и провалился внутрь, едва не расшибив голову. Полежав и приведя дыхание в порядок, Торби поднялся и поставил решетку на место. Она уже не остановила бы преступника, но должна была ввести в заблуждение того, кто смотрел снизу на высоту четвертого этажа.

Чердак оказался заперт. Но запоры были не столь надежны. Оглядевшись, он нашел тяжелый железный штырь, забытый ремонтниками, и попытался с его помощью вскрыть деревянную крышку люка. Наконец он проделал в ней дыру и, передохнув, принял к отверстию.

Внизу была кровать. Он видел, что на ней кто-то лежит.

Торби решил, что лучшего ждать ему не приходится; в поисках Матушки Шаум ему придется иметь дело только с одним человеком, и много шума тут не будет. Оторвавшись от дырки, он запустил в нее пальцы, нащупал засов и, уцепившись за него ногтями, наконец отодвинул. Крышка люка бесшумно поднялась.

Фигура на кровати не шевелилась.

Он повис в проеме, держа на кончиках пальцев, оценил оставшееся расстояние и спрыгнул, стараясь не производить шума.

Человек сел в кровати, держа наведенный на него пистолет.

– Давно я дожидаюсь тебя, – услышал он. – Я уже давно слушаю, как ты там возишься.

– Матушка Шаум! Не стреляйте!

Наклонившись, она присмотрелась к нему. – Ребенок Баслима! – Она покачала головой. – Ну, парень, ты и попал в заваруху... жарче, чем загоревшийся матрац. Чего ради ты сюда забрался?

– Я не знаю, куда мне деться.

Она нахмурилась.

– Наверное, это комплимент... хотя я предпочла бы чуму в кастрюле, имей я право выбора. – В ночной рубашке она выбралась из постели, шлепая по полу большими босыми ногами, подошла к окну и присмотрелась к улице вниз. – Ищейки там, ищейки тут, ищейки проверяют каждую дыру на улице по три раза за ночь и разогнали всех моих клиентов... парень, ты наделал шума больше, чем я видела с времен восстания на фабрике. Почему бы тебе не повеситься?

– Не можете ли вы укрыть меня, Матушка?

– Кто сказал, что не могу? Я никого еще не выталкивала за дверь. Но не могу сказать, что мне это нравится. – Она сердито посмотрела на него. – Когда ты ел в последний раз?

– Не помню.

– Я тебе приготовлю чего-нибудь. Не думаю, чтобы ты мог уплатить, – она пронизательно посмотрела на него.

– Я не голоден, Матушка Шаум. Скажите, "Сису" еще в порту?

– Чего? Не знаю. Впрочем, она еще на месте – пара ребят с "Сису" были у меня вечером. А в чем дело?

– Я должен передать письмо ее шкиперу. Мне надо увидеть его. Я просто о б я з а !

Она издала стон, изображая предельное возмущение.

– Сначала он будит приличную трудящуюся женщину, забывшуюся в первом утреннем сне, валится ей на голову, угрожая ее жизни и тем, что у нее отберут лицензию. Он грязен, ободран, исцарапан и, конечно, будет пользоваться моим чистым полотенцем и туалетным мылом, поскольку иного выхода нет. Он голоден, но не может заплатить за угощение... а теперь еще я вынуждена выслушивать от него оскорбительные указания, что я обязана бегать по его поручениям!

– Я не голоден... и не важно, мылся я или нет. Я должен увидеть Капитана Краусу.

– Прекрати приказывать мне в моей же собственной спальне. Ты слишком много себе позволяешь и тебя мало били, если я правильно понимаю того старого бездельника, с которым ты жил. Тебе придется подождать, пока днем не заглянет кто-нибудь из ребят с "Сису" и я не смогу передать с ним записку Капитану. – Она повернулась к дверям. – Вода в кувшине, полотенце на вешалке. Приведи себя в порядок. – Она вышла.

Туалет взбодрил его и, обнаружив примочку на ее туалетном столике, Торби смазал свои царапины. Вернувшись, Матушка Шаум шлепнула перед ним два ломтя хлеба с хорошим куском мяса между ними и, добавив кружку молока, молча вышла. С тех пор, как папа погиб, Торби казалось, что ему кусок в горло не полезет, но, встретив наконец

Матушку Шаум, он почувствовал, что тревоги начинают оставлять его.

Она вернулась:

– Глотай последний кусок и прячься. Говорят, что они обыскивают каждый дом.

– Да? Тогда я пойду.

– Заткнись и делай, что тебе говорят. Тебе надо спрятаться.

– Где?

– Вот здесь, – сказала она, тыкая пальцем.

– Здесь? – В углу под окном стоял встроенный шкафчик; главный недостаток заключался в его размерах: по ширине он соответствовал человеку, но длина его составляла едва одну треть человеческого тела.

– Не думаю, что умещусь здесь.

– Именно это ищeyки и подумают. Скорее. – Подняв крышку, она вытащила какие-то вещи и, подтянув кверху заднюю стенку ящика, открыла дыру в стене, примыкающей к соседней комнате. – Суй туда ноги и не воображай, что ты единственный, кому приходилось здесь скрываться.

Торби нырнул в ящик, сунул ноги в дыру и лег на спину; опустившаяся крышка была всего в нескольких дюймах над его головой. Набросив коврик, Матушка Шаум спросила его:

– Все в порядке?

– Да, конечно. Матушка Шаум! Он в самом деле мертв?

В ее голосе появились почти мягкие нотки.

– Мертв, мальчик. Это очень грустно.

– Вы уверены?

– Знай я его так же, как и ты, я бы мучилась теми же вопросами. Поэтому я прогулялась к пилонам посмотреть. Это он. Но могу сказать тебе, мальчик, что на лице у него улыбка, он перехитрил их... и так оно и есть. Им не нравится, когда человек уходит от них, не дождавшись допросов. – Она снова вздохнула. – Теперь, если хочешь, можешь поплакать, но тихонько. Если услышишь кого-нибудь, даже не дыши.

Крышка окончательно захлопнулась. Торби прикинул, сможет ли он дышать, но решил, что здесь должны быть отверстия для воздуха; дышать было трудно, но возможно. Он поерзал, устраиваясь под тряпьем... И поплакав, заснул.

Разбудили его голоса и шаги, которые раздались как раз вовремя, потому что он собирался принять сидячее положение. Крышка над его лицом приподнялась и снова захлопнулась, оглушив его, мужской голос крикнул:

– Сержант, в этой комнате никого нет!

– Посмотрим, – Торби узнал голос Подди. – Ты забыл о чердаке. Тащи лестницу.

– Там ничего нет, – сказала Матушка Шаум, – кроме пустоты, сержант.

– Я сказал – посмотрим.

Через несколько минут он добавил:

– Дай-ка мне фонарик. Хммм... вы правы, Матушка... но он здесь был.

– Что?

– Выломана дальняя решетка... и следы в пыли. Я думаю, что здесь он спустился, прошел через вашу спальню и исчез.

– О, святые и демоны! Меня могли прикончить в моей же постели! И это вы называете защитой полиции?

– С вами ничего не случилось. Но лучше вы прибейте эту решетку или вас будут посещать змеи и их родня, что живет по соседству. – Он помолчал. – Я так и думал, что он сначала попытается остаться в этом районе, а потом, когда почувствует, что пахнет жареным, вернется в развалины. И если так, вне всякого сомнения, мы его оттуда выкурим еще до конца дня.

– Как вы думаете, мне ничего не будет угрожать в постели?

– Кому нужен такой старый мешок жира?

– Какие безобразия мне приходится слышать! А я как раз собиралась предложить вам по глоточку, чтобы смыть пыль из глотки.

– В самом деле? Так давайте спустимся на кухню и поговорим на эту тему. Может, я и не прав. – Торби слышал, как уносили лестницу и как все спускались вниз. Наконец он осмелился перевести дыхание.

Позже, вернувшись, она с ворчанием открыла крышку.

– Можешь размять ноги. Но будь готов тут же прыгнуть обратно. Три пинты лучшего, что у меня было. О, эти полицейские!

ГЛАВА 6

Капитан "Сису" появился в этот же вечер. Шкипер Крауса был высок, массивен и вежлив; плотно сжатый рот и морщины, оставленные тревогами, выдавали в нем человека, который пользовался уважением и привык брать на себя ответственность. Он был зол за то, что позволил какой-то ерунде оторвать его от повседневных забот. Его глаза бесцеремонно обшарили Торби.

– Матушка Шаум, вот эта личность утверждала, что у него ко мне срочное дело?

Капитан говорил на жаргоне торговцев Девяти Миров, искаженной форме саргонезского языка, не заботясь о грамматической верности окончаний. Но Торби понимал жаргон.

– Если вы капитан Фьялар Крауса, – ответил он, – у меня есть для вас послание, благородный сэръ.

– Кончай называть меня "благородным сэром". Да, я Капитан Крауса.

– Да, бла... да, Капитан.

– Если у тебя есть что передать мне, давай сюда.

– Да, Капитан, – Торби начал излагать слова, которые он запомнил для Краусы на диалекте финского языка. – "Капитану Фьялару Крауса, владельцу космического корабля "Сису" от Баслима Калеки; приветствую тебя, старый приятель! Привет твоей семье, клану и всей родне, также мое почтительное уважение твоей досточтимой матери. Я говорю с тобой устами моего приемного сына. Он не понимает языка Суоми, и я обращаюсь к тебе в личном порядке. Когда ты получишь это послание, я буду уже мертв..."

Крауса, начавший было улыбаться, вскрикнул от изумления. Торби остановился.

– Что он говорит? – вмешалась Матушка Шаум. – На каком языке?

Крауса отмахнулся от нее:

– На моем. Это правда, что он говорит?

– Откуда мне знать? Я не понимаю это галиматью.

– А... прошу прощения, прошу прощения! Он говорит, что тот старый бродяга, который обитал на площади – он называет его "Баслим". – мертв. Это правда?

– Конечно. Я бы сама вам сказала об этом, знай я, что вы им интересуетесь. Все это знают.

– Все, кроме меня. Что с ним случилось?

– Его укоротили.

– Укоротили? За что?

Она пожала плечами:

– Откуда мне знать? Говорят, что он умер или отравился еще до того, как его успели допросить – так что откуда мне знать? Мне саргонская полиция не доверяет.

– Но если... хотя неважно. Ему удалось обмануть их, не так ли? Это на него похоже. – Он повернулся к Торби. – Продолжай. Заканчивай свое письмо.

Прерванный на полуслове, Торби был вынужден начать все с начала. Крауса с нетерпением ждал, пока он дойдет до слов "Я буду уже мертв". "Мой сын – это единственная ценность, которой я владею по смерти; и я вручаю его твоим заботам. Я прошу тебя поддержать его в трудную минуту и дать совет, словно это твой собственный сын. Я прошу, как только позволят обстоятельства, доставить его к командиру любого судна Стражи Гегемонии, сказав, что он похищенный гражданин Гегемонии и нуждается в их помощи, чтобы найти свою семью. Если они захотят оказать помощь, они смогут установить его личность и вернуть к его народу. Все остальное я предоставляю твоей доброй воле. Я обязал его повиноваться тебе и уверен, что он так и поступит; он отличный мальчик, несмотря на его возраст и жизненный опыт, и я доверяю его тебе с легким сердцем. А теперь я расстаюсь с тобой. Я доволен жизнью, которую прожил. Прощай".

Капитан закусил нижнюю губу и его лицо напряглось, как у взрослого человека, который старается удержать слезы. Наконец он хрипло сказал:

– С этим все ясно. Ты готов, парень?

– Сэр?

– Ты отправляешься со мной. Или Баслим не сказал тебе?

– Нет, сэр. Но он сказал мне делать все, что вы прикажете. Я иду с вами?

– Да. Как быстро ты можешь отправиться?

Торби сглотнул.

– Прямо сейчас, сэр.

– Тогда двинулись. Я хочу вернуться на мое судно. – Он оглядел





Торби с головы до ног. — Матушка Шаум, можете ли подобрать ему какое-нибудь приличное одеяние? В этом невообразимом тряпье его вряд ли пустят на борт. Хотя неважно; тут по улице есть лавчонка, я ему прикуплю какое-нибудь снаряжение.

Она слушала его с растущим изумлением.

— Вы собираетесь взять его на свое судно? — наконец сказала она.

— Есть какие-то возражения?

— Чего? Совсе нет... если вас не заботит, что его могут вырвать у вас из рук.

— Что вы имеете в виду?

— Вы что, с ума сошли? Отсюда и до ворот космопорта натыкано не меньше шести ищеек... и каждый из них так и мечтает получить вознаграждение.

— Вы хотите сказать, что его ищут?

— А как вы думаете, чего ради я стала бы его прятать в своей спальне? Иметь с ним дело то же самое, что хватать раскаленную сковородку.

— Но почему?

— И снова — откуда мне знать? Но так оно и есть.

— Но вы же не думаете в самом деле, что этот мальчишка мог знать о тайных делах старого Баслима...

— Давайте не будем говорить о том, что делал старый Баслим. Я верноподданная Саргона... и мне не хочется, чтобы меня укоротили. Вы говорите, что хотите взять мальчику на свое судно. Я говорю: "Отлично!" Я буду просто счастлива избавиться от этих хлопот. Но как?

Крауса потер друг о друга костяшки сжатых кулаков.

— Я-то думал, — медленно сказал он, — что мне остается лишь провести его сквозь ворота порта и заплатить эмиграционный налог.

— Ничего подобного, и забудьте об этом. Есть у вас какая-нибудь возможность доставить его на борт без того, чтобы тащить сквозь ворота?

Капитан Крауса встревожился.

— Они так строго смотрят на все нарушения, что если поймают меня, то конфискуют корабль. Вы просите, чтобы я рисковал моим кораблем... и собой... и всей моей командой.

— Я вообще не прошу вас рисковать. Я сама помаю себе голову. Просто я рассказала вам, как обстоят дела. Спроси вы меня, я бы сказала, что вы просто сошли с ума, пускаясь на такое дело.

— Капитан Крауса... — сказал Торби.

— Да? В чем дело, парень?

— Папа сказал мне слушаться вас... но я уверен, что он никогда не заставил бы вас рисковать из-за меня своей головой. — Он перевел дыхание. — Со мной все будет в порядке.

Крауса нетерпеливо взмахнул рукой.

— Нет, нет! — хрипло сказал он. — Баслим поручил мне это... а долги надо платить. Долги всегда надо платить.

— Не понимаю.

— А тебе и не надо понимать. Но Баслим хотел, чтобы я взял тебя

- с собой, поэтому так оно и будет. — Он повернулся к Матушке Шаум.
- Весь вопрос в том, как это сделать. У вас какие-то идеи?
 - М-м-м... возможно. Давайте обговорим их. — Она повернулась.
 - Отправляйся-ка в свое убежище, Торби, и будь повнимательнее. Я должна выйти.

На следующий день незадолго до наступления комендантского часа большой портшез покинул Веселую Улицу. Патрульный остановил его, и Матушка Шаум высунула голову наружу. Патрульный удивился:

— Уезжаете, Матушка? А кто позаботится о ваших клиентах?

— Ключи у Муры, — ответила она. — Но, как хороший приятель, заглядывай туда. Она — не я, и ей может не хватить твердости. — Она что-то сунула ему в руку, и подношение мгновенно исчезло.

— Так и сделаю. Отправляетесь на всю ночь?

— Надеюсь, что нет. Как ты думаешь, может, стоит обзавестись ночным пропуском? Если успею кончить все свои дела, предпочла бы отправиться напрямик домой.

— Теперь они здорово придираются к ночным пропускам.

— Все еще ищут того мальчишку, что жил с нищим?

— В общем-то, да. Но мы его найдем. Если он удрал из города, то подохнет с голоду — они его затравят; а если он еще в городе, мы его загоним.

— Ну, меня-то с ним вы не спутаете. А как насчет пропуска для старой женщины, которой надо съездить по своим делам? — Она положила руку на дверцу, и из пальцев выглянул кончик банковского билета.

Патрульный взглянул на него и отвел взгляд.

— До полуночи хватит?

— Думаю, что вполне.

Вынув блокнот, он что-то написал в нем и, вырвав листок, протянул его Матушке Шаум. Как только она взяла его, деньги переменяли владельца.

— Только не пускай его в ход после полуночи.

— Надеюсь, что буду куда раньше.

Он посмотрел внутрь портшеза, затем оглядел его снаружи. Четыре носильщика стояли терпеливо и молча, что было и не удивительно, поскольку у них не было языков.

— В Ангары Зенита?

— Я всегда там торгую.

— Удачи, Матушка.

— Получше присмотришься к ним. Вдруг один из них — мальчишка нищего.

— Эти волосатые чудовища? Бог с вами, Матушка.

— Привет, Шоп.

Портшез взмыл в воздух, и носильщики двинулись легкой рысью. Как только они завернули за угол, Матушка Шаум заставила их перейти на шаг и задернула занавески. Затем потрепала сверток, лежащий под ней. — Все в порядке?

— Я чуть не задохнулся, — ответил слабый голос.

— Лучше задохнуться, чем укоротиться. Мне тоже досталось. Ну и костляв же ты.

В течение следующей мили она деловито сменила внешний облик, нацепив драгоценности. Закрыв вуалью лицо, оставила видными только живые черные глаза. Наконец, высунув голову, она крикнула портье и спросила у него дорогу, после чего носильщики повернули направо к космопорту. Когда дорога привела к глухому высокому забору, было уже совсем темно.

Проход для космонавтов был в конце Веселой Улицы, для пассажиров — к востоку отсюда, рядом со Зданием Эмиграционного Контроля. За ним, в районе складов, были Торговые Ворота с таможней. В миле за ним располагались ворота собственно космопорта. Но между космопортом и Торговыми Воротами был небольшой проход, оставленный для благородных и достаточно богатых, чтобы иметь собственные космические яхты.

Портшез достиг ограждения космопорта недалеко от Торговых Ворот, повернул и двинулся по направлению к ним. Торговые Ворота, в сущности, представляли собой несколько проходов, ведущих каждый к грузовым докам, перегороженным барьерами, мимо которых проезжали, разгрузившись, фургоны; инспектора Саргона обыскивали их, взвешивали, измеряли, протыкали, просвечивали и открывали грузы, прежде чем допустить их на разгрузку к ожидавшим товаров космическим кораблям.

Барьер перед проходом к третьему доку был открыт; Свободный Торговец "Сису" кончал загрузку. Его владелец ждал окончания работ, беседуя с инспекторами.

Портшез протиснулся между ожидавшими грузовиками и оказался поблизости от дока. Владелец "Сису" посмотрел на леди под вуалью и, глянув на часы, сказал младшему офицеру:

— Осталась всего одна загрузка, я погляжу за ней. А вы отправляйтесь за следующей машиной.

— Есть, сэр. — Молодой человек исчез в кузове грузовика.

На место уехавшей машины тут же встала порожняя. Работа шла споро, пока что-то не устроило хозяина корабля, и он потребовал ее переделать. Старший стивидор было оскорбился, но хозяин прервал его, снова взглянув на часы:

— Время идет. Я не хочу, чтобы груз вывалился из кузова прежде, чем мы его засунем в трюмы, он стоит денег. Так что крепите как следует.

Портшез двигался вдоль ограждения. Наступала темнота; леди под вуалью взглянула на светящийся циферблат часов своего перстня и приказала носильщикам перейти на рысь.

Наконец они оказались около ворот, предназначенных для благородной публики. Леди в вуали, высунув голову, крикнула:

— Открывайте!

На посту здесь стояли два стражника: один в небольшой будочке, а второй снаружи. Он открыл ворота, но простер поперек них свой жезл, когда портшез попытался пересечь линию ворот. остано-

вившись, носильщики опустили свой груз на землю, повернув его правой стороной, где была дверца, к воротам.

Леди под вуалью крикнула:

— Эй, вы, очистите проход! Яхта лорда Марлина!

Стражник, преграждавший проход, помешкал:

— Есть ли у миледи пропуск?

— Ты что, дурак?

— Если у миледи нет пропуска, — медленно сказал стражник, — может быть, миледи найдет какую-то возможность убедить стражу, что милорд Марлин ждет ее?

В темноте был слышен только решительный голос леди под вуалью — у стражника хватило сообразительности не светить ей в лицо. У него уже был большой опыт общения с благородными, и он кипел от злости.

— Если тебе так уж хочется быть дураком, кликни милорда с его яхты! Позвони ему — и уверяю тебе, ты его очень обрадуешь!

Стражник из сторожки вышел наружу.

— Что-то случилось, Син?

— Да нет. — Они о чем-то шепотом посоветовались. Младший пошел позвонить на яхту милорда Марлина, а старший остался снаружи.

Но леди такой оборот дела не удовлетворил, и она продемонстрировала всю свою вздорность. Распахнув рывком дверь портшеза, она ворвалась в сторожку, преследуемая по пятам удивленным стражником. Тот, кто добывался связи, перестал нажимать рычаг аппарата и подняв глаза, испытал приступ дурноты. Дела обстояли еще хуже, чем он предполагал. Перед ним была не глупенькая юная леди, удравшая от своей дуэньи, а разгневанная вдова средних лет — тот тип женщин, у которых хватит влияния, чтобы сломать карьеру обыкновенного человека. Открыв рот, он слушал красочные фиоритуры, понимая, что за все годы, что провел у ворот, пропуская в них лордов и леди, это его наихудший день.

Пока внимание обоих стражников было поглощено бранью Матушки Шаум, из портшеза выскользнул человек и, миновав ворота, пустился бежать, пока не исчез в сумерках взлетного поля. На бегу Торби каждую секунду чувствовал, что сейчас ему в спину вонзится острое жало пули, но тем не менее внимательно следил, когда выберется на нужную дорогу. И добравшись до нее, упал ничком и остался лежать, задышавшись.

А у ворот Матушка Шаум остановилась перевести дыхание.

— Миледи, — один из стражников попытался успокоить ее, — если вы нам дадите возможность дозвониться...

— Можете забыть об этом! Или нет, помните — и до завтра вы еще услышите голос милорда Марлина! — Она рухнула обратно в портшез.

— Прошу вас, миледи!

Не обращая на них внимания, она рывкнула на рабов, те, подхватив портшез, сразу же перешли на рысь. Один стражник так и остался с рукой, протянувшейся к поясу, словно собирался сделать что-то не-поправимое. Но рука его остановилась. Так или иначе, подстрелить одного-другого носильщика этой леди было бы довольно рискованно.

Да и кроме того, она не сделала ничего ужасного.

Хозяин "Сису", одоббив наконец ход погрузки последнего грузовика, вскарабкался в его кузов, махнул водителю, чтобы тот двинулся и подобрался поближе к кабине.

— Эй, там! — он постучал в заднюю стенку.

— Да, Капитан! — донесся изнутри слабый голос водителя.

— Там, на перекрестке стоит знак остановки. Я заметил, что большинство из вас не обращают на него внимания.

— На знак? По той дороге никто никогда не ездит. Там стоит знак остановки, потому что ею иногда пользуются благородные.

— Это я и имею в виду. Кто-то из них может внезапно выскочить под колеса и из-за этого глупого происшествия с одним из ваших благородных я опоздаю с прыжком. Они задержат меня на много девятидней. Так что остановись там, понял?

— Как скажете, Капитан. Вы платите.

— Так оно и есть. — Полустелларовая банкнота исчезла в кабине.

Когда грузовик затормозил, Капитан Крауса подошел к заднему борту, нагнулся и втянул Торби.

— Тихо!

Торби кивнул, сдерживая дрожь. Капитан вынул из кармана клещи и открыл крышку ящика. Вытащив один из джутовых мешков, принялся уминать остальные, в которых были листья верги, бесценного товара на других планетах. Скоро там образовалась большая дыра, а сотня фунтов драгоценных листьев были выброшены за борт.

— Влезай!

Торби занял это пространство, стараясь стать как можно меньше. Капитан навалил на него мешок, прибил планки на место и закончил операцию, обтянув ящик заново и запечатав его отличной подделкой печати инспекции — хитроумное изделие, созданное в машинной мастерской корабля. Выпрямившись, он вытер пот со лба. Грузовик по дуге уже подъезжал к "Сису".

Он сам наблюдал, как шел заключительный этап погрузки, и саргонский инспектор стоял рядом с ним, у его локтя, отмечая каждый ящик, каждую упаковку, которые поднимались на талиях. Затем Крауса, как принято, поблагодарил инспектора и поднялся наверх, используя вместо трапа тали. Трюм был уже почти полон и все было готово для прыжка; места в нем почти не оставалось. Грузчики стали освобождать груз от талей, и даже капитан приложил к этому руку, во всяком случае он уделил внимание одному из ящиков. Когда все тали были свободны, дверь грузового трюма была задраена.

Двумя часами позже Матушка Шаум, стоя у окна своей спальни, смотрела в сторону космопорта. С контрольной башни взвилась зеленая ракета; секундой позже в небо поднялась колонна белого пламени. Когда грохот достиг ее ушей, она мрачно усмехнулась и спустилась вниз присмотреть за делами — Мура в одиночку никак не могла с ними справиться.

Продолжение следует

РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ

Искусствоведы спорят – куда подевался настоящий рок. Если рок-музыка перестает отражать актуальные проблемы, это, наверное, уже не рок вовсе. Рок перерождается в попс, меняя цели и задачи своих приемов на прямо противоположные.

А тем временем экологи причитают о бедствиях. Главная водная артерия России – Волга гноится затопленными лесами и поселениями. В мыльно-нефтяной пене у сточных труб заводов заболевает и гибнет рыба, заражается солитером близ свиноферм, умирает в водах падеж ГРЭС. Реку пучит от бесконечных водохранилищ, она обесцвечена свищами каналов.

Признаться, молодежь слышать не хочет о подобных катастрофах. И неудивительно: ученые, озабоченные охраной окружающей среды, как правило, рассказывают о трагедии скучно, перенасыщая речь мудреными терминами, выкладками в процентах, иллюстрируя занудными графиками и диаграммами.

Организаторы фестиваля "Рок чистой воды", первым походом прошедшего по Волге от истоков до низовья, задумали во взаимном сотрудничестве компенсировать недочеты му-

зыкантов и экологов. Рок заново учился говорить о жизненно важном, но без труда припоминая некогда лихо брошенные свои лозунги: "Мы – вместе", "Чтобы стоять, я должен держаться корнями", "Пора вернуть эту землю себе". А экологи приноравливались не шархаться от экзотичных рокеров, но уметь использовать их искусство как рупор, через который возможно докричаться до молодежи.

Потенциальное братство с рок-музыкантами почувствовали многие обитатели поволжских городов. Концерты прошли в Горьком (Нижем Новгороде), Тольятти (Ставрополе-на-Волге), Астрахани, Куйбышеве (Самаре), Ульяновске (Симбирске), Ярославле, Москве. Они собирали зрителей на стадионах и в цирках, у древних стен исторических памятников и на пристанях, среди которых особенно запомнилась пышная "сталинская" лестница, украшающая волгоградский порт (речные ворота бывшего Царицына). Под напором фестиваля утихли казанские гопники. Миссию зауважало местное начальство, сперва не ликовавшее по поводу визита столь странного ершистого кортежа.

К эпицентрам концертов подтягивались активисты местных политических группировок, приходили депутаты. А в Саратове молодой художник Игорь Петров расположил экспозицию своих произведений прямо на газоне рядом со сценой. Он называет стиль своих картин страшным, однако отражающим действительность словом «экстрасюрреализм». Живопись, музыка, ораторские выступления, заводы и разрушающиеся мосты. И в таком концерте, посвященном 100-летию революции, он, молодой художник, становится центральной акцией.



...о Виктора ЛУПАНДИНА
...ександра ШИШКИНА



"ЧАЙФ"

Идея "Рока чистой воды" была предложена свердловской рок-группой "Чайф". Ее лидер Владимир Шахрин и прежде отличался интересом к общественной деятельности. Он из рабочих, после техникума восемь лет работал на стройке. Был депутатом Кировского района Свердловска. А затем, создав рок-группу, первым взялся и пробил право передавать гонорары с концертов напрямую в детские дома, контролируя, чтобы деньги не разворовывались по дороге. Именно благодаря репутации Шахрина к "Року чистой воды" всерьез отнеслись многие.

Организовал мероприятие менеджер, раньше сотрудничавший с "Наутилусом помпилусом", Константин Ханхалаев. Ему помогали волжские рок-клубы, чьи усилия объединил горьковский молодежный центр "Федерация". Нашли спонсоров, которыми стали Волгоградский завод "Красный Октябрь", Казанский фирменный торговый центр

"Нарспи", Автовазбанк, горьковское п/о "Нефтеоргсинтез", трест "Верхневолгхиммонтаж", горьковское областное общество трезвости.

Впрочем, большинство из этих предприятий сами отравляют Волгу. Однако их директора клялись, что дают деньги не ради отвода глаз, а надеясь вместе решить проблемы защиты окружающей среды.

Что касается общества трезвости, не могу сказать, сочло ли оно в результате продуктивным вложение средств в лихое гуляние рокеров по Волге.

Тот же "Чайф" не без недостатков. Это – безалаберные ребята, чей "пофигизм" периодически зашкаливает в оскорбительное бескультурье. Почувствовав себя лидерами мощной акции, "Чайфы" маленько зазнались. В то же время, как ни странно, сказать внятно хоть полслова про экологию именно Шахрину не удавалось.

Это удивительно, поскольку "Чайф" всегда вызывает симпатию публики своим панибратским демократизмом и "документальностью" песен. В публицистическом конференсе, однако, такая манера Шахрина покуда не играет. В песнях, вероятно, помогает музыкальная энергия, рядом с которой достаточно, чтобы все мысли и чувства текста умещались в полумеждометии "Ой-ё!.." Для серьезной беседы этого мало.

Поход был полезен хотя бы тем, что все группы, и "Чайф" тоже, за три недели ежедневных выступлений наработали артистическую хватку и кураж. Но многое в их творчестве, как подтвердилось, еще совсем не совершенно.

"АУКЦЫОН"

Ленинградская группа "Аукцион" недавно скорректировала свое название, вероятно решив бороться против всего, в том числе – против принятой орфографии. Теперь она – "АукцЫон".

Да, да, это те самые,
*"кто отправился в Европу
показать Парижу... песни"*.

Впрочем, бдительные отечественные блюстителы усмотрели в стихше иную рифму и... сделали популярность "АукцЫону", обсуждая правомерность демонстрации обнаженных ягодиц танцовщика Владимира Веселкина.

Зачем "Року чистой воды" такие клоуны, как "АукцЫон"? Ну, каждый заслоняет Родину от беды, чем может.

"АукцЫон" весьма беспокоится, как бы, пока группа не вылезает из Франции, ее не забыли дома. Молодежь прекрасно знает и помнит солиста команды Олега Гаркушу. Но музыканты не унимаются с новшествами.

Запел еще и Веселкин, став настоящим кабареьером, сочетающим все выразительные возможности артиста. Он красиво и остроумно обыгрывает любой случившийся на сцене предмет, хоть... унитаз, который в руках шоумена превращается в шляпу, подозрную трубу, трон. Не удержится залезть на флагшток, выдавая мастерские акробатические трюки. А голос у Веселкина оказался прекрасный – сильный, богато интонированный, ничуть не задыхающийся в танце исполнителя. (Замечу, Веселкин не пьет и не курит.) Зато любит дурачиться ежеминутно и обожает репертуар вокальных



знаменитостей первой половины века – Вертинского, Козина, Изабеллы Юрьевой, Петра Лещенко, – который поет весьма близко к первоначальной мелодии в отличие от того курьеза, что прозвучал в телепрограмме "А".

И уж для полной гармонии скажу: на корабельных тусовках обнаружилось, что Веселкин недурно рисует. "Да просто очень хорошо, чистый Бакст", – утверждает художник, путешествующий с "АукцЫоном". Кирилл Миллер. (Был такой Бакст в кружке живописцев рубежа веков "Мир искусства". Подобное сопоставление для хобби танцовщика куда как лестно.)

Так что, видите, дело не только в "голых" костюмах Веселкина. Ребята предлагают на службу благородной идее все свои таланты.

"ТЕЛЕВИЗОР"

Вторым соучредителем "Рока чистой воды" стала ленинградская рок-группа "Телевизор". Интеллигентный инязовец Михаил Борзыкин, лидер "Телевизора", явно выделяется к лучшему среди многих рокеров.

Борзыкин имел свою цель в волжском походе. В результате он смог приобрести в Ленинграде собственную студию. Можно ли назвать такой исход корыстным? Время покажет, сейчас Борзыкин утверждает, что студия станет помогать молодым музыкантам, служить объединению рок-движения в стране.

А отличает Борзыкина, кроме внешней корректности, глубина и острота песен. Это качество вы-

вело его в обойму звезд отечественной рок-сцены, но и притормозило в статусе "некоммерческой" звезды. Уже позже, погастролирував за рубежом, в Италии, Швеции, ФРГ, Франции, Голландии, Бельгии, солист "Телевизора" отточил звучание жесткой "волны" своих композиций, довел до совершенства сценический имидж изящного, нервного, умного человека на грани отчаяния.

Борзыкин остался одним из немногих, кого успех "за бугром" не отвлек от "домашних" проблем. Практически все рок-звезды были приглашены на "Рок чистой воды", но, сославшись на занятость и опаску спиться за здоровье природы, увильнули от похода. "Телевизор" мужественно отложил "башлевые" планы и согласился.

"Я совсем не устал, я хочу расплатиться. Сколько стоит мечта?" – настаивает Борзыкин в одной из своих песен. И уточняет: "Жизнь – это мечта, мечта самоубийцы".

И хотя композиции "Телевизора" не сочинялись специально к случаю экологической миссии, они точно ложатся на тему. Берут ее шире, но местами разят в самое подгнившее яблочко проблем. "Смотри, как невинно течет из-под крана чистый яд, ослепительный яд", – иронично уговаривает герой Борзыкина. А сам, перебивая, возражает: "Я не хочу себя здесь плодить, я не хочу иметь детей... если это любовь, значит я – импотент". "Телевизор" поет о Любви Человека к Миру, только в этом смысле можно трактовать последние слухи об отходе группы от социальной тематики к лирической.



”НАСТЯ”

Компании музыкантов на борту не хватало, кажется, только одного – женщины. Активистки из юных экологинь не в счет.

Прекрасной Дамой на мальчишнике стала Настя Полева, солистка свердловской группы ”Настя”. Скромная, тихая, несуетная, она отстраненно прислушивалась к шумным эскападам музыкального руководителя своего коллектива Егора Белкина. Сама же словно воспаряла в пляжном шезлонге, улетала с тесного теплоходного солария в синюю высь.

Такой она редко получается на телеэкране, где либо вовсе не смотрится в неумелом видеоклипе, либо выглядит по меньшей мере Снежной Королевой, слишком красивой, а потому пу-гающе холодной.

Истинное общение с Настей – это на концерте. Простоватая, вроде бы нескладная, она привлекает неузнаваемостью обыденности. Она умеет магнетически брать зал. И тогда нехитрые сюжеты ее песен, впрочем ”упакованные” в талантливые стихи, красивые мелодии – все то, что необходимо певице-звезде – дополняются трогательной задушевностью. Необычного тембра Настин голос звучит будто для каждого слушателя индивидуально.

Она честно отыгрывает свой ”Танец на цыпочках”. Превращается в маленького Тацу, защищающего крошечный, но свой островок. Она мужественна ровно настолько, насколько необходимо современной женщине. Все остальное в ней – женственность беспредельная.



”АПРЕЛЬСКИЙ МАРШ”

”У меня такое ощущение, что крутые лидеры взяли остальные группы на корабль, как некогда купцы нанимали цыган – для шума”, – брюзжал поэт свердловского ”Апрельского марша” Евгений Кормильцев, младший брат Ильи Кормильцева. Возможно, он был прав. Только и в обрисованной Женей аналогии я предпочла бы общество безродных кочевников, а не денежных мешков.

С ”Маршами” весело. Они обожают трепаться и искренне благодарны внимательному слушателю. С первой же фразы притягивают своим обаянием. Не так, как на сцене, где к ним явно надо притерпеться, заставить себя вникнуть.

Пойди с ходу ”догони” прихотливую мысль музыкантов, если даже название их коллектива за-



имствовано не откуда-нибудь, а из Хорхе Луиса Борхеса. Всякий ли читал?

Или вот песенка про сержанта Бертрана. Это ведь целая история, действительный факт армейской жизни былых времен, не уступает гоголевскому "Вию". Однако кто помнит подобные байки, кроме Кормильцева?

Из текстов группы вряд ли что поймешь, требуется предисловие. И не обязательно прямолинейное "краткое содержание частушки". Уже неплохо, если саксофонист Михаил Симаков попохмит, введет публику в атмосферу игры.

Тогда понятнее становится и музыка, в сущности достаточно сложная, хотя из недр ее можно выловить темы самых наипошлейших шлягеров. Музыку в "Апрельском марше" сочиняют клавишник Игорь Гришенков, Кормильцев и гитарист Сергей Чернышев. И называют ее "суб-

лемативным панк-джазом", "серьезной эклектикой", "псевдо-попой".

А басист Сергей Елисеев охотно рассказывает, как рождалась группа. Как дурачились дома, распевали мелодии "Битлз" на стихи советских песен и записали таким образом кассету, которую сами стараются не выпускать за пределы Свердловска. Это ж ерунда, альбомчик называется "Бирабиджанский музыкальный трест" – так было маркировано пианино, на котором брэнчали.

Достойные внимания творческие замыслы и решения появились позже. Но к ним "Апрельскому маршу" еще предстоит прирастить широкую аудиторию. И в этом может поспособствовать "Рок чистой воды" – ему это вполне по званию, свердловчан без натяжки назовешь настоящими рокерами хотя бы за их стойкость в своеобразии.

"УИКЕНД ЭТ ВАЙКИКИ"

Думаю, не стоит гнаться за тем, чтобы перечислить всех участников "Рока чистой воды" на Волге. Скажу лишь, что все они — достойные люди, и мы еще вернемся к их портретам на страницах нашего журнала.

Для местных волжских групп "Рок чистой воды" стал заодно и региональным смотром, где особенную доброжелательность вызвали горьковский "Хроноп" Вадима Демидова и саратовский "Иуда Головлев" Сергея Тяпкина.

В целом, надеюсь, атмосферу похода вы уловили. Теперь — итоги.

Первоначальный азарт закидать беду шапками и в два счета решить путем огласки все экологические проблемы оказался наивным. Ситуация обнаружилась более сложная, чем представлялось. Разобраться помогли гости "Рока чистой воды" из Голландии: рок-группа "Уикенд эт Вайкики" и фольк-рок бард Эрнст Лангхаут.

Дело не только в том, что один из музыкантов "Уикенда" к тому



же биолог по образованию, в экологии понимает. В социальных вопросах западные рокеры вообще более компетентны, чем наши музыканты. Однако их творчество не становится от этого более острым, поскольку для зарубежья быть элементарно грамотным не оригинально. Там, и это доказали приехавшие с голландскими музыкантами менеджеры и прочая обслуга, любой человек уже не в первом поколении привычен видеть, понимать, формулировать проблемы, в том числе чистоты окружающей среды. Получается сложнее для рока, труднее отличаться, но зато намного легче жить. К этому в свое время стремились американские рок-звезды, затеяв в 1965 году плавание по реке Гудзон с экологической миссией "Чистая вода". Через десять лет эта акция породила сильнейшую нынче международную организацию зеленых "Гринпис".

Сегодня голландцы инструктируют наших. Они подмечают, что советские ученые контролируют далеко не полный перечень современных отравляющих веществ, руководствуясь устаревшими параметрами. Что



экологи сильно завышают ПДК – предел допустимой концентрации заразы в воде, воздухе и организмах, вероятно, стараясь не тревожить граждан.

Решить проблемы экологической загрязненности не так-то легко. Заткнуть трубы, остановить заводы? А вы согласитесь вовсе отказаться от благ цивилизации, которые те предприятия вырабатывают? Человек непременно разрушает что-то вокруг себя, и тут пара изъятых стоков – не выход.

Вдруг позакрывать все ГРЭС, спустить водохранилища, засыпать каналы? Один раз вот так же авралом их созидали. Аврал на аврал – может получиться еще хуже. Прежний природный баланс не вернешь, а новому не дашь определиться.

Предстоит искать сложные компромиссы. А главное, мы по-

пынно задумывались советского человека размещением на его территории западных "вредных" предприятий – жулел У них "грязными" производствами называют такие, за которые у нас еще только борются.

А в остальном голландцы – простые музыканты, похуже и получше. Средненькая, но крепкая "Уикенд эт Вайкики", которая считается открытием последних сезонов среди творческой молодежи Нидерландов. Блистательный певец Эрнст Лангхаут, лучащийся обаянием и артистизмом, которому, однако, не по карману оказалось содержать собственную группу, и он с успехом заменяет по выразительности целый оркестр, выступая просто с акустической двенадцатиструнной.

Нина ТИХОНОВА



Следующий маршрут "Рока чистой воды" – на Байкал. Туда пригласила иркутская группа "Театр пилигримов" консерваторца Владимира Соколова, изящно аранжирующего забытые народные песни и классику в современных ритмах арт-рока. Новая попытка возродить чистую душу и помочь выжить природе.

ЗНАКИ ВРЕМЕНИ

Дефицит сегодня везде и во всем.

Вот только в значках, пожалуй, дефицита нет. В любом киоске, на каждом потке, а уж на Арбате их видимо-невидимо: маленьких, больших, круглых, квадратных, юбейных, памятных, на злобу дня – запечатлевших наиболее популярные позунги, выражения, фразы нынешней нашей до предела попитизованной общественной жизни, – старых, старинных. Впрочем, старинных – это не совсем точно. Ведь если и существовал когда-то в давние времена нагрудный знак, то был он, как правило, жалованный, наградной, и выдавался за большие заслуги и громкие победы. Может быть, предшественником нынешних значков был миниатюрный портрет императоров российских – подобными портретами одаривали они своих приближенных. И это символизировало близость к императорской особе. Или фрейлинский шифр – некоторое подобие монограммы – знак, которого удостоивались приближенные к императрице фрейлины... Но это – слишком давняя история.

А вот полвека назад если и существовали у нас значки, то прежде всего как нагрудные отличительные знаки. "Отличник социалистического соревнования"...

Наркомречфлота, Наркомзема, Наркомсовхозов... Были значки у отличных каменщиков, штукатуров, столяров, шоферов, механиков. Окончивших вузы, техникумы, училища. Победителей

спортивных состязаний. Участников съездов, конференций...

Теперь совсем просто: каждый может наградить себя любым значком. Хотя нынешнее значковое изобилие к наградному делу никакого отношения не имеет. Купил значок (а то и сам сделал), нацепил на грудь, на рукав, на штанину, а то и всю куртку ими усыпал... Не то украшение, не то деталь туалета. Но если внимательно взглянуть, за каждым значком – характер. Вот у одного на куртке – "Секс-инструктор". Конечно, эпатаж, бравада, вызов: "моп, знай наших!" У другого: "Я первый за пивом". Явно запоздал паренек со своим откровением: сейчас есть продукты поактуальнее, в другую очередь надо спешить – за хлебом, за табаком...

У коллекционеров забот прибавилось: такого обилия значков, такого их невиданного разнообразия никогда еще не было. Поди угонись, поди поспей. А ведь надо. Кто знает, может быть, через какое-то время эти – шуточные, озорные, вызывающие, но так ипичи запечатлевшие нашу сегодняшнюю жизнь в ее столкновении противоречивых мнений и настроений – маленькие символы смогут поведать людям о мыслях и чувствах тех, кто живет сегодня, кто вместе с перестройкой поновому означает значение слов на этих маленьких кружочках:

"ГЛАСНОСТЬ"
"ТЫ НЕ ПРАВ, БОРИС"
"Я LIKE ГОРБАЧЕВ"





Цена 1 руб. 60 коп.
Индекс 70554